



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

АНТ. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

Съ двумя портретами — при I и XVII томахъ.

ТОМЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

СОДЕРЖАНИЕ:

Огни. — Ярмарка. — Два скадала. — Нарвался. — Баронъ. — Местъ. — „Свиданіе хотя и состоялось, но...“ — Неудачный визитъ. — Идиллія увы и ахъ! — Добрый знакомый. — Забыль. — На волчьей садкѣ. — Скверная исторія. — Исповѣдь, или Оля, Жена, Зоя. — Пережитое. — Ряженые. — Гадальщики и гадальщицы. — Мошенники поневолѣ. — Двое въ одномъ. — Исповѣдь. — Единственное средство. — Два романа: I. Романъ доктора. II. Романъ репортера. — Темною ночью. — Ушла. — На гвоздѣ. — Благодарный. — Совѣтъ. — Баранъ и барышни. — Размазня. — Въ папѣ практической вѣкъ. — Разеказъ, которому трудно подобрать названіе. — Братецъ. — Женщина безъ предрасудковъ. — Ревизитель. — На магнитическомъ сеансѣ. — Патриотъ своего отечества. — Хитрецъ. — Благодѣтели. — Рыцари безъ страха и упрека. — Ядовитый случай. — Верба. — Воръ. — Слова, слова и слова. — Листъ. — Закуска. — Двадцать шесть. — Теща-адвокатъ. — Дуракъ. — Филантропъ. — Случай изъ судебной практики. — Коть. — Бенефисъ соловья. — Моя Нана. — Депутатъ. — Герой-барыня. — О томъ, какъ я въ законный бракъ вступилъ. — Весь въ дѣдушку. — Въ гостиной. — Судая правда. — Козель или негодай. — Добродѣтельный кабатчикъ. — Протекція. — Осенью. — Дура, или капитанъ въ отставкѣ. — Въ ладо. — Die russische Natur. — Призвательный нѣмецъ. — Разъ въ годъ. — Дочь коммерціи совѣтника. — Опекунъ. — Знаменіе времени. — Изъ дневника одной дѣвочки. — Юристка. — Начальникъ станціи. — Въ Рождественскую ночь. — Гордый человекъ. — Изъ дневника человека, подающаго надежды. — Отставной рабъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание Г-на А. Ф. МАРКСЪ.

<http://rcin.org.pl>

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
90-350 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

ЯЗЫКОВОЕ СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

АНТ. П. ПЕТРОВА



СЪОБЩЕНИЕ



Артистическое заведение Т-ва А. Ф. Марксъ, Измайл. просп., № 29.



24.113/18

ПОВѢСТИ
И
РАЗСКАЗЫ.

ROBERTIN

P. V. 3. C. R. 7. 3. P. I.

ОГНИ.

За дверью тревожно залаяла собака. Инженеръ Ананьевъ, его помощникъ, студентъ фонъ-Штенбергъ, и я вышли изъ барака посмотрѣть, на кого она лаеетъ. Я былъ гостемъ въ баракѣ и могъ бы не выходить, но, признаться, отъ выпитаго вина у меня немножко кружилась голова, и я радъ былъ подышать свѣжимъ воздухомъ.

— Никого нѣтъ...—сказалъ Ананьевъ, когда мы вышли. — Чтò жъ ты врешь, Азорка? Дуракъ!

Кругомъ не было видно ни души. «Дуракъ» Азорка, чернѣй дворовой песь, желая, вѣроятно, извиниться передъ нами за свой напрасный лай, несмѣло подошелъ къ намъ и завилалъ хвостомъ. Инженеръ нагнулся и потрогалъ его между ушей.

— Чтò жъ ты, тварь, понапрасну лаешь?—сказалъ онъ тономъ, какимъ добродушные люди разговариваютъ съ дѣтьми и съ собаками.—Нехорошій сонъ увидѣлъ, что ли? Вотъ, докторъ, рекомендую вашему вниманію,—сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:— удивительно нервный субъектъ! Можете себѣ представить, не выносить одиночества, видить всегда страшные сны и страдаетъ кошмарами, а когда прикрикнешь на него, то съ нимъ дѣлается что-то въ родѣ истерики.

— Да, деликатный песь... — подтвердилъ студентъ.

Азорка, должно-быть, понялъ, что разговоръ идетъ о немъ; онъ поднялъ морду и жалобно заскулилъ, какъ будто хотѣлъ сказать: «Да, временами я невыносимо страдаю, но вы, пожалуйста, извините!»

Ночь была августовская, звѣздная, но темная. Оттого, что раньше я никогда въ жизни не находился при такой исключительной обстановкѣ, въ какую попалъ слу-

чайно теперь, эта звѣздная ночь казалась мнѣ глухой, непривѣтливой и темнѣе, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ. Я былъ на линіи желѣзной дороги, которая еще только строилась. Высокая, наполовину готовая насыпь, кучи песку, глины и щебня, бараки, ямы, разбросанные кое-гдѣ тачки, плоскія возвышенія надъ землянками, въ которыхъ жили рабочіе, — весь этотъ ералашъ, выкрашенный потемками въ одинъ цвѣтъ, придавалъ землѣ какую-то странную, дикую фізіономію, напоминавшую о временахъ хаоса. Во всемъ, что лежало передо мной, было до того мало порядка, что среди безобразно изрытой, ни на что не похожей земли какъ-то странно было видѣть силуэты людей и стройные телеграфные столбы; тѣ и другіе портили ансамбль картины и казались не отъ міра сего. Было тихо, и только слышалось, какъ надъ нашими головами, гдѣ-то очень высоко, телеграфъ гудѣлъ свою скучную пѣсню.

Мы взобрались на насыпь и съ ея высоты взглянули на землю. Въ саженьяхъ пятидесяти отъ насъ, тамъ, гдѣ ухабы, ямы и кучи сливались сплошную съ ночью мглой, мигалъ тусклый огонекъ. За нимъ свѣтился другой огонь, за этимъ третій, потомъ, отступя шаговъ сто, свѣтились рядомъ два красныхъ глаза — вѣроятно, окна какого-нибудь барака—и длинный рядъ такихъ огней, становясь все гуще и тусклѣе, тянулся по линіи до самаго горизонта, потомъ полукругомъ поворачивалъ влѣво и исчезалъ въ далекой мглѣ. Огни были неподвижны. Въ нихъ, въ ночной тишинѣ и въ унылой пѣснѣ телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта подъ насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволоки.

— Экая благодать, Господи! — вздохнулъ Аняевъ. — Столько простора и красоты, что хоть отбавляй! А какова насыпь-то! Это, батенька, не насыпь, а цѣлый Монбланъ! Милліоны стѣить...

Восхищаясь огнями и насыпью, которая стѣить милліоны, охмелѣвшій отъ вина и сентиментально настроенный инженеръ похлопалъ по плечу студента фонъ-Штенберга и продолжалъ въ шутовскомъ тонѣ:

— Чтѣ, Михайла Михайлычъ, призадумались? Небось пріятно поглядѣть на дѣла рукъ своихъ? Въ прошломъ году на этомъ самомъ мѣстѣ была голая степь, чело-
вѣчьимъ духомъ не пахло, а теперь поглядите: жизнь,

цивилизация! И какъ все это хорошо, ей-Богу! Мы съ вами желѣзную дорогу строимъ, а послѣ насъ, этакъ лѣтъ черезъ сто или двѣсти, добрые люди настроятъ здѣсь фабрикъ, школъ, больницъ и — закипитъ машина! А?

Студентъ стоялъ неподвижно, засунувъ руки въ карманы, и не отрывалъ глазъ отъ огней. Онъ не слушалъ инженера, о чемъ-то думалъ и, повидимому, переживалъ то настроеніе, когда не хочется ни говорить ни слушать. Послѣ долгаго молчанія онъ обернулся ко мнѣ и сказалъ тихо:

— Знаете, на что похожи эти безконечные огни? Они вызываютъ во мнѣ представленіе о чемъ-то давно умершемъ, жившемъ тысячи лѣтъ тому назадъ, о чемъ-то въ родѣ лагеря амалекитянъ или филистимлянъ. Точно какой-то ветхозавѣтный народъ расположился станомъ и ждетъ утра, чтобы подраться съ Сауломъ или Давидомъ. Для полноты иллюзіи не хватаетъ только трубныхъ звуковъ, да чтобы на какомъ-нибудь эоіопскомъ языкѣ перекликивались часовые.

— Пожалуй!.. — согласился инженеръ.

И, какъ нарочно, по линіи пробѣжалъ вѣтеръ и донесъ звукъ, похожій на бряцаніе оружія. Наступило молчаніе. Не знаю, о чемъ думали теперь инженеръ и студентъ, но мнѣ ужъ казалось, что я вижу передъ собой, дѣйствительно, что-то давно умершее и даже слышу часовыхъ, говорящихъ на непонятномъ языкѣ. Воображеніе мое спѣшило нарисовать палатки, странныхъ людей, ихъ одежду, доспѣхи...

— Да,—пробормоталъ студентъ въ раздумѣ.—Когда-то на этомъ свѣтѣ жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь ихъ и слѣдъ простылъ. Такъ и съ нами будетъ. Теперь мы строимъ желѣзную дорогу, стоимъ вотъ и философствуемъ, а пройдутъ тысячи двѣ лѣтъ, и отъ этой насыпи и отъ всѣхъ этихъ людей, которые спятъ послѣ тяжелаго труда, не останется и пыли. Въ сущности, это ужасно!

— А вы эти мысли бросьте... — сказалъ инженеръ серьезно и паставительно.

— Почему?

— А потому... Такими мыслями слѣдуетъ оканчивать жизнь, а не начинать. Вы еще слишкомъ молоды для нихъ.

— Почему же?—повторилъ студентъ.

— Всѣ эти мысли о бренности и ничтожествѣ, о безцѣльности жизни, о неизбежности смерти, о загробныхъ потемкахъ и проч., всѣ эти высокія мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны въ старости, когда онѣ являются продуктомъ долгой внутренней работы, выстрадааны и въ самомъ дѣлѣ составляютъ умственное богатство; для молодого же мозга, который едва только начинаетъ самостоятельную жизнь, онѣ просто несчастье! Несчастье!—повторилъ Анапьевъ и махнулъ рукой. — Помоему, въ ваши годы лучше совсѣмъ не имѣть головы на плечахъ, чѣмъ мыслить въ такомъ направленіи. Я вамъ, баронъ, серьезно говорю. И давно ужъ я собирался поговорить съ вами объ этомъ, такъ какъ еще съ перваго дня нашего знакомства замѣтилъ въ васъ пристрастіе къ этимъ анапеевскимъ мыслямъ!

— Господи, да почему же онѣ анапеевскія?—спросилъ, улыбаясь, студентъ, и по его голосу и по лицу было замѣтно, что онъ отвѣчаетъ только изъ простой вѣжливости, и что споръ, затѣваемый инженеромъ, несколько не интересуеть его.

Глаза мои слипались. Я мечталъ, что тотчасъ же послѣ прогулки мы пожелаемъ другъ другу покойной ночи и ляжемъ спать, но мечта моя сбылась нескоро. Когда мы вернулись въ баракъ, инженеръ убралъ пустыя бутылки подъ кровать, досталъ изъ большого плетенаго ящика двѣ полныя и, раскупоривъ ихъ, сѣлъ за свой рабочій столъ съ очевиднымъ намѣреніемъ продолжать пить, говорить и работать. Отхлебывая понемножку изъ стакана, онъ дѣлалъ карандашомъ помѣтки на какихъ-то чертежахъ и продолжалъ доказывать студенту, что тотъ мыслить неподобающимъ образомъ. Студентъ сидѣлъ рядомъ съ нимъ, провѣрялъ какіе-то счеты и молчалъ. Ему, какъ и мнѣ, не хотѣлось ни говорить ни слушать. Я, чтобы не мѣшать людямъ работать и ожидая каждую минуту, что мнѣ предложатъ лечь въ постель, сидѣлъ въ сторонѣ отъ стола на походной кривоногой кровати инженера и скучалъ. Былъ первый часъ ночи.

Отъ-нечего-дѣлать я наблюдалъ своихъ новыхъ знакомыхъ. Ни Анапьева ни студента я никогда не видѣлъ раньше и познакомился съ ними только въ описываемую ночь. Поздно вечеромъ я возвращался верхомъ съ ярмарки къ помѣщику, у котораго гостилъ, попалъ въ потемкахъ не на ту дорогу и заблудился. Кружась около линіи и

видя, какъ густѣетъ темная ночь, я вспомнилъ о «босоногой чугункѣ», подстерегающей пѣшаго и коннаго, струсилъ и постучался въ первый попавшійся баракъ. Тутъ меня радушно встрѣтили Ананьевъ и студентъ. Какъ это бываетъ съ людьми чужими другъ другу, сошедшимися случайно, мы быстро познакомились, подружились и сначала за чаемъ, потомъ за виномъ уже чувствовали себя такъ, какъ будто были знакомы цѣлые годы. Черезъ какой-нибудь часъ я уже зналъ, кто они, и какъ судьба занесла ихъ изъ столицы въ далекую степь, а они знали, кто я, чѣмъ занимаюсь и какъ мыслю.

Инженеръ Ананьевъ, Николай Анастасьевичъ, былъ плотень, широко въ плечахъ и, судя по наружности, уже начиналъ, какъ Отелло, «опускаться въ долину преклонныхъ лѣтъ» и излишне полнѣть. Онъ находился въ той самой порѣ, которую свахи называютъ «мужчина въ самомъ соку», т.-е. не былъ ни молодъ ни старъ, любилъ хорошо поѣсть, выпить и похвалить прошлое, слегка задыхался при ходьбѣ, во снѣ громко храпѣлъ, а въ обращеніи съ окружающими проявлялъ уже то покойное, невозмутимое добродушіе, какое пріобрѣтается порядочными людьми, когда они переваливаютъ въ штабъ-офицерскіе чины и начинаютъ полнѣть. Его головѣ и бородѣ далеко еще было до сѣдыхъ волосъ, но онъ ужъ какъ-то невольно, самъ того не замѣчая, списходительно величалъ молодыхъ людей «душа моя» и чувствовалъ себя какъ бы въ правѣ добродушно журить ихъ за образъ мыслей. Движенія его и голосъ были покойны, плавны, увѣренны, какъ у человѣка, который отлично знаетъ, что онъ уже выбился на настоящую дорогу, что у него есть опредѣленное дѣло, опредѣленный кусокъ хлѣба, опредѣленный взглядъ на вещи... Его загорѣлое толстоносое лицо и мускулистая шея какъ бы говорили: «Я сытъ, здоровъ, доволенъ собой, а придетъ время, и вы, молодые люди, будете тоже сыты, здоровы и довольны собой...» Одѣтъ онъ былъ въ ситцевую рубаху съ косымъ воротомъ и въ широкія полотняныя панталоны, засунутыя въ большіе сапоги. По нѣкоторымъ мелочамъ, какъ напримѣръ, по цвѣтному гарусному пояску, вышитому вороту и латочкѣ на локтѣ, я могъ догадаться, что онъ былъ женатъ и, по всей вѣроятности, нѣжно любимъ своей женой.

Баронъ фонъ-Штенбергъ, Михаилъ Михайловичъ, сту-

дентъ института путей сообщенія, былъ молодъ, лѣтъ 23—24. Только одни русые волосы и жидкая борода, да, пожалуй, еще нѣкоторая грубость и сухость чертъ лица напоминали о его происхожденіи отъ остзейскихъ бароновъ, все же остальное—нмя, вѣра, мысли, манеры и выраженіе лица были у него чисто русскія. Одѣтый такъ же, какъ и Ананьевъ, въ ситцевую рубашу на выпускъ и въ большіе сапоги, сутуловатый, давно не стриженный, загорѣлый, онъ походилъ не на студента, не на барона, а на обыкновеннаго російскаго подмастерья. Говорилъ и двигался онъ мало, вино пилъ нехотя, безъ аппетита, счеты провѣрялъ машинально и все время, казалось, о чемъ-то думалъ. Движенія и голосъ его также были покойны и плавны, но его покой былъ совсѣмъ иного рода, чѣмъ у инженера. Загорѣлое, слегка насмѣшливое, задумчивое лицо, его глядѣвшіе немножко исподлбья глаза и вся фигура выражали душевное затишье, мозговую лѣнь. Онъ глядѣлъ такъ, какъ будто бы для него было рѣшительно все равно, горитъ ли передъ нимъ огонь, или нѣтъ, вкусно ли вино, или противно, вѣрны ли счеты, которые онъ провѣрялъ, или нѣтъ... И на его умномъ, покойномъ лицѣ я читалъ: «Ничего я пока не вижу хорошаго ни въ опредѣленномъ дѣлѣ, ни въ опредѣленномъ кускѣ хлѣба, ни въ опредѣленномъ взглядѣ на вещи. Все это вздоръ. Былъ я въ Петербургѣ, теперь сажу здѣсь въ баракѣ, отсюда осенью уѣду опять въ Петербургъ, потомъ весной опять сюда... Какой изъ всего этого выйдетъ толкъ, я не знаю, да и никто не знаетъ... Стало-быть, и толковать нечего...»

Инженера слушалъ онъ безъ интереса, съ тѣмъ снисходительнымъ равнодушіемъ, съ какимъ кадеты старшихъ классовъ слушаютъ расходившагося добряка-дядьку. Казалось, что все сказанное инженеромъ было для него не ново, и что если бы ему самому было не лѣнь говорить, то онъ сказалъ бы нѣчто болѣе новое и умное. Ананьевъ же между тѣмъ не унимался. Онъ уже оставилъ добродушно-шутливый тонъ и говорилъ серьезно, даже съ увлеченіемъ, которое совсѣмъ не шло къ его выраженію покоя. Повидимому, онъ былъ неравнодушенъ къ отвлеченнымъ вопросамъ, любилъ ихъ, но трактовать ихъ не умѣлъ и не привыкъ. И эта непривычка такъ сильно сказывалась въ его рѣчи, что я не сразу понималъ, чего онъ хочетъ.

— Всей душой ненавижу эти мысли!—говорилъ онъ.—

Я самъ былъ боленъ ими въ юности, теперь еще не со-
всѣмъ избавился отъ нихъ и скажу вамъ,—можетъ-быть,
оттого, что я глупъ, и что эти мысли были для меня
не по коню кормъ,—онѣ не принесли мнѣ ничего, кромѣ
зла. Это такъ понятно! Мысли о безцѣльности жизни,
о ничтожествѣ и бренности видимаго міра, соломоновская
«суета суетъ» составляли и составляютъ до сихъ поръ
высшую и конечную ступень въ области человѣческаго
мышленія. Дошелъ мыслитель до этой ступени и—стопъ ма-
шина! Дальше идти некуда. Этимъ завершается дѣятель-
ность нормальнаго мозга, что естественно и въ порядкѣ
вещей. Наше же несчастіе въ томъ, что мы начинаемъ
мыслить именно съ этого конца. Чѣмъ нормальные люди
кончаютъ, тѣмъ мы начинаемъ. Мы съ перваго же абцуга,
едва только мозгъ начинаетъ самостоятельную работу,
взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать
не хотимъ тѣхъ ступеней, которыя пониже.

— Чѣмъ же это худо?—спросилъ студентъ.

— Да поймите же, что это ненормально!—крикнулъ
Ананьевъ, поглядѣвъ на него почти со злобой.—Если мы
нашли способъ взбираться на верхнюю ступень безъ по-
мощи нижнихъ, то ужъ вся длинная лѣстница, т.е.
вся жизнь съ ея красками, звуками и мыслями, теряетъ
для насъ всякій смыслъ. Что въ ваши годы такое мышле-
ніе составляетъ зло и абсурдъ, вы можете понять изъ
каждаго шага вашей разумной самостоятельной жизни. По-
ложимъ, что вотъ сію минуту вы садитесь читать какого-
нибудь Дарвина или Шекспира. Едва прочли вы одну стра-
ницу, какъ отравы начинаетъ ужъ сказываться: и ваша
длинная жизнь, и Шекспиръ, и Дарвинъ представляются
вамъ вздоромъ, нелѣпостью, потому что вы знаете, что
вы умрете, что Шекспиръ и Дарвинъ тоже умерли, что
ихъ мысли не спасли ни ихъ самихъ, ни земли, ни васъ,
и что если такимъ образомъ жизнь лишена смысла, то
всѣ эти знанія, поэзія и высокія мысли являются только
ненужной забавой, праздною игрушкой взрослыхъ дѣтей.
И вы прекращаете чтеніе на второй же страницѣ. Теперь,
положимъ, къ вамъ, какъ къ умному человѣку, прихо-
дятъ люди и спрашиваютъ вашего мнѣнія, на примѣръ,
хоть о войнѣ: желательна, нравственна она, или нѣтъ?
Въ отвѣтъ на этотъ страшный вопросъ вы только по-
жмете плечами и ограничитесь какимъ-нибудь общимъ мѣ-
стомъ, потому что для васъ, при вашей манерѣ мыслить,

рѣшительно все равно, умрутъ ли сотни тысячъ людей насильственной или же своей смертью: въ томъ и въ другомъ случаѣ результаты одни и тѣ же—прахъ и забвеніе. Строимъ мы съ вами желѣзную дорогу. Къ чему, спрашивается, намъ ломать головы, изобрѣтать, возвышаться надъ шаблономъ, жалѣть рабочихъ, красть или не красть, когда мы знаемъ, что эта дорога черезъ двѣ тысячи лѣтъ обратится въ пыль? И такъ далѣе, и такъ далѣе... Согласитесь, что при такомъ несчастномъ способѣ мышленія невозможенъ никакой прогрессъ, ни науки, ни искусства, ни само мышленіе. Намъ кажется, что мы умнѣе толпы и Шекспира, въ сущности же наша мыслительская работа сводится на ничто, такъ какъ спускаться на нижнія ступени у насъ нѣтъ охоты, а выше итти некуда, такъ и стоитъ нашъ мозгъ на точкѣ замерзанія—ни тпру ни ну... Я находился подъ гнетомъ этихъ мыслей около шести лѣтъ и, клянусь вамъ Богомъ, за все это время я не прочелъ ни одной путевой книги, не сталъ умнѣе ни на грошъ и ни на одну букву не обогатилъ своего нравственнаго кодекса. Развѣ это не несчастіе? Засимъ, мало того, что мы сами отравлены, но мы еще вносимъ отраву въ жизнь окружающихъ насъ. Добро бы мы со своимъ пессимизмомъ отказывались отъ жизни, уходили бы въ пещеры или спѣшили умереть, а то вѣдь мы, покорные общему закону, живемъ, чувствуемъ, любимъ женщинъ, воспитываемъ дѣтей, строимъ дороги!

— Отъ нашихъ мыслей никому ни тепло ни холодно... — сказалъ студентъ нехотя.

— Нѣтъ, ужъ это вы — ахъ, оставьте! Вы еще не нюхали, какъ слѣдуетъ, жизни, а вотъ какъ поживете съ мое, батенька, такъ и узнаете кузькину мать! Наше мышленіе не такъ невинно, какъ вы думаете. Въ практической жизни, въ столкновеніяхъ съ людьми оно ведетъ только къ ужасамъ и глупостямъ. Мнѣ приходилось переживать такія положенія, какихъ я злему татарину не пожелаю.

— Напримѣръ? — спросилъ я.

— Напримѣръ? — переспросилъ инженеръ.

Онъ подумалъ, улыбнулся и сказалъ:

— Напримѣръ, взять хоть такой случай. Вѣрнѣе, это не случай, а цѣлый романъ съ завязкой и развязкой. Прекраснѣйшій урокъ! Ахъ, какой урокъ!

Онъ налилъ вина намъ и себѣ, выпилъ, погладилъ ла-

донями свою широкую грудь и продолжалъ, обращаясь больше ко мнѣ, чѣмъ къ студенту :

— Это было лѣтомъ 187... года, вскорѣ послѣ войны и по окончаніи мною курса. Я поѣхалъ на Кавказъ и остановился проѣздомъ дней на пять въ приморскомъ городѣ N. Надо вамъ сказать, что въ этомъ городѣ я родился и выросъ, а потому нѣтъ ничего мудренаго, что N. казался мнѣ необыкновенно уютнымъ, теплымъ и красивымъ, хотя столичному человѣку живется въ немъ такъ же скучно и неуютно, какъ въ любой Чухломѣ или Каширѣ. Съ грустью прошелся я мимо гимназіи, въ которой учился, съ грустью погулялъ по очень знакомому городскому саду, сдѣлалъ грустную попытку посмотрѣть поближе людей, которыхъ давно не видѣлъ, все съ грустью...

«Между прочимъ, въ одинъ изъ вечеровъ поѣхалъ я въ такъ называемый Карантинъ. Это небольшая плѣшивая рощица, въ которой когда-то въ забытое чумное время въ самомъ дѣлѣ былъ карантинъ, теперь же живутъ дачники. Ъхать къ ней приходится отъ города четыре версты по хорошей мягкой дорогѣ. Ъдешь и видишь: налѣво голубое море, направо безконечную хмурую степь; дышится легко, и глазамъ не тѣсно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустивъ своего извозчика, я вошелъ въ знакомыя ворота и первымъ дѣломъ направился по аллеѣ къ небольшой каменной бесѣдкѣ, которую любилъ въ дѣтствѣ. По моему мнѣнію, эта круглая, тяжелая бесѣдка на неуклюжихъ колоннахъ, соединявшая въ себѣ лиризмъ стараго могильнаго памятника съ топорностью Собакевича, была самымъ поэтическимъ уголкомъ во всемъ городѣ. Она стояла на краю берега, надъ самой кручей, и съ нея отлично было видно море.

«Я сѣлъ на скамью и, перегнувшись черезъ перила, поглядѣлъ внизъ. Отъ бесѣдки по крутому, почти отвѣсному берегу, мимо глиняныхъ глыбъ и репейника бѣжала тропинка; тамъ, гдѣ она кончалась, далеко внизу у песчанаго побережья лѣниво пѣнились и нѣжно мурлыкали невысокія волны. Море было такое же величавое, безконечное и непривѣтливое, какъ семь лѣтъ до этого, когда я, кончивъ курсъ въ гимназіи, уѣзжалъ изъ родного города въ столицу; вдали темѣла полоска дыма— это шель пароходъ, и кромѣ этой едва видимой и неподвижной полоски да мартышекъ, которыя мелькали надъ

водой, ничто не оживляло монотонной картины моря и неба. Направо и налево отъ бесѣдки тянулись неровные глинистые берега...

«Вы знаете, когда грустно настроенный человекъ остается одинъ на одинъ съ моремъ, или вообще съ ландшафтомъ, который кажется ему грандіознымъ, то почему-то къ его грусти всегда примѣшивается увѣренность, что онъ проживетъ и погибнетъ въ безвѣстности, и онъ рефлективно хватается за карандашъ и спѣшитъ записать на чемъ попало свое имя. Потому-то, вѣроятно, всѣ одинокіе укромные уголки, въ родѣ моей бесѣдки, всегда бываютъ испачканы карандашами и изрѣзаны перочинными ножами. Какъ теперь помню, оглядывая перила, я прочелъ: «О. П. (т.-е. оставилъ память) Иванъ Корольковъ 16 мая 1876 года». Тутъ же рядомъ съ Корольковымъ расписался какой-то мѣстный мечтатель и еще добавилъ: «На берегу пустынныхъ волнъ стоялъ онъ думъ великихъ полнъ». И почеркъ у него былъ мечтательный, вялый, какъ мокрый шелкъ. Какой-то Кроссъ, вѣроятно, очень маленькій и незначительный человекъ, такъ сильно прочувствовалъ свое ничтожество, что далъ волю перочинному ножу и изобразилъ свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально досталъ изъ кармана карандашъ и тоже расписался на одной изъ колоннъ. Впрочемъ, все это дѣла не касается... Простите, я не умѣю рассказывать коротко.

«Я грустилъ и немножко скучалъ. Скука, тишина и мурлыканье волнъ мало-по-малу навели меня на то самое мышленіе, о которомъ мы только-что говорили. Тогда, въ концѣ семидесятыхъ годовъ, оно начинало входить въ моду у публики и тотомъ въ началѣ восьмидесятыхъ стало понемногу переходить изъ публики въ литературу, въ науку и политику. Мнѣ было тогда не больше 26 лѣтъ, но я ужъ отлично зналъ, что жизнь безцѣльна и не имѣетъ смысла, что все обманъ и иллюзія, что по существу и результатамъ каторжная жизнь на островѣ Сахалинѣ ничѣмъ не отличается отъ жизни въ Ниццѣ, что разница между мозгомъ Канта и мозгомъ мухи не имѣетъ существеннаго значенія, что никто на этомъ свѣтѣ ни правъ ни виноватъ, что все вздоръ и чепуха, и что ну его все къ чорту! Я жилъ и какъ будто дѣлалъ этимъ одолженіе невѣдомой силѣ, заставляющей меня жить: «на, моль, смотри, сила, ставлю жизнь ни въ грошъ, а живу!»

Мыслилъ я въ одномъ опредѣленномъ направленіи, но на всевозможные лады, и въ этомъ отношеніи походилъ на того тонкаго гастронома, который изъ одного картофеля умѣлъ приготовить сотню вкусныхъ блюдъ. Несомнѣнно, что я былъ одностороненъ и до нѣкоторой степени даже узокъ, но мнѣ тогда казалось, что мой мыслительный горизонтъ не имѣетъ ни начала ни конца, и что мысль моя широка, какъ море. Ну-съ, насколько я могу судить по себѣ, мышленіе, о которомъ идетъ рѣчь, содержитъ въ своей сути что-то втягивающее, наркотическое, какъ табакъ или морфій. Оно становится привычкой, потребностью. Каждой минутой одиночества и каждымъ удобнымъ случаемъ вы пользуетесь для того, чтобы наслаждаться мыслями о безцѣльной жизни и загробныхъ потемкахъ. Когда я сидѣлъ въ бесѣдкѣ, то по аллеѣ чинно прогуливались греческія дѣти съ длинными носами. Я воспользовался симъ удобнымъ случаемъ и, оглянувшись на нихъ, сталъ думать въ такомъ родѣ:

«— Къ чему, спрашивается, рождаются и живутъ вотъ эти самыя дѣти? Есть ли хоть какой-нибудь смыслъ въ ихъ существованіи? Вырастутъ, сами не зная для чего, проживутъ въ этой глуши безъ всякой надобности и помрутъ...

«И мнѣ даже стало досадно на этихъ дѣтей за то, что они чинно ходятъ и о чемъ-то солидно разговариваютъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ недешево цѣнять свои маленькія, безцвѣтныя жизни и знаютъ, для чего живутъ... Помню, далеко въ концѣ аллеи показались три женскихъ фигуры. Какія-то барышни—одна въ розовомъ платьѣ, двѣ въ бѣломъ—шли рядомъ, взявшись подъ руки, о чемъ-то говорили и смѣялись. Провожая ихъ глазами, я думалъ:

«— Хорошо бы теперь отъ скуки дня на два сойтись тутъ съ какой-нибудь женщиной!

«Я кстати вспомнилъ, что у своей петербургской барыни въ послѣдній разъ я былъ три недѣли тому назадъ, и подумалъ, что мимолетный романъ былъ бы для меня теперь очень кстати. Средняя барышня въ бѣломъ казалась моложе и красивѣе своихъ подругъ и, судя по манерамъ и смѣху, была гимназисткой старшаго класса. Я не безъ нечистыхъ мыслей глядѣлъ на ея бюстъ и въ то же время думалъ о ней:

«— Выучится музыкѣ и манерамъ, выйдетъ замужъ за

какого-нибудь, прости Господи, грека-пиндоса, проживеть сѣро и глупо, безъ всякой надобности, народить, сама не зная для чего, кучу дѣтей и умереть. Нелѣпая жизнь!

«Вообще, надо сказать, я былъ мастеромъ комбинировать свои высокія мысли съ самой низменной прозой. Мысли о загробныхъ потемкахъ не мѣшали мнѣ отдавать должную дань бюетамъ и ножкамъ. Нашему милому барону его высокопробныя мысли тоже нисколько не мѣшаютъ ѣздить по субботамъ въ Вуколовку и совершать тамъ донжуанскіе набѣги. Говоря по совѣсти, насколько я себя помню, отношенія мои къ женщинамъ были самыя оскорбительныя. Теперь вотъ, вспомнивъ о гимназисткѣ, я покраснѣлъ за свои тогдашнія мысли, тогда же совѣсть моя была совершенно покойна. Я, сынъ благородныхъ родителей, христіанинъ, получившій высшее образованіе, по природѣ не злой и не глупый, не чувствовалъ ни малѣйшаго безпокойства, когда платилъ женщинамъ, какъ говорятъ нѣмцы, Blutgeld, или когда провожалъ гимназистокъ оскорбительными взглядами... Бѣда въ томъ, что молодость имѣетъ свои права, а наше мышленіе въ принципѣ ничего не имѣетъ противъ этихъ правъ, хороши ли они, или отвратительны. Кто знаетъ, что жизнь безцѣльна и смерть неизбѣжна, тотъ очень равнодушенъ къ борьбѣ съ природою и къ понятію о грѣхѣ: борись или не борись—все равно умрешь и сгниешь... Во вторыхъ, судари мои, наше мышленіе поселяетъ даже въ очень молодыхъ людяхъ такъ называемую разсудочность. Преобладаніе разсудка надъ сердцемъ у насъ подавляющее. Непосредственное чувство, вдохновеніе,—все заглушено мелочнымъ анализомъ. Гдѣ же разсудочность, тамъ холодность, а холодные люди—нечего грѣха таить—не знаютъ цѣломудрія. Эта добродѣтель знакома только тѣмъ, кто тепелъ, сердеченъ и способенъ любить. Въ-третьихъ, наше мышленіе, отрицая смыслъ жизни, тѣмъ самымъ отрицаетъ и смыслъ каждой отдѣльной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи Степановны, то для меня рѣшительно все равно, оскорблена она или нѣтъ. Сегодня оскорбилъ ея человѣческое достоинство, заплатилъ ей Blutgeld, а завтра ужъ и не помнишь о ней.

«Итакъ, я сидѣлъ въ бесѣдкѣ и наблюдалъ барышень. На аллеѣ показалась еще одна женская фигура съ непокрытой, бѣлокурой головою и съ бѣлымъ вязанымъ плат-

комъ на плечахъ. Она погуляла по аллеѣ, потомъ вошла въ бесѣдку и, взявшись за перила, равнодушно поглядѣла внизъ и вдаль на море. Войдя, она не обратила на меня никакого вниманія, точно не замѣтила. Я оглядѣлъ ее съ ногъ до головы (но не съ головы до ногъ, какъ оглядываютъ мужчинъ) и нашелъ, что она молода, не старше 25 лѣтъ, миловидна, хорошо сложена, по всей вѣроятности, уже не барышня и принадлежитъ къ разряду порядочныхъ. Одѣта она была по-домашнему, но модно и со вкусомъ, какъ вообще одѣваются въ Н. всѣ интеллигентныя барышни.

«— Вотъ съ этой бы сойтись... — подумалъ я, оглядывая ея красивую талію и руки.—Ничего себѣ... Должно быть, супруга какого-нибудь эскулапа или учителя гимназій...

«Но сойтись съ ней, т.-е сдѣлать ее героиней одного изъ тѣхъ экспромтныхъ романовъ, до которыхъ такъ падки туристы, было нелегко и едва ли возможно. Это почувствовалъ я, всмотрѣвшись въ ея лицо. Она такъ глядѣла и имѣла такое выраженіе, какъ будто море, дымокъ, дали и небо давно уже надоѣли ей и утомили ея зрѣніе, она, повидному, устала, скучала, думала о чемъ-то невеселомъ, и на ея лицѣ не было даже того суетнаго, натянуто-равнодушнаго выраженія, какое бываетъ почти у всякой женщины, когда она чувствуетъ вблизи себя присутствіе незнакомаго мужчины.

«Блондинка мелькомъ и скучающе взглянула на меня, сѣла на скамью и о чемъ-то задумалась, и я по ея взгляду понялъ, что ей не до меня, и что я со своей столичной физиономіей не возбудилъ въ ней даже простого любопытства. Но я все-таки рѣшилъ заговорить съ ней и спросить:

«— Сударыня, позвольте васъ спросить, въ которомъ часу уходятъ отсюда въ городъ линейки?

«— Кажется, въ десять, или въ одиннадцать...

«Я поблагодарилъ. Она взглянула на меня разъ-другой и на ея безстрастномъ лицѣ мелькнуло вдругъ любопытство, потомъ что-то похожее на удивленіе... Я успѣшилъ придать себѣ равнодушное выраженіе и принять подобающую позу: клюеть! Она, точно ее что-то больно укусило, вдругъ поднялась со скамьи, кротко улыбнулась и, торопливо оглядывая меня, спросила робко:

«— Послушайте, вы, бываетъ, не Ананьевъ?

«— Да, я Ананьевъ...—отвѣтилъ я.

«— А меня вы не узнаете? Нѣтъ?

«Я немножко смутился, пристально поглядѣлъ на нее и, можете себѣ представить, узнать ее не по лицу, не по фигурѣ, а по кроткой, усталой улыбкѣ. Это была Наталья Степановна, или, какъ ее называли, Кисочка, та самая, въ которую я былъ по уши влюбленъ 7—8 лѣтъ назадъ, когда еще носилъ гимназическій мундиръ. Дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой... Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой гимназисточкой 15—16 лѣтъ, когда она изображала собою нѣчто въ гимназическомъ вкусѣ, созданное природою специально для платонической любви. Что за прелесть дѣвочка! Блѣдненькая, хрупкая, легкая,—кажется, дуньте на нее, и она улетитъ, какъ пухъ, подъ самую небеса,—лицо кроткое, недоумѣвающее, ручки маленькія, волосы длинныя до пояса, мягкіе, талія тонкая, какъ у осы,—въ общемъ нѣчто эфирное, прозрачное, похожее на лунный свѣтъ, однимъ словомъ, съ точки зрѣнія гимназиста, красота неописанная... Я влюбленъ былъ въ нее во какъ! Почей не спалъ, стихи писалъ... Бывало, по вечерамъ она сидѣла въ городскомъ саду на скамьѣ, а мы, гимназисты, толпились около нея и благоговѣнно созерцали... Въ отвѣтъ на всѣ наши комплименты, позы и вздохи она нервно пожималась отъ вечерней сырости, жмурилась да кротко улыбалась, и въ это время ужасно походила на маленькаго, хорошенькаго котеночка; когда мы созерцали ее, всякому изъ насъ приходило желаніе приласкать ее и погладить, какъ кошку—отсюда прозвище Кисочка.

«За семь-восемь лѣтъ, пока мы не видѣлись, Кисочка сильно измѣнилась. Она стала мужественнѣе, полнѣе и совсѣмъ утѣряла сходство съ мягкимъ, пушистымъ котенкомъ. Черты ея не то чтобы постарѣли или поблекли, а какъ будто потускнѣли и стали строже, волосы казались короче, ростъ выше, плечи почти вдвое шире, а главное, на лицѣ было уже выраженіе материнства и покорности, какое бываетъ у порядочныхъ женщинъ въ ея годы и какого я раньше, конечно, не видѣлъ у нея... Однимъ словомъ, отъ прежняго гимназическаго и платоническаго уцѣлѣла одна только кроткая улыбка и больше ничего...

«Мы разговорились. Узнавши, что я уже инженеръ, Кисочка ужасно обрадовалась.

«— Какъ это хорошо!—сказала она, радостно заглядывая мнѣ въ глаза.—Ахъ, какъ хорошо! И какіе вы всё молодцы! Изъ всего вашего выпуска нѣтъ ни одного неудачника, изъ всѣхъ люди вышли. Одинъ инженеръ, другой докторъ, третій учитель, четвертый, говорятъ, теперь знаменитый пѣвецъ въ Петербургѣ... Всѣ, всѣ вы молоды! Ахъ, какъ это хорошо!

«Въ глазахъ Кисочки свѣтилась искренняя радость и доброжелательство. Она любовалась мной, какъ старшая сестра или бывшая учительница. А я глядѣлъ на ея милое лицо и думалъ: «Хорошо бы сегодня сойтись съ ней!»

«— Помните, Наталья Степановна,—спросилъ я:—какъ я однажды въ саду поднесъ вамъ букетъ съ записочкой? Вы прочли мою записочку, и по вашему лицу разлилось такое недоумѣніе...

«— Нѣтъ, этого я не помню,—сказала она, засмѣявшись.—А вотъ помню, какъ вы изъ-за меня хотѣли вызвать Флоренса на дуэль...

«— Ну, а я этого, представьте, не помню...

«— Да, что было, то прошло... —вздохнула Кисочка.—Когда-то я у васъ была божкомъ, а теперь наступила моя очередь глядѣть на всѣхъ васъ снизу вверхъ...

«Изъ дальнѣйшаго разговора я узналъ, что Кисочка года черезъ два послѣ окончанія курса въ гимназій вышла замужъ за одного мѣстнаго обывателя, полу-грека, полурусскаго, служащаго не то въ банкѣ, не то въ страховомъ обществѣ, и въ то же время занимающагося иппеничной торговлей. Фамилія у него была какая-то мудреная, что-то въ родѣ Популаки, или Скарандопуло... Чортъ его знаетъ, забылъ... Вообще о себѣ Кисочка говорила мало и неохотно. Разговоръ шель только обо мнѣ. Она разспрашивала меня объ институтѣ, о моихъ товарищахъ, о Петербургѣ, о моихъ планахъ, и все, что я говорилъ, возбуждало въ ней живую радость и восклицаніе: «Ахъ, какъ это хорошо!»

«Мы спустились внизъ къ морю, погуляли по песку, потомъ, когда съ моря повѣяло вечерней сыростью, вернулись наверхъ. Все время разговоръ шель обо мнѣ и о прошломъ. Гуляли мы до тѣхъ поръ, пока въ окнахъ дачъ не стали гаснуть отраженія вечерней зари.

«— Пойдемте ко мнѣ чай пить,—предложила мнѣ Кисочка.—Должно-быть, самоваръ давно уже на столѣ... Я

дома одна,—сказала она, когда сквозь зелень акацій показалась ея дача.—Мужъ всегда въ городѣ и возвращается только ночью, да и то не каждый день, и у меня, признаться, такая скука, что просто смерть.

«Я шелъ за ней, любовался ея спиной и плечами. Мнѣ было пріятно, что она замужемъ. Для мимолетныхъ романовъ замужнія представляютъ болѣе подходящій матеріалъ, чѣмъ барышни. Пріятно также было мнѣ, что ея мужа нѣтъ дома. Но въ то же время я чувствовалъ, что роману не быть...»

«Мы вошли въ домъ. Комнаты у Кисочки были девелики, съ низкими потолками, мебель дачная (а на дачахъ русскій человекъ любитъ мебель неудобную, тяжелую, тусклую, которую и выбросить жалко и дѣлать некуда), но по нѣкоторымъ мелочамъ все-таки можно было замѣтить, что Кисочка съ супругомъ жила не бѣдно и проживала тысячъ пять-шесть въ годъ. Помню, посреди комнаты, которую Кисочка назвала столовой, стоялъ круглый столъ почему-то на шести ножкахъ, на немъ самоваръ и чашки, а на краю стола лежали раскрытая книга, карандашъ и тетрадка. Я заглянулъ въ книжку и узналъ въ ней арифметическій задачникъ Малинина и Буренина. Раскрыта она была, какъ теперь помню, на «правилахъ то-варщества».

«— Это вы съ кѣмъ занимаетесь?—спросилъ я Кисочку.

«— Ни съ кѣмъ...—отвѣтила она.—Это я такъ... Отъ скуки и отъ-ничего-дѣлать, старину вспоминаю, задачи рѣшаю.

«— У васъ есть дѣти?

«— Былъ одинъ мальчикъ, но прожилъ недѣлю и умеръ.

«Стали пить чай. Любуясь мной, Кисочка опять заговорила о томъ, какъ хорошо, что я инженеръ, и какъ она рада моимъ успѣхамъ. И чѣмъ больше она говорила и чѣмъ искреннѣе улыбалась, тѣмъ сильнѣе становилась во мнѣ увѣренность, что я уѣду отъ нея не солоно хлебавши. Я тогда уже былъ специалистомъ по части романовъ и умѣлъ вѣрно взвѣшивать свои шансы на успѣхъ или неуспѣхъ. Вы смѣло можете разсчитывать на успѣхъ если охотитесь на дуру, или на такую же искательницу приключеній и ощущеній, какъ вы сами, или женщину-пройдоху, для которой вы чужды. Если же вы встрѣчаете

женщину неглупую и серьезную, лицо которой выражает усталую покорность и доброжелательство, которая искренно радуется вашему присутствию, а главное—уважает васъ, то можете новорачивать назадъ оглобли. Тутъ, чтобы имѣть успѣхъ, нуженъ болѣе продолжительный срокъ, чѣмъ одинъ день.

«А Кисочка при вечернемъ освѣщеніи казалась еще интереснѣе, чѣмъ днемъ. Она мнѣ правила все больше и больше, я тоже, повидимому, былъ симпатиченъ ей. Да и обстановка была самая подходящая для романа: мужикъ дома, прислуги не видно, кругомъ тишина... Какъ ни мало я вѣрилъ въ успѣхъ, но все-таки порѣшилъ на всякій случай начать атаку. Прежде всего нужно было перейти на фамиллярный тонъ и лирически-серьезное пастроніе Кисочки смѣнить на болѣе легкое.

«— Давайте, Наталья Степановна, перемѣнимъ разговоръ,—началь я.—Поговоримте о чемъ-нибудь веселомъ... Прежде всего позвольте мнѣ, по старой памяти, величать васъ Кисочкой.

«Она позволила.

«— Скажите, пожалуйста, Кисочка, — продолжалъ я:—какая это муха укусила весь здѣшній прекрасный полъ? Чтò съ нимъ подѣлалось? Прежде всѣ были такіа правдивныя, добродѣтельныя, а теперь, помилуйте, про кого ни спросишь, про всѣхъ говорятъ такое, что просто за человѣка страшно... Одна барышня съ офицеромъ бѣжала, другая бѣжала и увлекла за собой гимназиста, третья, барыня, уѣхала отъ мужа съ актеромъ, четвертая отъ мужа ушла къ офицеру, и такъ далѣе и такъ далѣе... Цѣлая эпидемія! Этакъ, пожалуй, въ вашемъ городѣ скоро не останется ни одной барышни и ни одной молодой жены!

«Я говорилъ пошлымъ, заигрывающимъ тономъ. Если бы въ отвѣтъ мнѣ Кисочка засмѣялась, то я продолжалъ бы въ такомъ родѣ:—«О, смотрите, Кисочка, какъ бы васъ здѣсь не похитилъ какой-нибудь офицеръ или актеръ!» Она опустила бы глазки и сказала:—«Кому придетъ охота похищать меня, такую? Есть помоложе и покрасивѣе...» А я бы ей:—«Полноте, Кисочка, да я бы первый съ наслажденіемъ похитилъ васъ!» И такъ далѣе въ такомъ родѣ, и въ концѣ концовъ дѣло мое было бы въ шляпѣ. Но въ отвѣтъ мнѣ Кисочка не засмѣялась, а, напротивъ, сдѣлала серьезное лицо и вздохнула.

«— Все это, что рассказывают, правда... — сказала она.— Съ актеромъ уѣхала отъ мужа моя двоюродная сестра Соня. Конечно, это нехорошо... Каждый человекъ долженъ терпѣть то, что ему отъ судьбы положено, но я не осуждаю ихъ и не виню... Обстоятельства бываютъ иногда сильнѣе человека!

«— Это такъ, Кисочка, но какія же обстоятельства могли породить цѣлую эпидемію?

«— Очень просто и понятно...—сказала Кисочка, поднимая брови.—У насъ интеллигентнымъ дѣвушкамъ и женщинамъ рѣшительно некуда дѣваться. Уѣзжать на курсы, или поступать въ учительницы, вообще, жить идеями и цѣлями, какъ мужчины живутъ, не всякая можетъ. Надо выходить замужъ... А за кого прикажете? Вы, мальчики, кончаете курсъ въ гимназій и уѣзжаете въ университетъ, чтобы больше никогда не возвращаться въ родной городъ, и женитесь въ столицахъ, а дѣвочки остаются!.. За кого же имъ прикажете выходить? Ну, за неимѣніемъ порядочныхъ, развитыхъ людей, и выходятъ Богъ знаетъ за кого, за разныхъ маклеровъ да пиндосовъ, которые только и умѣютъ, что пить да въ клубѣ скандальничать... Выходятъ дѣвушки такъ, зря... Какая же послѣ этого жизнь? Сами понимаете, женщина образованная и воспитанная живетъ съ глупымъ, тяжелымъ человекомъ; встрѣтите ея какой-нибудь интеллигентный человекъ, офицеръ, актеръ или докторъ, ну, полюбитъ, станетъ ей невыносима жизнь, она и бѣжитъ отъ мужа. И осуждать нельзя!

«— Если такъ, Кисочка, то зачѣмъ же замужъ идти?—спросилъ я.

«— Конечно, — вздохнула Кисочка: — во вѣдь каждой дѣвущкѣ кажется, что лучше хоть какой-нибудь мужъ, чѣмъ ничего... Вообще, Николай Анастасьевичъ, нехорошо здѣсь живется, очень нехорошо! И въ дѣвушкахъ душно и замужемъ душно... Вотъ смѣются надъ Соней за то, что она бѣжала, да еще съ актеромъ, а если бы заглянули ей въ душу, то не смѣялись бы...»

За дверью опять залаялъ Азорка. Онъ злобно огрызнулся на кого-то, потомъ завылъ съ тоской и всѣмъ тѣломъ шарахнулся о стѣну барака... Лицо Ананьева поморщилось отъ жалости; онъ прервалъ свой рассказъ и вышелъ. Минуты двѣ слышно было, какъ онъ утѣшалъ за дверью собаку:—«Хорошій песъ! Вѣдный песъ!»

— Пашъ Николай Анастасьичъ любитъ поговорить,— сказала фонъ-Штенбергъ, усмѣхаясь. — Хорошій человекъ!—добавилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

Вернувшись въ баракъ, инженеръ подлилъ вина въ наши стаканы и, улыбаясь, поглаживая себя по груди, продолжалъ:

— Итакъ, моя атака не удалась. Нечего было дѣлать, я оставилъ нечестныя мысли до болѣе благопріятнаго случая, помирился со своей неудачей и, что называется, махнулъ рукой. Мало того, подъ вліяніемъ Кисочкинаго голоса, вечерняго воздуха и тишины, я самъ мало-по-малу впалъ въ тихое, лирическое настроеніе. Помню, сидѣлъ я въ креслѣ у настѣжь открытаго окна и глядѣлъ на деревья и темнѣющее небо. Силуэты акацій и липъ были все тѣ же, что и восемь лѣтъ тому назадъ; такъ же, какъ и тогда, во времена дѣтства, гдѣ-то далеко брнчало плохое фортепяно, все та же была манера у публики бродить по аллеямъ взадъ и впередъ, но не тѣ были люди. Ужъ по аллеямъ ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какіе-то чужіе гимназисты, чужія барышни. И стало мнѣ грустно. А когда на свои разспросы о знакомыхъ я разъ пять получилъ отъ Кисочки въ отвѣтъ: «умеръ», моя грусть обратилась въ чувство, какое испытываешь на панихидѣ по хорошемъ человекѣ. И я, сидя тутъ у окна, глядя на гуляющую публику и слушая брнчащее фортепяно, первый разъ въ жизни собственными глазами увидѣлъ, съ какою жадностью одно поколѣніе снѣшить смѣнить другое, и какое роковое значеніе въ жизни человека имѣютъ даже какія-нибудь семь-восемь лѣтъ!

«Кисочка поставила на столъ бутылку сантуринскаго. Я вынулъ, раскнелъ и сталъ длинно рассказывать о чемъ-то. Кисочка слушала и попрежнему любовалась мной и моимъ умомъ. А время шло. Небо уже потемнѣло такъ, что силуэты акацій и липъ слились вмѣстѣ, публика уже не гуляла по аллеямъ, фортепяно затихло, и только слышался ровный шумъ моря.

«Молодые люди все одинаковы. Приласкайте, приглубьте вы молодого человека, угостите его виномъ, дайте ему понять, что онъ интересенъ, и онъ разсядется, забудетъ о томъ, что пора ему уходить, и будетъ говорить, говорить, говорить... У хозяевъ слышаются глаза, имъ пора уже спать, а онъ все сидитъ и говоритъ. Такъ

и я. Разъ печально взглянулъ я на часы: было половина одиннадцатаго. Я сталъ прощаться.

«— Выпейте на дорожку, — сказала Кисочка.

«Я выпилъ на дорожку, опять заговорилъ длинно, забывая, что пора уходить, и съѣлъ. Но вотъ послышались мужскіе голоса, шаги и звяканье шпоръ. Какіе-то люди прошли подъ окнами и остановились около двери.

«— Кажется, мужъ вернулся...—сказала Кисочка, прислушиваясь.

«Дверь щелкнула, голоса раздались уже въ передней, и я видѣлъ, какъ мимо двери, ведущей въ столовую, прошли два человѣка: одинъ — полный, солидный брюнетъ съ горбатымъ носомъ и въ соломенной шляпѣ, и другой — молодой офицеръ въ бѣломъ кителѣ. Проходя мимо двери, оба они равнодушно и мелькомъ взглянули на меня и Кисочку, и мигъ показалось, что оба они были пьяны.

«— Она, значить, тебѣ наврала, а ты повѣрилъ! — раздался черезъ минуту громкій голосъ съ сильнымъ носовымъ проносомъ. — Во-первыхъ, это было не въ большомъ клубѣ, а въ маломъ.

«— Ты, Юпитеръ, серднишься, стало-быть, ты неправъ... — сказала другой, смѣющийся и кашляющій, очевидно, офицерскій голосъ. — Послушай, мнѣ можно остаться у тебя ночевать? Ты по совѣсти: я тебя не стѣсню?

«— Чтò за вопросъ?! Не только можно, а даже должно. Ты чего хочешь, пива или вина?

«Оба сидѣли черезъ двѣ комнаты отъ насъ, громко говорили и, видимо, не интересовались ни Кисочкой ни ея гостемъ. Съ Кисочкой же, когда вернулся мужъ, произошла замѣтная перемѣна. Она сначала покраснѣла, потомъ лицо ея приняло робкое, виноватое выраженіе; ею овладѣло какое-то безпокойство, и мнѣ стало казаться, что ей совѣстно показывать мнѣ своего мужа и хочется, чтобъ я ушелъ.

«Я началъ прощаться. Кисочка проводила меня до крыльца. Я отлично помню ея кроткую, грустную улыбку и ласковые, покорные глаза, когда она мнѣ пожала руку и сказала:

«— Вѣроятно, мы ужъ больше никогда не увидимся. Ну, дай Богъ вамъ всего хорошаго. Спасибо вамъ!

«Ни одного вздоха, ни одной фразы. Прощаясь, она держала въ рукахъ свѣчу; свѣтлыя пятна прыгали по ея лицу и шеѣ, точно гоняясь за ея грустной улыбкой; я

вообразилъ себѣ прежнюю Кисочку, которую, бывало, хотѣлось погладить, какъ кошку, пристально поглядѣль на тенерешнюю, припомнилъ мнѣ почему-то ея слова: «Каждый человѣкъ долженъ терпѣть то, что ему отъ судьбы положено.»—и у меня на душѣ стало нехорошо. Мое чутье угадало и моя совѣсть шеннула мнѣ, счастливому и равнодушному, что передо мной стоитъ хорошій, доброжелательный, любящій, но замученный человѣкъ...

«Я раскланялся и пошелъ къ воротамъ. Было уже темно. Въ юлѣ на югѣ вечера наступаютъ рано, и воздухъ темнѣетъ быстро. Къ десяти часамъ бываетъ ужъ такъ темно, что хоть глазъ выколи. Пока я почти ощупью добрался до воротъ, то сжегъ десятка два спичекъ.

«— Извозчикъ! — крикнулъ я, выйдя за ворота; въ отвѣтъ мнѣ ни гласа ни воздыханія...—Извозчикъ!—повторилъ я.— Эй, линейка!

«Но нѣтъ ни извозчиковъ ни линейекъ. Гробовая тишина. Я только слышу, какъ шумитъ сонное море, и какъ бьется отъ сантуринскаго мое сердце. Поднимаю глаза къ небу—тамъ ни одной звѣзды. Темно и пасмурно. Очевидно, небо покрыто облаками. Я для чего-то пожимаю плечами, глупо улыбаюсь и еще разъ, ужъ не такъ вѣшительно, зову извозчика.

«— Ощъ!—отвѣчаетъ мнѣ эхо.

«Пройти вѣшкомъ четыре версты полемъ, да еще въ потемкахъ—перспектива неприятная. Прежде чѣмъ рѣшиться итти вѣшкомъ, я долго размышляю и зову извозчика, потомъ пожимаю плечами и безъ всякой опредѣленной цѣли дѣйствительно возвращаюсь назадъ въ рошу. Въ рошѣ темно ужасно. Кое-гдѣ между деревьями тускло краснѣютъ окна дачниковъ. Воропа, разбуженная моими шагами и испугавшись спичекъ, которыми я освѣщаю свой путь къ бесѣдкѣ, перелетаетъ съ дерева на дерево и шуршитъ въ листьѣ. Мнѣ и досадно и стыдно, а ворона какъ будто понимаетъ это и дразнить—кrrrra! Досадно мнѣ, что придется итти вѣшкомъ, и стыдно, что у Кисочки я разболтался, какъ мальчикъ.

«Добрался я до бесѣдки, нацупалъ скамью и сѣлъ. Далеко внизу, за густыми потемками тихо и сердито ворчало море. Помню, я, какъ слѣпой, не видѣль ни моря, ни неба, ни даже бесѣдки, въ которой сидѣль, и мнѣ представлялось уже, что весь этотъ свѣтъ состоитъ только изъ мыслей, которыя бродятъ въ моей охмелѣвшей отъ вина

головѣ, и изъ невидимой силы, монотонно шумящей гдѣ-то внизу. А потомъ, когда я задремалъ, мнѣ стало казаться, что шумитъ не море, а мои мысли, и что весь міръ состоитъ изъ одного только меня. II. сосредоточивъ такимъ образомъ въ себѣ самомъ весь міръ, я забылъ и про извозчиковъ, и про городъ, и про Кисочку, и отдался ощущенію, которое я такъ любилъ. Это—ощущеніе страшнаго одиночества, когда вамъ кажется, что во всей вселенной, темной и безформенной, существуете только вы одинъ. Ощущеніе гордое, демоническое, доступное только русскимъ людямъ, у которыхъ мысли и ощущенія такъ же широки, безграничны и суровы, какъ ихъ равнины, лѣса, снѣга. Если бы я былъ художникомъ, то непременно изобразилъ бы выраженіе лица у русскаго человека, когда онъ сидитъ неподвижно и, подобравъ подъ себя ноги, обнявъ голову руками, предается этому ощущенію... А рядомъ съ этимъ ощущеніемъ мысли о безцѣльной жизни, о смерти, загробныхъ потемкахъ... мысли не стоятъ гроша мѣднаго, но выраженіе лица, должно-быть, прекрасно...

«Пока я сидѣлъ и дремалъ, не рѣшаясь подняться,—мнѣ было тепло и покойно,—вдругъ среди ровнаго, однообразнаго шума моря, какъ на канвѣ, стали обозначаться звуки, отвлекшіе мое вниманіе отъ самого себя... Кто-то торопливо шелъ по аллеѣ. Подойдя къ бесѣдкѣ, этотъ кто-то остановился, всхлинулъ, какъ дѣвочка, и спросилъ голосомъ плачущей дѣвочки:

«— Боже мой, когда же наконецъ все это кончится? Господи!

«Судя по голосу и по плачу, это была дѣвочка лѣтъ 10—12. Она нерѣшительно вошла въ бесѣдку, сѣла и стала вслухъ не то молиться, не то жаловаться...

«— Господи!—говорила она протяжно и плача.—Вѣдь это же невыносимо! Этого не выдержитъ никакое терпѣніе! Я терплю, молчу, но вѣдь, пойми же, и мнѣ жить хочется... Ахъ, Боже мой, Боже мой!

«И все въ такомъ родѣ... Мнѣ захотѣлось взглянуть на дѣвочку и поговорить съ ней. Чтобы не испугать ея, я сначала громко вдохнулъ и кашлянулъ, потомъ осторожно чиркнулъ спичкой... Яркій свѣтъ блеснулъ въ потемкахъ и освѣтилъ того, кто плакалъ. Это была Кисочка».

— Чудеса въ рѣшетѣ!—вдохнулъ фонъ-Штенбергъ.—

Черная ночь, шумъ моря, страдающая она, онъ съ ощущеніемъ вселенскаго одиночества... Чортъ знаетъ что! Недостаетъ только черкесовъ съ книжалами.

— Я рассказываю вамъ не сказку, а былъ.

— Ну, хоть бы и былъ... Это все ни къ чему и давно уже извѣстно...

— Погодите презирать, дайте кончить! — сказалъ Апаньевъ, досадливо махнувъ рукой. — Не мѣшайте, пожалуйста! Я не вамъ рассказываю, а доктору... Ну-съ, — продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ и искоса поглядывая на студента, который нагнулся къ своимъ книгамъ и, казалось, былъ очень доволенъ тѣмъ, что поддразнилъ инженера. — Ну-съ, увидѣвъ меня, Кисочка не удивилась и не испугалась, какъ будто раньше знала, что увидитъ меня въ бесѣдкѣ. Она прерывисто дышала и дрожала веѣмъ тѣломъ, какъ въ лихорадкѣ, а лицо ея, мокрое отъ слезъ, насколько я могъ разглядѣть, зажигая спичку за спичкой, было ужъ не прежнее умное, покорное и усталое лицо, а какое-то другое, которое я до сихъ поръ никакъ не могу понять. Оно не выражало ни боли, ни безпокойства, ни тоски, ничего такого, что выражали ея слова и слезы... Признаюсь, оттого, вѣроятно, что я не понималъ его, оно казалось мнѣ безмысленнымъ и пьянымъ.

«— Я не могу больше...—забормотала Кисочка голосомъ плачущей дѣвочки.—Нѣтъ моихъ силъ, Николай Анастасьичъ! Простите, Николай Анастасьичъ... Я не въ состояніи жить такъ... Уиду въ городъ къ матери... Проводите меня... Ради Бога проводите!

«Въ присутствіи плачущихъ я не умѣлъ ни говорить ни молчать. Я растерялся и въ утѣшеніе забормоталъ какой-то вздоръ.

«— Нѣтъ, нѣтъ, я поѣду къ матери!—сказала рѣшительно Кисочка, поднимаясь и судорожно хватая меня за руку (руки и рукава у нея были мокры отъ слезъ). Простите, Николай Анастасьичъ, поѣду... Больше не могу...

«— Кисочка, по вѣдь ни одного извозчика нѣтъ!—сказалъ я.—На чемъ вы поѣдете?

«— Ничего, я иѣшкомъ пойду... Тутъ недалеко. А я больше не въ состояніи...

«Я былъ смущенъ, но не растроганъ. Для меня въ слезахъ Кисочки, въ ея дрожи и въ тупомъ выраженіи лица чувствовалась несерьезная французская или мало-россійская мелодрама, гдѣ каждый золотникъ пусто, де-

шеваго горя заливается нудомъ слезъ. Я не понималъ ея и знать, что не понимаю, мнѣ бы слѣдовало молчать, но почему-то, вѣроятно, чтобы молчаніе мое не было принято какъ глупость, я считалъ нужнымъ уговаривать ее не ѣхать къ матери и сидѣть дома. Плачущіе не любятъ, когда кто видитъ ихъ слезы. А я зажигалъ спичку за спичкой и чиркалъ до тѣхъ поръ, пока не опустѣла коробка. Къ чему мнѣ понадобилась эта невеликодушная иллюминація, до сихъ поръ никакъ не могу понять. Вообще холодные люди часто бываютъ неловки и даже глупы.

«Въ концѣ концовъ Кисочка взяла меня подъ руку, и мы пошли. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спѣша по мягкой пыльной дорогѣ. Было темно, когда же глаза мои мало-по-малу привыкли къ темнотѣ, я сталъ различать силуэты старыхъ, но тощихъ дубовъ и липъ, которые росли по сторонамъ дороги. Скоро направо неясно обозначилась черная полоса неровнаго, обрывистаго берега, пересѣченная кое-гдѣ небольшими глубокими оврагами и промоинами. Около овраговъ ютились невысокіе кусты, похожіе на сидящихъ людей. Становилось жутко. Я подозрительно коснулся на берегъ, и ужъ шумъ моря и тишина поля неспрiятно пугали мое воображеніе. Кисочка молчала. Она не переставала дрожать и, не пройдя полуверсты, ужъ ослабѣла отъ ходьбы и задышалась. Я тоже молчалъ.

«Въ верстѣ отъ Карангина стоитъ заброшенное четырехэтажное зданіе съ очень высокой трубой, въ которомъ когда-то была паровая мукомольня. Оно стоитъ одиноко на берегу, и днемъ его бываетъ далеко видно съ моря и съ поля. Оттого, что оно заброшено, и что въ немъ никто не живетъ, и оттого, что въ немъ сидитъ эхо и отчетливо повторяетъ шаги и голоса прохожихъ, оно кажется таинственнымъ. И вотъ представьте меня въ темную ночь подъ руку съ женщиной, которая бѣжитъ отъ мужа, около длинной и высокой громадины, повторяющей каждый мой шагъ и неподвижно глядящей на меня сотнею своихъ черныхъ оконъ. Нормальный молодой человѣкъ при такой обстановкѣ ударился бы въ романтизмъ, я же глядѣлъ на темныя окна и думалъ: «Все это внушительно, но придетъ время, когда и отъ этого зданія, и отъ Кисочки съ ея горемъ, и отъ меня съ моими мыслями не останется и пыли... Все вздоръ и суета...»

«Когда мы поровнялись съ мукомольней, Кисочка вдругъ остановилась, освободила свою руку и заговорила, но ужъ голосомъ не дѣвочки, а своимъ собственнымъ :

«— Николай Анастасьичъ, я знаю, вамъ все это кажется страннымъ. Но я страшно несчастна! И представить даже вы себѣ не можете, какъ я несчастна! Невозможно представить! Я вамъ не рассказываю, потому что и рассказывать нельзя... Такая жизнь, такая жизнь...

«Кисочка не договорила, стиснула зубы и простонала такъ, какъ будто старалась изъ всѣхъ силъ не крикнуть отъ боли.

«— Такая жизнь! — повторила она съ ужасомъ и нарастающимъ, съ тѣмъ южнымъ, немножко хохлацкимъ акцентомъ, который, особенно у женщинъ, придаетъ возбужденной рѣчи характеръ пѣсни.—Такая жизнь! А, Боже мой, Боже мой, что же это такое? А, Боже мой, Боже мой!

«Точно желая разгадать тайну своей жизни, она въ недоумѣннн пожимала плечами, качала головой и всплескивала руками. Говорила она, словно пѣла, двигалась граціозно и красиво, и напомнила мнѣ одну знаменитую хохлацкую актрису.

«— Господи, да я же какъ въ ямѣ! — продолжала она, ломая руки.—Хоть бы одну минуточку пожить въ радости, какъ люди живутъ! А, Боже мой, Боже мой! Дожила до такого срама, что при чужомъ человѣкѣ ухажу ночью отъ мужа, какъ какая-нибудь безпутная. Чего же еще хорошаго можно ждать послѣ этого?

«Любуясь ея движеніями и голосомъ, я вдругъ стала чувствовать неудовольствіе отъ того, что она не въ ладахъ съ мужемъ. «Хорошо бы сойтись съ ней!» — мелькнуло у меня въ мысляхъ, и эта безжалостная мысль остановилась въ моемъ мозгу, не покидала меня во всю дорогу и улыбалась мнѣ все шире и шире...

«Пройдя версты полторы отъ мукомольни, нужно поворачивать къ городу влѣво мимо кладбища. У поворота на углу кладбища стоитъ каменная вѣтряная мельница, а возлѣ нея небольшая хатка, въ которой живетъ мельникъ. Миновали мы мельницу и хатку, повернули влѣво и дошли до воротъ кладбища. Тутъ Кисочка остановилась и сказала :

«— Я вернусь, Николай Анастасьичъ! Вы идите себѣ съ Богомъ, а я сама вернусь. Мнѣ не страшно.

«— Ну вотъ еще! — испугался я.— Коли итти, такъ итти...

«— Я напрасно погорячилась... Все вѣдь изъ-за пу-

стыка вышло. Вы своими разговорами напомнили мнѣ прошлое, навели меня на разныя мысли... Я была грустна и хотѣла плакать, а мужъ при офицерѣ сказалъ мнѣ дерзость, ну, я и не выдержала... И зачѣмъ мнѣ идти въ городъ къ матери? Развѣ отъ этого я стану счастливѣе? Надо вернуться... А впрочемъ... пойдемте!—сказала Кисочка и засмѣялась.—Все равно!

«Я помнилъ, что на кладбищенскихъ воротахъ есть надпись: «Придетъ часъ, въ онъ же всѣ сущіе во гробѣхъ услышать гласъ Сына Божія», отлично зналъ, что рано или поздно настанетъ время, когда и я, и Кисочка, и ея мужъ, и офицеръ въ бѣломъ кителѣ будемъ лежать за оградой подъ темными деревьями, спать, что рядомъ со мной идетъ несчастный, оскорбленный человѣкъ—все это я сознавалъ ясно, но въ то же время меня волновалъ тяжелый, неприятный страхъ, что Кисочка вернется, и что я не сумѣю сказать ей то, что нужно. Никогда въ другое время въ моей головѣ мысли высшаго порядка не перелетались такъ тѣсно съ самой низкой, животной прозой, какъ въ эту ночь... Ужасно!

«Недалеко отъ кладбища мы нашли извозчика. Доѣхавъ до Большой улицы, гдѣ жила Кисочкина мать, мы отпустили извозчика и пошли по тротуару. Кисочка все время молчала, а я глядѣлъ на нее и злился на себя: «Что же ты не начинаешь? Пора!» Въ двадцати шагахъ отъ гостиницы, гдѣ я жилъ, Кисочка остановилась около фонаря и заплакала.

«— Николай Анастасьичъ!—сказала она, плача, смѣясь и глядя мнѣ въ лицо мокрыми, блестящими глазами.— Я вашего участія никогда не забуду... Какой вы хороший! И всѣ вы такіе молодцы! Честные, великодушные, сердечные, умные... Ахъ, какъ это хорошо!

«Она видѣла во мнѣ интеллигентнаго и передового во всѣхъ отношеніяхъ человѣка, и на ея мокромъ, смѣющемся лицѣ, рядомъ съ умилеишемъ и восторгомъ, которые возбуждала въ ней моя особа, была написана скорбь, что она рѣдко видитъ такихъ людей, и что Богъ не далъ ей счастья быть женою одного изъ нихъ. Она бормотала: «Ахъ, какъ это хорошо!» Дѣтская радость на лицѣ, слезы, кроткая улыбка, мягкіе волосы, выбившіеся изъ-подъ платка, и самый платокъ, небрежно накинутый на голову, при свѣтѣ фонаря напомнили мнѣ прежнюю Кисочку, которую хотѣлось погладить, какъ кошку...

«Я не выдержалъ и сталъ гладить ея волосы, плечи, руки...

«— Кисочка, ну что ты хочешь?—забормоталъ я.—Хочешь, чтобы я съ тобой на край свѣта? Я увезу тебя изъ этой ямы и дамъ тебѣ счастье. Я тебя люблю... Поѣдемъ, моя прелесть? Да? Хорошо?»

«По лицу Кисочки разлилось недоумѣніе. Она отступила отъ фонаря и, ошеломленная, поглядѣла на меня большими глазами. Я крѣпко схватилъ ее за руку, сталъ осыпать поцѣлуями ея лицо, шею, плечи, и продолжалъ клясться и давать обѣщанія. Въ любовныхъ дѣлахъ клятвы и обѣщанія составляютъ почти фізіологическую необходимость. Безъ нихъ не обойдешься. Иной разъ знаешь, что лжешь, и что обѣщанія не нужны, а все-таки клянешься и обѣщаешь. Ошеломленная Кисочка все витилась назадъ и глядѣла на меня большими глазами...

«— Не нужно! Не нужно!—забормотала она, отстрапая меня руками.

«Я крѣпко обнялъ ее. Она вдругъ истерично заплакала, и лицо ея приняло такое же безсмысленное, тупое выраженіе, какое я видѣлъ у нея въ бесѣдѣ, когда зажигаютъ спички... Не спрашивая ея согласія, мѣшая ей говорить, я насильно потащилъ ее къ себѣ въ гостиницу... Она была какъ въ столбнякѣ и не шла, но я взялъ ее подъ руку и почти понесъ... Помню, когда мы поднимались вверхъ по лѣстницѣ, какая-то фигура съ краснымъ окольцемъ удивленно поглядѣла на меня и поклонилась Кисочкѣ...»

Данъ, въ покраснѣлъ и умолкъ. Онъ молча прошелся около стола, досадливо почесалъ себѣ затылокъ и нѣсколько разъ судорожно пожалъ плечами и лопатками отъ холода, который пробѣгалъ по его большой спинѣ. Ему ужъ было стыдно и тяжело вспоминать, и онъ боролся съ собой...

— Нехорошо!—сказалъ онъ, выпивая стаканъ вина и встряхивая головой. — Говорятъ, что всякій разъ въ вступительной лекціи по женскимъ болѣзнямъ совѣтуютъ студентамъ-медикамъ, прежде чѣмъ раздѣвать и ошупывать больную женщину, вспоминать, что у каждаго изъ нихъ есть мать, сестра, невѣста... Этотъ совѣтъ годился бы не для однихъ только медиковъ, но для всѣхъ, кому приходится такъ или иначе сталкиваться въ жизни съ женщинами. Теперь, когда у меня есть жена и дочка,

ахъ, какъ я понимаю этотъ совѣтъ! Какъ понимаю, Боже мой! Однако слушайте, что дальше... Ставни моей любовницей, Кисочка взглянула на дѣло иначе, чѣмъ я. Прежде всего она полюбила страстно и глубоко. То, что для меня составляло обыкновенный любовный экстроптъ, для нея было цѣлымъ переворотомъ въ жизни. Помню, мнѣ казалось, что она сошла съ ума. Счастливая первый разъ въ жизни, помолодѣвшая лѣтъ на пять, съ вдохновеннымъ, восторженнымъ лицомъ, не зная, куда дѣваться отъ счастья, она то смѣялась, то плакала и не переставала мечтать вслухъ о томъ, какъ завтра мы поѣдемъ на Кавказъ, оттуда осенью въ Петербургъ, какъ будемъ потомъ жить...

«— А насчетъ мужа ты не безпокойся!—успокаивала она меня.—Онъ обязанъ дать мнѣ разводъ. Всему городу извѣстно, что онъ живетъ со старшей Костовичъ. Мы получимъ разводъ и повѣнчаемся.

«Женщины, когда любятъ, климатизируются и привыкають къ людямъ быстро, какъ кошки. Побыла Кисочка у меня въ номерѣ часа полтора, а ужъ чувствовала себя въ немъ, какъ дома, и распоряжалась моимъ добромъ, какъ своимъ собственнымъ. Она укладывала въ чемоданъ мои вещи, журила меня за то, что я не вѣшаю на гвоздь свое новое дорогое пальто, а бросаю его на стулъ, какъ тряпку, и проч.

«Я глядѣлъ на нее, слушалъ и чувствовалъ усталость и досаду. Меня немножко коробило отъ мысли, что порядочная, честная и страдающая женщина такъ легко, въ какіе-нибудь три-четыре часа сдѣлалась любовницей первого встрѣчнаго. Это ужъ мнѣ, какъ порядочному человѣку, видите ли, не нравилось. Потомъ, на меня еще непріятно дѣйствовало то, что женщины въ родѣ Кисочки неглубоки и несерьезны, слишкомъ любятъ жизнь и даже такой, въ сущности, пустякъ, какъ любовь къ мужчинамъ, возводятъ на степенъ счастья, страданія, жизненнаго переворота... Къ тому же теперь, когда я былъ сытъ, мнѣ было досадно на себя, что я сгинулъ и связался съ женщиной, которую поневолѣ придется обмануть... А я, надо замѣтить, несмотря на свою безпорядочность, терпѣть не могъ лгать.

«Помню, Кисочка сѣла у моихъ ногъ, положила голову мнѣ на колѣни и, глядя на меня блестящими, любящими глазами, спросила :

«— Коля, ты меня любишь? Очень? Очень?»

«И засмѣялась отъ счастья... Это показалось мнѣ сентиментально, приторно и неумно, а между тѣмъ я нахотился уже въ такомъ настроеніи, когда во всемъ искалъ прежде всего «глубины мысли».

«— Кисочка, ты бы ушла домой,—сказалъ я:—а твои родные, чего добраго, хватятся тебя и будутъ искать по городу. Да и неловко, что ты къ матери придешь подь утро...

«Кисочка согласилась со мною. На прощаніе мы условились, что завтра въ полдень я увижусь съ нею въ городскомъ саду, а послѣзавтра мы вмѣстѣ поѣдемъ въ Пятигорскъ. Я вышелъ провожать ее на улицу и, помню, нѣжно и искренно ласкалъ ее дордогой. Была минута, когда мнѣ вдругъ стало невыносимо жаль, что она такъ беззавѣтно вѣритъ мнѣ, и я порѣшилъ-было взять ее съ собою въ Пятигорскъ, но, вспомнивъ, что у меня въ чемоданѣ только шестьсотъ рублей, и что осенью развязаться съ нею будетъ гораздо труднѣй, чѣмъ теперь, я послѣшилъ заглушить свою жалость.

«Мы пришли къ дому, гдѣ жила Кисочкина мать. Я дернулъ за звонокъ. Когда послышались за дверью шаги, Кисочка вдругъ сдѣлала серьезное лицо, взглянула на небо и нѣсколько разъ торопливо перекрестила меня, какъ ребенка, потомъ схватила мою руку и прижала къ своимъ губамъ.

«— До завтра!—проговорила она и исчезла за дверью.

«Я перешелъ на противоположный тротуаръ и отсюда поглядѣлъ на домъ. Сначала за окнами было темно, потомъ въ одномъ изъ оконъ мелькнулъ слабый синева-тый огонекъ только-что зажженной свѣчки; огонекъ выросъ, пустилъ отъ себя лучи, и я увидѣлъ, какъ вмѣстѣ съ нимъ по комнатамъ задвигались какія-то тѣни.

«— Не ждали!—подумалъ я.

«Вернувшись къ себѣ въ номеръ, я раздѣлся, выпилъ сантурнискаго, закусилъ свѣжей зернистой икрой, которую купилъ днемъ на базарѣ, не спѣша легъ въ постель и уснулъ крѣпкимъ, безмятежнымъ сномъ туриста.

«Утромъ проснулся я съ головою болью и въ дурномъ расположеніи духа. Что-то беспокоило меня.

«— Въ чемъ дѣло? —спрашивалъ я себя, желая объяснить свое беспокойство. — Чтò тревожитъ меня?»

«И свое беспокойство я объяснилъ боязнью, что сейчасъ.

пожалуй, придетъ ко мнѣ Кисочка, помѣшаетъ мнѣ уѣхать, и я долженъ буду лгать и ломаться передъ ней. Я быстро одѣлся, уложилъ свои вещи и вышелъ изъ гостиницы, приказавъ швейцару доставить мой багажъ на вокзалъ къ семи часамъ вечера. Весь день пробылъ я у одного пріятеля-доктора, а вечеромъ ужъ выѣхалъ изъ города. Какъ видите, мое мышленіе не помѣшало мнѣ удариться въ подлое, измѣнническое бѣгство...

«Все время, пока я сидѣлъ у пріятеля и ѣхалъ потомъ на вокзалъ, меня мучило безпокойство. Мнѣ казалось, что я боюсь встрѣчи съ Кисочкой и скандала. На вокзалѣ я нарочно просидѣлъ въ уборной до второго звонка, а когда пробирался къ своему вагону, меня давило такое чувство, какъ будто весь я отъ головы до ногъ былъ обложенъ краденными вещами. Съ какимъ нетерпѣніемъ и страхомъ я ждалъ третьяго звонка!

«Но вотъ раздался спасительный третій звонокъ, поѣздъ тронулся; миновали мы тюрьму, казармы, выѣхали въ поле, а безпокойство, къ великому моему удивленію, все еще не оставляло меня, и все еще я чувствовалъ себя вормомъ, которому страстно хочется бѣжать. Что за странность? Чтобы разсѣяться и успокоить себя, я сталъ глядѣть въ окно. Поѣздъ шелъ по берегу. Море было гладко, и въ него весело и спокойно глядѣлось бирюзовое небо, почти наполовину выкрашенное въ нѣжный, золотисто-багряный цвѣтъ заката. Кое-гдѣ на немъ чернѣли рыбацкіе лодочки и плоты. Городъ чистенькій и красивый, какъ игрушка, стоялъ на высокомъ берегу и ужъ подергивался вечернимъ туманомъ. Золотыя главы его церквей, окна и зелень отражали въ себѣ заходившее солнце, горѣли и таяли, какъ золото, которое плавится... Занавѣ поля мѣшался съ нѣжною сыростью, вѣявшей съ моря.

«Поѣздъ летѣлъ быстро. Слышался смѣхъ пассажировъ и кондукторовъ. Всемъ было весело и легко, а мое непонятное безпокойство все росло и росло... Я глядѣлъ на легкій туманъ, покрывавшій городъ, и мнѣ представлялось, какъ въ этомъ туманѣ около церквей и домовъ, съ безсмысленнымъ, тупымъ лицомъ мечется женщина, ищетъ меня и голосомъ дѣвочки, или нараспѣвъ, какъ хохлацкая актриса, стонетъ: «А, Боже мой, Боже мой!» Я вспоминалъ ея серьезное лицо и большіе озабоченные глаза, когда она вчера крестила меня, какъ родного, и машинально оглядывалъ свою руку; которую она вчера цѣловала.

«— Влюбленъ я, что ли?—спрашивалъ я себя, почесывая руку.

«Только съ наступленіемъ ночи, когда пассажиры спали и я одинъ на одинъ остался со своею совѣстью, мнѣ стало понятно то, чего я никакъ не могъ понять раньше. Въ вагонныхъ сумеркахъ стоялъ передо мной образъ Кисочки, не отходяль отъ меня, и я уже ясно сознавалъ, что мною совершено зло, равносильное убійству. Меня мучила совѣсть. Чтобы заглушить это невыносимое чувство, я увѣрялъ себя, что все вздоръ и суета, что я и Кисочка умремъ и сгнемъ, что ея горе ничто въ сравненіи со смертью, и такъ далѣе и такъ далѣе... что въ концѣ концовъ свободной воли нѣтъ, и что я, стало-быть, не виноватъ; но всѣ эти доводы только раздражали меня и какъ-то особенно быстро ступшеывались среди другихъ мыслей. Въ рукѣ, которую поцѣловала Кисочка, было ощущеніе тоски... Я то ложился, то вставалъ, пилъ на станціяхъ водку, насильно ѣлъ бутерброды, опять принимался увѣрять себя, что жизнь не имѣеть смысла, но ничто не помогало. Въ моей головѣ кипѣла странная и, если хотите, смѣшная работа. Самыя разнообразныя мысли въ беспорядкѣ громоздились одна на другую, путались, уѣшали другъ другу, и я, мыслитель, уставая въ землю лбомъ, ничего не понималъ и никакъ не могъ ориентироваться въ этой кучѣ нужныхъ и ненужныхъ мыслей. Оказалось, что я, мыслитель, не усвоилъ себѣ еще даже техники мышленія, и что распорядиться своею собстvenной головой я такъ же не умѣлъ, какъ починять часы. Первый разъ въ жизни я мыслить усердно и напряженно, и это казалось мнѣ такой диковиной, что я думалъ: «Я схожу съ ума!» Чей мозгъ работаетъ не всегда, а только въ тяжелыя минуты, тому часто приходитъ мысль о сумасшествіи.

«Промаялся я такимъ образомъ ночь, день, потомъ еще ночь, и, убѣдившись, какъ мало помогаетъ мнѣ мое мышленіе, я прозрѣлъ и понялъ наконецъ, что я за птица. Я понялъ, что мысли мои не стоятъ гроша мѣднаго, и что до встрѣчи съ Кисочкой я еще не начиналъ мыслить и даже понятія не имѣлъ о томъ, что значитъ серьезная мысль; теперь, настрадавшись, я понималъ, что у меня не было ни убѣжденій, ни опредѣленнаго нравственнаго кодекса, ни сердца, ни разсудка; все умственное и нравственное богатство мое состояло изъ спеціальныхъ знаній,

обрывковъ, ненужныхъ воспоминаній, чужихъ мыслей— и только, а психическія движенія мои были несложны, просты и азбучны, какъ у якута... Если я не любилъ говорить ложь, не кралъ, не убивалъ и вообще не дѣлалъ очевидно грубыхъ ошибокъ, то это не въ силу своихъ убѣжденій,—ихъ у меня не было,—а просто только потому, что я по рукамъ и ногамъ былъ связанъ нянюшкиными сказками и прописной моралью, которая вошла мнѣ въ плоть и кровь и которая незамѣтно для меня руководила мною въ жизни, хотя я и считалъ ихъ нелѣпностью...

«Я понялъ, что я не мыслитель, не философъ, а просто виртуозъ. Богъ далъ мнѣ здоровый, сильный русскій мозгъ съ задатками таланта. И вотъ представьте себѣ этотъ мозгъ на 26-мъ году жизни, не дрессированный, совершенно свободный отъ постоа, не обремененный никакой кладью, а только слегка запыхавшійся кое-какими знаниями по инженерной части; онъ молодъ и физиологически алчетъ работы, ищетъ ея, и вдругъ совершенно случайно путемъ западаетъ въ него извиѣ красивая, сочная мысль о безцѣльной жизни и загробныхъ потемкахъ. Онъ жадно вытягиваетъ ее въ себя, даетъ въ ея распоряженіе весь свой просторъ и начинаетъ играть съ нею на всякіе лады, какъ кошка съ мышкой. У мозга ни эрудиціи ни системы, но это не бѣда. Онъ собственными природными силами на манеръ самоучки справляется съ широкой мыслью, и не проходитъ мѣсяца, какъ ужъ обладатель мозга изъ одного картофеля готовитъ сотню вкусныхъ блюдъ и мнитъ себя мыслителемъ...

«Эту виртуозность, игру въ серьезную мысль наше поколѣніе внесло въ науку, въ литературу, въ политику и всюду, куда только оно не лѣнилось итти, а съ виртуозностью вносило оно свой холодъ, скуку, односторонность и, какъ мнѣ кажется, уже успѣло воспитать въ массѣ новое, до сихъ поръ небывалое отношеніе къ серьезной мысли.

«Свою ненормальность и круглое невѣжество я понялъ и оцѣнилъ благодаря несчастью. Нормальное же мое мышленіе, какъ мнѣ теперь кажется, началось только съ того времени, когда я принялся за азбуку, т.-е. когда совѣсть погнала меня назадъ въ N., и я, не мудрствуя лукаво, покаялся передъ Кисочкой, вымолилъ у нея, какъ мальчишка, прощеніе и поплакалъ вмѣстѣ съ ней...»

Ананьевъ вкратцѣ описалъ свое послѣднее свиданіе съ Кисочкой и умолкъ.

— Такъ-съ...—процѣдилъ сквозь зубы студентъ, когда инженеръ кончилъ.— Такія-то дѣла на этомъ свѣтѣ!

Лицо его попрежнему выражало мозговую дѣнь, и, по-видимому, рассказъ Ананьева не тронулъ его нисколько. Только когда инженеръ, отдохнувши минутку, опять принялся развивать свою мысль и повторять то, что уже было сказано имъ вначалѣ, студентъ раздраженно поморщился, всталъ изъ-за стола и отошелъ къ своей кровати. Онъ постлалъ постель и сталъ раздѣваться.

— У васъ теперь такой видъ, какъ будто вы въ самомъ дѣлѣ кого-нибудь убѣдили!—сказалъ онъ раздраженно.

— Я, кого-нибудь убѣдилъ?—спросилъ инженеръ.— Душа моя, да развѣ я претендую на это? Богъ съ вами! Убѣдить васъ невозможно! Дойти до убѣжденія вы можете только путемъ личнаго опыта и страданій!..

— И потомъ, удивительная логика!—проворчалъ студентъ, надѣвая ночную сорочку.— Мысли, которыхъ вы такъ не любите, для молодыхъ гибельны, для стариковъ же, какъ вы говорите, составляютъ норму. Точно рѣчь идетъ о сѣдинахъ... Откуда эта старческая привилегія? На чемъ она основана? Ужъ коли эти мысли—ядъ, такъ ядъ для всѣхъ одинаково.

— Э, нѣтъ, душа моя, не говорите!—сказалъ инженеръ и хитро подмигнулъ глазомъ.— Не говорите! Старики, вопервыхъ, не виртуозы. Ихъ пессимизмъ является къ нимъ не извнѣ, не случайно, а изъ глубины собственного мозга и ужъ послѣ того, какъ они проштудируютъ всякихъ Гегелей и Кантовъ, настрадаются, надѣлаютъ тьму ошибокъ, однимъ словомъ, когда пройдутъ всю лѣстницу отъ низу до верху. Ихъ пессимизмъ имѣетъ за собой и личный опытъ и прочное философское развитіе. Во-вторыхъ, у стариковъ-мыслителей пессимизмъ составляетъ не шалтай-болтай, какъ у насъ съ вами, а мировую боль, страданіе; онъ у нихъ имѣетъ христіанскую подкладку, потому что вытекаетъ изъ любви къ человѣку и изъ мыслей о человѣкѣ, и совсѣмъ лишенъ того эгоизма, какой замѣчается у виртуозовъ. Вы презираете жизнь за то, что ея смыслъ и цѣль скрыты именно отъ васъ, и боитесь вы только своей собственной смерти, настоящей же мыслитель страдаетъ, что истина скрыта отъ всѣхъ, и боится за всѣхъ людей. Напримѣръ, тутъ недалеко живеть

казенный лѣсничій Иванъ Александрычъ. Хорошій такой старичокъ. Когда-то онъ гдѣ-то былъ учителемъ, пописывалъ что-то, дортъ его знаетъ, кѣмъ онъ былъ, но только умница замѣчательная и по части философіи собаку съѣлъ. Читалъ онъ много и теперь постоянно читаетъ. Ну-съ, какъ-то недавно встрѣтились мы съ нимъ на Грузовскомъ участкѣ... А тамъ какъ разъ въ это время клали шпалы и рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александрычу, какъ не специалисту, она показалась чѣмъ-то въ родѣ фокуса. Для того, чтобы уложить шпалу и фиксировать къ ней рельсъ, опытному мастеру нужно меньше минуты. Рабочіе были въ духѣ и работали дѣйствительно ловко и быстро; особенно одинъ подлець необыкновенно ловко понадалъ молоткомъ въ головку гвоздя и вбивалъ его съ одного размаха, а въ рукояткѣ-то молотка чуть ли не сажень, и каждый гвоздь въ футъ длиною. Иванъ Александрычъ долго глядѣлъ на рабочихъ, умилелся и сказалъ мнѣ со слезами на глазахъ:— «Какъ жаль, что эти замѣчательные люди умрутъ!» Такой пессимизмъ я понимаю...

— Все это ничего не доказываетъ и не объясняетъ,— сказала студентъ, укрываясь простыней:— и все это одно только толченіе воды въ ступѣ! Никто ничего не знаетъ и ничего нельзя доказать словами.

Онъ выгянулъ изъ-подъ простыни, приподнялъ голову и, раздраженно морщась, проговорилъ быстро:

— Надо быть очень наивнымъ, чтобы вѣрить и придавать рѣпающее значеніе человѣческой рѣчи и логикѣ. Словами можно доказать и опровергнуть все, что угодно, и скоро люди усовершенствуютъ технику языка до такой степени, что будутъ доказывать математически вѣрно, что дважды-два — семь. Я люблю слушать и читать, но вѣрить, покорнѣйше благодарю, я не умѣю и не хочу. Я повѣрю одному только Богу, а вамъ, хоть бы вы говорили мнѣ до второго пришествія и обольстили еще пятьсотъ Кисочекъ, я повѣрю развѣ только, когда сойду съ ума... Спокойной ночи!

Студентъ спряталъ голову подъ простыню и отвернулся лицомъ къ стѣнкѣ, желая этимъ движеніемъ дать понять, что онъ ужъ не желаетъ ни слушать ни говорить. На этомъ и кончился споръ.

Прежде чѣмъ лечь спать, я и инженеръ вышли изъ барака, и я еще разъ видѣлъ огня.

— Мы утомили васъ своей болтовней! — сказалъ Ананьевъ, зѣвая и глядя на небо. — Ну, да что жъ, батенька! Только и удовольствія въ этой скучищѣ, что вотъ вина выпьешь да пофилософствуешь... Экая насыпь, Господи! — умилелся онъ, когда мы подошли къ насыпи. — Это не насыпь, а Араратъ-гора.

Онъ помолчалъ немного и сказалъ:

— Барону эти огни напоминаютъ амалекитянь, а мнѣ кажется, что они похожи на человѣческія мысли... Знаете, мысли каждаго отдѣльнаго человѣка тоже вотъ такимъ образомъ разбросаны въ безпорядкѣ, тянутся куда-то къ цѣли по одной линіи, среди потемокъ, и, ничего не освѣтивъ, не прояснивъ ночи, исчезаютъ гдѣ-то — далеко за старостью. Однако довольно философствовать! Пора бай-бай.

Когда мы вернулись въ баракъ, инженеръ сталъ упрашивать меня, чтобы я легъ непременно на его кровать.

— Ну, пожалуйста! — говорилъ онъ умоляюще, прижимая обѣ руки къ сердцу. — Прошу васъ! А насчетъ меня не беспокойтесь! Я могу спать гдѣ угодно, да и еще не скоро лягу... Сдѣлайте такое одолженіе!

Я согласился, раздѣлся и легъ, а онъ сѣлъ за столъ и принялся за чертежи.

— Нашему брату, батенька, некогда спать, — говорилъ онъ вполголоса, когда я легъ и закрылъ глаза. — У кого жена да пара ребятъ, тому не до спанья. Теперь корми и одѣвай, да на будущее припасай. А у меня ихъ двое: сынишка и дочка... У мальчишки-подлеца хорошая рожа... Шести лѣтъ еще нѣтъ, а способности, доложу вамъ, необыкновенныя... Тутъ у меня гдѣ-то ихъ карточки были... Эхъ, дѣточки мои, дѣточки!

Онъ пошарилъ въ бумагахъ, нашелъ карточки и сталъ глядѣть на нихъ. Я уснулъ.

Разбудили меня лай Азорки и громкіе голоса. Фонъ-Штенбергъ, въ одномъ пижнемъ бѣльѣ, босой и съ вклоченными волосами стоялъ на порогѣ двери и съ кѣмъ-то громко разговаривалъ. Свѣтало... Хмурый, синій разсвѣтъ глядѣлся въ дверь, въ окна и въ щели барака и слабо освѣщала мою кровать, столъ съ бумагами и Ананьева. Растянувшись на полу на буркѣ, выпятивъ свою мясистую, волосатую грудь и съ кожаной подушкой подъ головой, инженеръ спалъ и храпѣлъ такъ громко, что я отъ души пожалѣлъ студента, которому приходится спать съ нимъ каждую ночь.

— Съ какой же стати мы будемъ принимать?—кричалъ фонъ-Штенбергъ.—Это насъ не касается! Поѣзжай къ инженеру Чалисову! Отъ кого это котлы?

— Отъ Никитина...—отвѣчалъ угрюмо чей-то басъ.

— Ну такъ вотъ и поѣзжай къ Чалисову... Это не по нашей части. Какого жъ чорта стоишь? Поѣзжай!

— Ваше благородіе, мы ужъ были у господина Чалисова!—сказалъ басъ еще угрюмѣе.—Вчера цѣльный день ихъ искали по линіи, и въ ихнемъ баракѣ намъ такъ сказали, что они на Дымковскій участокъ уѣхали. Примите, сдѣлайте милость! До какихъ же поръ намъ возить ихъ? Возимъ-возимъ по линіи, и конца не видать...

— Чтò тамъ?—прохрипѣлъ Ананьевъ, просыпаясь и быстро поднимая голову.

— Отъ Никитина котлы привезли, —сказалъ студентъ:—и просятъ, чтобы мы ихъ приняли. А какое намъ дѣло принимать?

— Гоните ихъ въ шею!

— Сдѣлайте милость, ваше благородіе, доведите до порядка! Лошади два дня не ѣвши, и хозяинъ, чай, сердчаетъ. Назадъ намъ везть, что ли? Желѣзная дорога котлы заказывала, стало-быть, она и принять должна...

— Да пойми же, дубина, что это не наше дѣло! Поѣзжай къ Чалисову!

— Чтò такое? Кто тамъ? —прохрипѣлъ опять Ананьевъ.—А чортъ ихъ возьми совсѣмъ,—выбранился онъ, поднимаясь и идя къ двери.—Чтò такое?

Я одѣлся и минуты черезъ двѣ вышелъ изъ барака. Ананьевъ и студентъ, оба въ нижнемъ бѣльѣ и босые, что-то горячо и нетерпѣливо объясняли мужику, который стоялъ передъ ними безъ шалки и съ кнотомъ въ рукѣ и, повидимому, не понималъ ихъ. На лицахъ обоихъ была написана самая будничная забота.

— На что мнѣ сдались твои котлы? — кричалъ Ананьевъ.—На голову я себѣ ихъ надѣну, что ли? Если ты не засталъ Чалисова, то поищи его помощника, а насъ оставь въ покоѣ!

Увидѣвъ меня, студентъ, вѣроятно, вспомнилъ разговоръ, который былъ ночью, и на сонномъ лицѣ его исчезла забота и показалось выраженіе мозговой лѣни. Онъ махнулъ рукой на мужика и, о чемъ-то думая, отошелъ въ сторону.

Утро было пасмурное. По линіи, гдѣ ночью свѣтились

огни, копошились только-что проснувшіеся рабочіе. Слышались голоса и скрипъ тачекъ. Начинаясь рабочій день. Одна лошаденка въ веревочной сбруѣ уже плелась на насыпь и, изо всёхъ силъ вытягивая шею, тащила за собою телѣгу съ пескомъ...

Я сталъ прощаться... Многое было сказано ночью, но я не увозилъ съ собою ни одного рѣшеннаго вопроса, и отъ всего разговора теперь утромъ у меня въ памяти, какъ на фильтрѣ, оставались только огни и образъ Кисочки. Съвни на лошадь, я въ послѣдній разъ взглянулъ на студента и Ананьева, на истеричную собаку съ мутными, точно пьяными глазами, на рабочихъ, мелькавшихъ въ утреннемъ туманѣ, на насыпь, на лошаденку, вытягивающую шею, и подумалъ:

«Ничего не разберешь на этомъ свѣтѣ!»

А когда я ударилъ по лошади и поскакалъ вдоль линіи, и когда, немного погодя, я видѣлъ передъ собою только безконечную, угрюмую равнину и пасмурное, холодное небо, припомнились мнѣ вопросы, которые рѣшались ночью. Я думалъ, а выжженная солнцемъ равнина, громадное небо, темнѣвшій вдали дубовый лѣсъ и туманная даль какъ будто говорили мнѣ:

— Да, ничего не поймешь на этомъ свѣтѣ!

Стало восходить солнце...

1888.

ЯРМАРКА.

Маленькій, еле видимый городишко. Называется городомъ, но на городъ столько же похожъ, сколько плохая деревня на городъ. Если вы хромой человекъ и ходите на костыляхъ, то вы обойдете его кругомъ, взадъ и впередъ, въ десять-пятнадцать минутъ—и того менѣе. Домики все плоховкiе, ветхiе. Любой домъ купите за пятиалтынный съ разсрочкой по третямъ. Жителей его можно по пальцамъ пересчитать: голова, надзиратель, батюшка, учитель, дьяконъ, человекъ, ходящій на каланчѣ, дьячокъ, два-три обывателя, два жандарма—и больше, кажется, никого... Женскаго пола много, но въдъ жеяскiй полъ статистиками въ большинствѣ случаевъ во вниманiе не принимается (статистики знаютъ, что курица—не птица, кобыла—не лошадь, офицерская жена—не барыня...). Приѣзжихъ ужасно много: помѣщики-сосѣди, дачники, поручики временно прохлаждающейся здѣсь батареи, волосатый дьяконъ изъ сосѣдняго села въ лиловой рясѣ, съ бегемотовой октавой, et caetera. Погода—такъ себѣ. То и дѣло дождь, что наводитъ на купующихъ и кунлю дѣющихъ нѣкоторое унынiе. Воздухъ великолѣпный. Московскiе запахи отсутствуютъ. Пахнетъ яб-сомъ, ландышамъ, дегтемъ и какъ будто бы чуточку хлѣбомъ. Изъ всѣхъ закоулочковъ, щелочекъ и уголковъ вѣетъ меркантильнымъ духомъ. Что ни шагъ—то балаганъ. Два ряда балагановъ тянутся по главной улицѣ отъ начала до конца и загромождаютъ собой всю площадь, въ которую вливается главная улица. Въ церковной оградѣ продають бабы сѣмена. Яблоку негдѣ упасть.

Обозовъ, лошадей, коровъ, телятъ, поросятъ ужасъ сколько! Мужиковъ мало, но *бабъ... бабъ!! Все наполнено бабами. Всѣ онѣ въ красныхъ платьяхъ и черныхъ плисовыхъ кофтахъ. Ихъ такъ много, и стоятъ онѣ такъ тѣсно, что по головамъ ихъ можетъ смѣло проскакать на пожаръ «сборъ всѣхъ частей».

Пьяныхъ—увы!—почему-то мало. Въ воздухѣ стоятъ непрерывный гамъ, пискъ, визгъ, скрипъ, блеянье, мычанье. Шумъ такой, какъ будто строится вторая вавилонская башня.

— Всѣ окна обывательскія настезь. Сквозь нихъ видѣются самовары, чайники съ отбитыми посиками и обывательскія флзін съ красными носами. Подъ окнами торчатъ знакомые и жалуются на погоду. Дьяконъ въ лиловой рясе, съ соломой въ волосахъ, пожимаетъ всѣмъ руки и возглашаетъ во всеуслышаніе: «Мое почтеніе! Съ праздникомъ честь имѣю! А... кгм!!?»

Мужескій полъ группируется около лошадей и коровъ. Тутъ торговля производится на десятки и даже сотни рублей. Главные воротилы по лошадиной части, разумѣется, цыгане. Божатся, клянутся и желаютъ себѣ всякихъ напастей во всѣ лопатки. Проданная лошадь передается при помощи полы, изъ чего явствуетъ, что безполюй челоувѣкъ лошадей ни продавать ни покупать не можетъ. Лошади все больше чернорабочія, плебен.

Женскій полъ кружится вокругъ краснаго товара и балагановъ съ пряниками. Неумолимое время наложило печать на эти пряники. Они покрыты сладкой ржавчиной и плѣсенью. Покупайте эти пряники, но держите ихъ, пожалуйста, подальше ото рта, не то быть бѣдѣ! То же можно сказать и о сушеныхъ грушахъ, о карамели. Несчастныя баранки покрыты рогожей, покрыты также и пылью. Бабамъ все нишчемъ. Брюхо не зеркало.

Мухи не могутъ облѣпить такъ медь, какъ мальчишки облѣпили балаганъ съ игрушками. Денегъ у нихъ—ни-ни!.. Они стоятъ и только пожираютъ глазами лошадокъ, содаतिकовъ и оловянные пистолетки. Видитъ око, да зубъ нейметъ. Иной смѣльчакъ возьметъ въ руки пищикъ, поддержитъ его, повертитъ, попищитъ, положитъ на мѣсто—и, довольный, вытретъ носъ. Нѣтъ того балагана, около котораго не торчало бы десятка два-три мальчишекъ. Стоятъ и глядятъ часа по два, по три, поистинѣ съ адскимъ терпѣніемъ. Купите вы какому-нибудь Федюшкѣ,

Петръ, Васюткѣ пистолетикъ или льва съ коровьей мордой и черными полосами на спинѣ — и вы наполните его сердце безграничѣйшей радостью.

Изъ-за локтей мальчиковъ выглядываютъ дѣвочки. Вниманіе ихъ приковано тѣми же лошадаками и куклами въ марлевыхъ юбочкахъ. Дѣтей вы увидите около мороженщиковъ, которые продаютъ «сахарное» и очень плохое мороженое. У кого есть копейка, тотъ ѣстъ изъ зеленой рюмочки, ѣстъ долго, съ чувствомъ, толкомъ, разстановкой, боясь не уловить минуты блаженства, чавкая, облизываясь, облизывая пальцы. Одинъ ѣстъ, а десятка два немущихъ копейки стоятъ «руки по швамъ» и съ завистью заглядываютъ въ ротъ счастливлчика. А тотъ ѣстъ — и ломается.

— Петра, дай... ложечку! — стонетъ дѣвочка, слѣдя за правой рукой счастливлчика.

— Отстань! — говоритъ счастливлчикъ и крѣпче сжимаетъ въ кулакѣ зеленую рюмочку.

— Петра! — стонетъ мальчикъ въ большомъ отцовскомъ картузѣ. — Одолжи!

— Чего?

— Сахарнаго морожена. Немножко. (Пауза). Дашь? Ты ложечку. Я тебѣ пять бабокъ дамъ.

— Отстань! — говоритъ счастливлчикъ.

Счастливлчикъ съѣдаетъ свою порцію, долго облизываетъ губы и долго-долго живетъ воспоминаніями о сахарномъ мороженомъ.

Эхъ, кабы деньги!! Гдѣ вы, пятаки и пяталтычные? Нѣтъ ничего хуже, томительнѣе и мучительнѣе, какъ ходить въ отцовскомъ картузѣ по ярмаркѣ, видѣть и слышать, осязать и обонять, и въ то же время не имѣть за душой ни копейки. Сколь же счастливъ тотъ Оедюшка или Егорка, который можетъ съѣсть на копейку мороженаго, выстрѣлить во всеуслышаніе изъ пистолетика и купить за пяточокъ лошадаку. Маленькое счастье, еле видимое, а и того нѣтъ!

Зубоскаловъ, пьяныхъ и шатающихся по ярмаркѣ безъ дѣла тянетъ къ балаганамъ съ артистами. Театровъ два. Воздвигнуты они среди площади, стоятъ рядомъ и глядятъ сѣро. Состряпаны они изъ дрючевъ, плохихъ, мокрыхъ, слизкихъ досокъ и лохмотьевъ. На крышахъ латка на латкѣ, шовъ на швѣ. Вѣдность страшная. На перекладинахъ и доскахъ, изображающихъ наружную тер-

расу, стоитъ человѣка два-три паяцовъ и потѣшаютъ стоящую внизу публику. Публика самая невзыскательная. Хочетъ не потому, что смѣшно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежитъ. Паяцы подмигиваютъ, корчатъ рожи, ломаютъ комедь, но... увы! Прародители всѣхъ нашихъ пушкинскихъ и не пушкинскихъ сценъ давно уже отжили свой вѣкъ и давнымъ-давно уже сослужили свою службу. Во время оно головы ихъ были посетителями ѣдкой сатиры и заморскихъ истинъ, теперь же остроуміе ихъ приводитъ въ недоумѣніе, а бѣдность таланта соперничаетъ съ бѣдностью балаганной обстановки. Вы слушаете, и вамъ становится тошно. Не странствующіе артисты передъ вами, а голодные двуногіе волки. Голодуха загнала ихъ къ музѣ, а не что-либо другое... Ъсть страшно хочется! Голодные, оборванные, истаскавшіеся, съ болѣзненными, тощими фізіономіями, они корчатся на террасѣ, стараются скорчить идиотскую рожу, чтобы зазвать въ свой балаганъ лишняго зубоскала, получить лишній гривенникъ... Получается не пдіотская рожа, а пошлая: смѣсь апатіи съ дѣланной, привычной, ничего не выражающей гримасой. Подмигиваніе глазомъ, пощечины, удары другъ друга по спинѣ, фамильярныя заговариванія съ толпой, заговариванія свысока... и больше ничего. Словъ ихъ не слушайте. Артисты по принужденію говорятъ не по вдохновенію и не по заранѣе обдуманной, цѣль имѣющей программѣ. Рѣчь ихъ не имѣетъ смысла. Произносится она съ кривляньемъ, а потому, вѣроятно, и вознаграждается смѣхомъ.

— Стой ровно!

— Я не Марья Петровна, а Иванъ Федосѣевъ.

Это образецъ ихъ остроумія. «Шуты и дѣти говорятъ иногда правду», но, надо полагать, и шутымъ нужно быть по призванію, чтобы не всегда говорить чепуху, а иногда и правду...

А публика почтенная глазѣть и заливается. Ей протитительно, впрочемъ: лучшаго не видала, да и позубоскалить хочется. Къ плохимъ пряникамъ, свободному времени, легкому «подъ шефе» недостаетъ только смѣха. Дайте толчокъ — и произойдетъ смѣхъ.

Балагановъ числомъ два. Въ обоихъ каждые четверть часа даются блистательныя представленія. По вечерамъ даются особенныя представленія, выходящія изъ рукъ вонъ. Я опишу одно изъ этихъ представленій.

Самое блистательное представлѣніе было дано передъ отъѣздомъ артистовъ изъ города, въ первое воскресенье послѣ ярмарочнаго дня. За сутки до спектакля клоуны разносили по городу афиши (писанья). Принесли афишу и мнѣ. Вотъ она — эта афиша:

«Въ городѣ NN.

Съ дозволеніемъ начальства на N...ской площади тамъ будетъ большое Приставленіе гимнастическое и акробатическое Приставленіе Трубой Артистовъ Подуправленіе Н. Г. Б. состоящи изъ гимнастическихъ и акробатическихъ Искусствъ Куплетовъ таблицъ и понтонинъ въ двухъ оделеніяхъ.

1-е. Разныя удивительныя и увеселительныя фокусы изъ бѣлой Магіи или Проворотства и ловкость рукъ исполнено будетъ до 20 Предметовъ Клоуномъ уробертомъ.

2-е. Прыжки и скачки сартале морталей воздухъ исполнить Клоунъ Добертъ и малолетныя Андриясъ ивансонъ.

3-е. Англійскій человекъ бескостей или Каучукъ Минъ у которава всѣ члены гибки подобны резинки.

4-е. Комическій куплетъ ивансонъ Тороха исполнить малолетній. (Далѣе въ томъ же родѣ).

9 часовъ вечера цена
местамъ

1 место — 50 к.

2 место — 40 к.

3 место — 30 к.

4 место — 20 к.

Галдарея — 10 к.»

Я укоротилъ афишу, но ничего не прибавилъ.

На описываемомъ спектаклѣ присутствовала вся мѣстная знать (становой съ семьей, докторъ, учитель — всего 17 человекъ). Интеллигенція потроговалась и заплатила за первыя мѣста по четвертаку. Билеты продаегъ самъ хозяинъ, личность довольно типичная. Хозяинъ — типъ во вкусъ Грачевки и Дюковки. Мы заплатили, вошли и заняли первыя мѣста. Публика ломитъ, балаганъ полнехонекъ. Внутренность балагана самая нероскошная. вмѣсто занавѣса, служащаго въ то же время и кулисой, ситцевая тряпочка въ квадратную сажень. вмѣсто люстры четыре свѣчи. Артисты благосклонно исполняютъ

должность артистовъ и капельдниеровъ и полицейскихъ. На всѣ руки мастера. Лучше всего оркестръ, который за-сѣдаетъ направо на лавочкѣ. Музыкантовъ четыре. Одинъ пильт на скрипкѣ, другой на гармоніи, третій на виолончели (съ тремя контрабасовыми струнами), четвертый на бубнахъ. Играютъ все больше «Стрѣлочка», играютъ машинально, фальшивя на чемъ свѣтъ стоитъ. Игрокъ на бубнахъ восхитителенъ. Онъ бьетъ рукой, локтемъ, коленомъ и чуть ли не пяткой. Бьетъ, повидимому, съ наслажденіемъ, съ чувствомъ, занимаясь собой. Рука его ходитъ по бубну какъ-то неестественно ловко, вытанцовывая пальцами такія нотки, какія не взять въ толь и скрипачу. Кажется, что его рука движется вокругъ продольной и поперечной оси.

Передъ началомъ спектакля входитъ чуйка, крестится и садится на первое мѣсто. Къ нему подходит клоунъ.

— Извольте сѣсть въ галерею, — проситъ клоунъ. — Здѣсь первыя мѣста.

— Отстань!

— И чего вы успѣлись, какъ медвѣдь какой-нибудь? Уходите! Это не ваше мѣсто.

Чуйка неумолима. Она надвигаетъ на глаза фуражку и не хочетъ уступить своего мѣста.

Начинаются фокусы. Клоунъ проситъ у публики шляпы. Публика отказывается.

— Ну, такъ и фокусовъ не будетъ! — говоритъ клоунъ. — Господа, нѣтъ ли у кого пятака?

Чуйка предлагаетъ свой пятакъ. Клоунъ продѣлываетъ фокусъ и, возвращая пятакъ, скрываетъ его себѣ въ рукавъ. Чуйка пугается.

— Да ты того... Пстой! Фокусовъ ты, братъ, не представляй! Ты пятакъ давай!

— Не желаетъ ли кто-нибудь побриться, господа? — возглашаетъ клоунъ.

Изъ толпы выходятъ два мальчика. Ихъ покрываютъ грязнымъ одѣяломъ и измазываютъ ихъ физиономіи одному сажей, другому клейстеромъ. Не церемонятся съ публикой!

— Да развѣ это публика? — кричитъ хозяйка. — Это окаянныя!

Послѣ фокусовъ — акробатія съ неизвѣстными «сарталями-морталями» и дѣвицей-геркулесомъ, поднимающей на

косахъ чортову пропасть пудовъ. На срединѣ спектакля происходитъ крушеніе одной стѣны балагана, а въ концѣ — крушеніе всего балагана.

Въ общемъ, впечатлѣніе неказистое. Купующіе и куплю дѣющіе немного потеряли бы, если бы не было на ярмаркѣ балагана. Странствующій артистъ пересталъ быть артистомъ. Нынѣ онъ шарлатанить.

Возлѣ балагановъ съ артистами — качели. За пяточокъ васъ разъ пять поднимутъ выше всѣхъ домовъ и разъ пять опустятъ. Съ барышнями дѣлается дурно, а дѣвки вкушаютъ блаженство. *Suum cuique!*

1882.

ДВА СКАНДАЛА.

(Посвящается Ф. О. Шехтель).

— Стойте, чортъ васъ возьми! Если эти козлы-тенора не перестанутъ рознить, то я уйду къ чорту! Глядѣть въ ноты, рыжая! Вы, рыжая, третья съ правой стороны! Я съ вами говорю! Если не умѣете пѣть, то за какимъ чортомъ вы лѣзете на сцену со своимъ вороньимъ карканьемъ, чортъ бы васъ взялъ совсѣмъ! Начинайте съ начала!

Такъ кричалъ онъ и трещалъ по партитурѣ своей дирижерской палочкой. Этимъ косматымъ господамъ дирижерамъ многое прощается! Да иначе и нельзя. Вѣдь если онъ посылаетъ къ чорту, бранится и рветъ на себѣ волосы, то этимъ самымъ онъ заступаетъ за святое искусство, съ которымъ никто не смѣетъ шутить! Онъ стоитъ на сторожѣ, и, не будь его, кто бы не пускалъ въ воздухѣ этихъ отвратительныхъ полутоновъ, которые то и дѣло разстраиваютъ и убиваютъ гармонію. Онъ бережетъ эту гармонію и за нее готовъ повѣсить весь свѣтъ и самъ повѣситься. На него нельзя сердиться. Заступайся онъ за себя, ну, тогда другое дѣло.

Большая часть его желчи, горькой, пѣнящейся, доставалась на долю рыжей дѣвочки, стоявшей третьей съ праваго фланга. Онъ готовъ былъ проглотить ее, провалить сквозь землю, поломать и выбросить въ окно. Она рознила больше всѣхъ, и онъ ненавидѣлъ и презиралъ ее, рыжую чертовку, больше всѣхъ на свѣтѣ. Если бы она провалилась сквозь землю, умерла тутъ же на его глазахъ, если бы запачканный ламповщикъ зажегъ ее вмѣсто лампы или побилъ ее публично, онъ захохоталъ бы отъ счастья! О, подлая!

— А, чортъ васъ возьми! Поймите же наконецъ, что вы столько же смыслите въ пѣніи и музыкѣ, какъ я въ китоловствѣ! Я съ вами говорю, рыжая! Растолкуйте ей, что тамъ не «фа діэзъ», а просто «фа»! Поучите этого неуча нотамъ! Ну, пойте одна! Начинайте! Вторая скрипка, убирайтесь вы къ чорту съ вашимъ неподмазаннымъ смычкомъ!

Она, восемнадцатилѣтняя дѣвочка, стояла, глядѣла въ ноты и дрожала, какъ струна, которую сильно дернули пальцемъ. Ея маленькое лицо то и дѣло вспыхивало, какъ зарево. На глазахъ блестѣли слезы, готовые каждую минуту закапать на музыкальные значки съ черными булавочными головками. Если бы шелковые, золотистые волосы, которые водопадомъ падали на ея плечи и спину, скрыли ея лицо отъ людей, она была бы счастлива. Ея грудь вздымалась подъ корсажемъ, какъ волна. Тамъ, подъ корсажемъ и грудью, происходила страшная возня: тоска, угрызенія совѣсти, презрѣніе къ самой себѣ, страхъ... Бѣдная дѣвочка чувствовала себя виноватой, и совѣсть исцарапала всѣ ея внутренности. Она виновата передъ искусствомъ, дирижеромъ, товарищами, оркестромъ и, навѣрное, будетъ виноватой и передъ публикой... Если ее ошибаютъ, то будутъ тысячу разъ правы! Глаза ея боялись глядѣть на людей, но она чувствовала, что на нее глядятъ всѣ съ ненавистью и презрѣніемъ... Въ особенности онъ! Онъ готовъ швырнуть ее на край свѣта, подальше отъ слуха...

«Боже, прикажи мнѣ пѣть, какъ слѣдуетъ!»—думала она, — и въ ея сильномъ, дрожащемъ сопрано слышалась отчаянная нотка.

Онъ не хотѣлъ понять этой нотки, а бранился и хваталъ себя за длинные волосы. Плевать ему на страданія, если вечеромъ спектакль.

— Это изъ рукъ воиъ! Эта дѣвочка готова сегодня зарѣзать меня своимъ козлинымъ голосомъ! Вы не primaдонна, а прачка, за которой ухаживаютъ пьяные кучера, чортъ бы васъ взялъ совѣмъ! Возьмите у рыжей ноты!

Она рада бы пѣть хорошо, не фальшивить... Она и умѣла не фальшивить, была мастеромъ своего дѣла. Но развѣ виновата она была, что ея глаза не повиновались ей? Они, эти красивые, но подлые глаза, которые она будетъ проклинать до самой смерти, они, вмѣсто того,

чтобы глядѣть въ ноты и слѣдить за движеніями его палочки, смотрѣли въ волосы и въ глаза дирижера... Ея глазамъ нравились исключенные волосы и дирижерскіе глаза, изъ которыхъ сыпались на нее искры и въ которые страшно смотрѣть. Бѣдная дѣвочка безъ памяти любила лицо, по которому бѣгали тучи и молніи. Развѣ виновата она была, что ея маленькій умъ, вмѣсто того, чтобы утонуть въ репетиціи, думалъ о постороннихъ вещахъ, о тѣхъ вещахъ, которыя мѣшаютъ дѣло дѣлать, жить, быть покойной...

Глаза ея устремлялись въ ноты, съ нотъ они перебѣгали на его палочку, съ палочки на его бѣлый галстукъ, подбородокъ, усики и такъ далѣе...

— Возьмите у нея ноты! Она больна!—крикнулъ наконецъ онъ.—Я не продолжаю!

— Да, я больна,—прошептала покорно она, готовая просить тысячу извиненій...

Ее отпустили домой, и ея мѣсто въ спектаклѣ было занято другой, у которой хуже голосъ, но которая умѣетъ критически относиться къ своему дѣлу, работать честно, добросовѣстно, не думая о бѣломъ галстукѣ и усикахъ.

И дома онъ не давалъ ей покоя. Пріѣхавъ изъ театра, она упала на постель. Спрятавъ голову подъ подушку, она видѣла во мракѣ своихъ закрытыхъ глазъ его физиономію, искаженную гнѣвомъ, и ей казалось, что онъ бьетъ ее по вискамъ своей палочкой. Этотъ дерзкій былъ ея первой любовью!

И первый блинъ вышелъ комомъ.

На другой день послѣ репетиціи къ ней пріѣзжали ея товарищи по искусству, чтобы осведомиться объ ея здоровьѣ. Въ газетахъ и на афишахъ было напечатано, что она заболѣла. Пріѣзжалъ директоръ театра, антрепренеръ, и каждый засвидѣтельствовалъ ей свое почтительное участіе. Пріѣзжалъ и онъ.

Когда онъ не стоитъ во главѣ оркестра и не глядитъ въ свою партитуру, онъ советъ другой человѣкъ. Тогда онъ вѣжливъ, любезенъ и почтителенъ, какъ мальчикъ. По лицу его разлита почтительная, сладенькая улыбочка. Онъ не только не посылаетъ къ чорту, но даже боится въ присутствіи дамъ курить и класть ногу на ногу. Тогда добрый и порядочный его трудно найти человѣка.

Онъ пріѣхалъ съ очень озабоченнымъ лицомъ и сказалъ ей, что ея болѣзнь—большое несчастіе для искус-

ства, что всѣ ея товарищи и онъ самъ готовы все отдать для того только, чтобы «notre petit rossignol» былъ здоровъ и покоенъ. О, эти болѣзни! Онѣ многое отняли у искусства. Нужно сказать директору, что если на сценѣ будетъ попрежнему сквозной вѣтеръ, то никто не согласится служить, всякій уйдетъ. Здоровье дороже всего на свѣтѣ! Онъ съ чувствомъ пожалъ ея руку, искренно вздохнулъ, попросилъ позволенія побывать у нея еще разъ и уѣхалъ, проклиная болѣзни.

Славный малый! Но зато, когда она сказалаздоровой и пожаловала на сцену, онъ опять послалъ ее къ «самому черному чорту», и опять по лицу его забѣгали молнии.

Въ сущности, онъ очень порядочный человекъ. Она стояла однажды за кулисами и, опершись о розовый кустъ съ деревянными цвѣтами, слѣдила за его движеніями. Духъ ея захватывало отъ восторга при видѣ этого человека. Онъ тоже стоялъ за кулисами и, громко хохоча, пилъ съ Мефистофелемъ и Валентиномъ шампанское. Остроты такъ и сыпались изъ его рта, привыкшаго посылать къ чорту. Выпивши три стакана, онъ отошелъ отъ пѣвцовъ и направился къ выходу въ оркестръ, гдѣ уже настраивались скрипки и виолончели. Онъ прошелъ мимо нея, улыбаясь, сіяя и махая руками. Лицо его горѣло довольствомъ. Кто осмѣлится сказать, что онъ плохой дирижеръ? Никто! Она покраснѣла и улыбнулась ему. Онъ, пьяный, остановился около нея и заговорилъ:

— Я раскисъ,—сказалъ онъ.—Боже мой! Миѣ такъ хорошо сегодня! Ха-ха! Вы сегодня всѣ такіе хорошіе! У васъ чудные волосы! Боже мой, неужели я до сихъ поръ не замѣчалъ, что у этого соловья такая чудная грива?

Онъ нагнулся и поцѣловалъ ея плечо, на которомъ лежали волосы.

— Я раскисъ черезъ это проклятое вино... Мой милый соловей, вѣдь мы не будемъ больше ошибаться? Будемъ со вниманіемъ пѣть? Зачѣмъ вы такъ часто фальшивите? Съ вами прежде не было этого, золотая головка!

Дирижеръ совсѣмъ раскисъ и поцѣловалъ ея руку. Она тоже заговорила...

— Не браните меня... Вѣдь я... я... Вы меня убиваете своей бранью... Я не перенесу... Клянусь вамъ!

И слезы навернулись на ея глазахъ. Она, сама того не замѣчая, оперлась о его локоть и почти повисла на немъ.

— Въдь вы не знаете... Вы такой злой. Клянусь вамъ... Онъ сѣлъ на кустъ и чуть не свалился съ него... Чтобы не свалиться, онъ ухватился за ея талию.

— Звонокъ, моя крошка. До слѣдующаго антракта!

Послѣ спектакля она ѣхала домой не одна. Съ ней ѣхалъ пьяный, хохочущій отъ счастья, раскисшій, онъ. Какъ она счастлива! Боже мой! Она ѣхала, чувствовала его объятія и не вѣрила своему счастью. Ей казалось, что лжетъ судьба! Но какъ бы тамъ ни было, а цѣлую недѣлю публика читала на афишѣ, что дирижеръ и его «она» больны... Онъ не выходилъ отъ нея цѣлую недѣлю, и эта недѣля показалась имъ обоемъ минутой. Дѣвочка отпустила его отъ себя только тогда, когда уже неловко было скрываться отъ людей и ничего не дѣлать.

— Нужно провѣтрить нашу любовь, — сказалъ дирижеръ на седьмой день. — Я соскучился безъ своего оркестра.

На восьмой день онъ уже махалъ палочкой и посылалъ къ чорту всѣхъ, не исключая и «рыжей чертовки».

Эти женщины любятъ, какъ кошки. Моя героиня, сошедшись и начавши жить со своимъ пугаломъ, не отказалась отъ своихъ «глупыхъ» привычекъ. Она попрежнему вмѣсто того, чтобы глядѣть въ ноты и на палочку, глядѣла на его галстукъ и лицо... На репетиціяхъ и во время спектакля она то и дѣло фальшивила и еще въ большей степени, чѣмъ прежде. Зато же и бранилъ онъ ее! Прежде бранилъ онъ ее только на репетиціяхъ, теперь же могъ это дѣлать и дома, послѣ спектакля, стоя передъ ея постелью. Сентиментальная дѣвочка! Достаточно ей было, когда она пѣла, взглянуть на любимое лицо, чтобы отстать на цѣлую четверть такта или вздрогнуть голосомъ. Когда она пѣла, она глядѣла на него со сцены, когда же не пѣла, она стояла за кулисами и не отрывала глазъ отъ его длинной фигуры. Во время антракта они сходились въ уборной, гдѣ оба пили шампанское и смѣялись надъ ея поклонниками. Когда оркестръ игралъ увертюру, она стояла на сценѣ и глядѣла на него въ маленькое отверстіе въ занавѣсѣ. Въ это отверстіе актеры смѣются надъ плѣшью перваго ряда и по количеству видимыхъ головъ измѣряютъ величину сбора.

Отверстіе въ занавѣсѣ погубило ея счастье. Случился скандалъ.

Въ одну масленицу, когда театръ бываетъ наименѣе

пусть, давали «Гугенотовъ». Когда дирижеръ передъ началомъ пробирался между попитрами къ своему мѣсту, она стояла уже у занавѣса и съ жадностью, съ замираніемъ сердца глядѣла въ отверстіе.

Онъ состроилъ кисло-серьезную фizioномію и замахалъ во всѣ стороны своей палочкой. Заиграли увертюру. Красивое лицо его сначала было относительно покойно... Потомъ же, когда увертюра близилась къ серединѣ, по его правой щекѣ забѣгали молніи, и правый глазъ прищурился. Беспорядокъ слышался справа: тамъ сфальшивила флейта и не во-время закашлялъ фаготъ. Кашель можетъ помѣшать начать во-время. Потомъ покраснѣла и задвигалась лѣвая щека... Сколько движенія и огня въ этомъ лицѣ! Она глядѣла на него и чувствовала себя на седьмомъ небѣ, наверху блаженства.

Вѣдь это лицо принадлежало отчасти и ей! Она на него имѣла нѣкоторыя права: цѣловать, гладить ладонью, поправлять его волосы...

— Виолончель къ чертямъ!—пробормоталъ онъ сквозь зубы быстро, чуть слышно.

Эта виолончель знаетъ ноты, но не хочетъ знать души! Можно ли поручать этотъ нѣжный и мягкозвучный инструментъ людямъ, не умѣющимъ чувствовать? По всему лицу дирижера забѣгали судороги, и свободная рука вцѣпилась въ попитръ, точно попитръ виноватъ въ томъ, что толстый виолончелистъ играетъ только ради денегъ, а не потому, что этого хочется его душѣ!

— Долой со сцены!—послышалось гдѣ-то вблизи.

Вдругъ лицо дирижера просіяло и засвѣтилось счастьемъ. Губы его заулыбались. Одно изъ трудныхъ мѣстъ было пройдено первыми скрипками болѣе чѣмъ блистательно. Это пріятно дирижерскому сердцу. У моей рыжеволосой героини стало на душѣ тоже пріятно, какъ будто бы она играла на первыхъ скрипкахъ или имѣла дирижерское сердце. Но это сердце было не дирижерское, хотя и сидѣлъ въ немъ дирижеръ. «Рыжая чертовка», глядя на улыбающееся лицо, сама заулыбалась... но не время было улыбаться. Случилось нѣчто сверхъестественное и ужасно глупое...

Отверстіе вдругъ исчезло передъ ея глазомъ. Куда оно дѣвалось? Наверху что-то зашумѣло, точно подулъ ровный вѣтеръ... По ея лицу что-то поползло вверхъ... Что случилось? Она начала искать отверстіе, чтобы увидѣть

любимое лицо, но вмѣсто отверстія она увидѣла вдругъ цѣлую массу свѣта, высокую и глубокую... Въ массѣ свѣта замелькало безчисленное множество огней и головъ, и между этими разнообразными головами она увидѣла дирижерскую голову... Дирижерская голова посмотрѣла на нее и замерла отъ изумленія... Потомъ изумленіе уступило мѣсто невыразимому ужасу и отчаянію... Она, сама того не замѣчая, сдѣлала полъ-шага къ рампѣ... Изъ второго яруса послышался смѣхъ, и скоро весь театръ утонулъ въ нескончаемомъ смѣхѣ и шиканьи. Чортъ возьми, на «Гугенотахъ» будетъ пѣть барыня въ перчаткахъ, платьѣ и шляпѣ самаго новѣйшаго времени!..

— Ха-ха-ха!

Въ первомъ ряду задвигались смѣющіеся плечи... Поднялся шумъ... А его лицо стало старо и морщинисто, какъ лицо Эзопа! Оно дышало ненавистью и проклятіями... Онъ топнулъ ногой и бросилъ себѣ подъ ноги свою дирижерскую палочку, которую онъ не промѣняетъ на фельд-маршальскій жезлъ... Оркестръ секунду попесъ чепуху и умолкъ... Она отступила назадъ и, пошатываясь, поглядѣла въ сторону... Въ сторонѣ были кулисы, изъ-за которыхъ смотрѣли на нее блѣдныя, злобныя рыла... Эти змѣйныя рыла шипѣли...

— Вы губите насъ!—шипѣлъ антрепренеръ...

Занавѣсъ поползъ внизъ медленно, волнуясь, нерѣшительно, точно его спускали не туда, куда нужно... Она зашаталась и оперлась о кулису...

— Вы губите меня, развратная, сумасшедшая... О, чтобы чортъ тебя забралъ, отвратительнѣйшая гадина!

Это говорилъ голосъ, который часъ тому назадъ, когда она собиралась въ театръ, шепталъ ей: «Тебя нельзя не любить, моя крошечка! Ты мой добрый гений! Твой поцѣлуй стоитъ Магометова рая!» А теперь? Она погибла, честное слово, погибла!

Когда порядокъ въ театрѣ былъ водворенъ и взбѣшен- ный дирижеръ принялся во второй разъ за увертюру, она была уже у себя дома. Она быстро раздѣлась и прыгнула подъ одѣяло. Лежа, не такъ страшно умирать, какъ стоя или сидя, а она была увѣрена, что угрызенія со- вѣсти и тоска убьютъ ее... Она спрятала голову подъ подушку и, дрожа, боясь думать и задыхаясь отъ стыда, за- вертѣлась подъ одѣяломъ... Отъ одѣяла пахло сигарами, которыя курилъ «онъ»... Что-то онъ скажетъ, когда придетъ?

Въ третьемъ часу ночи пришелъ онъ. Дирижеръ былъ пьянъ. Онъ напился съ горя и отъ бѣшенства. Ноги его подгибались, а руки и губы дрожали, какъ листья при слабомъ вѣтрѣ. Онъ, не скидывая шубы и шапки, подошелъ къ постели и постоялъ минуту молча. Она притаила дыханіе.

— Мы можемъ спать покойно послѣ того, какъ осрамилась на весь свѣтъ?—прошипѣлъ онъ.—Мы, истинные артисты, умѣемъ мириться со своей совѣстью! Истинная артистка! Ха! ха! Подлая! Вѣдьма!

Онъ сдернулъ съ нея одѣяло и швырнулъ его къ камину.

— Знаешь, что ты сдѣлала? Ты посмѣялась надо мной, чтобы чортъ забралъ тебя! Ты знаешь это? Или ты не знаешь? Вставай!

Онъ рванулъ ее за руку. Она сѣла на край кровати и спрятала свое лицо за спутавшимися волосами. Плечи ея дрожали.

— Прости меня...

— Ха! ха! Рыжая сволочь!

Онъ рванулъ ее за сорочку и увидѣлъ бѣлое, какъ снѣгъ, чудное плечо. Но ему было не до плечъ!

— Вошь изъ моего дома! Одѣвайся! Ты отравила мою жизнь, ничтожная!

Она пошла къ стулу, на которомъ беспорядочной кучей лежало ея платье, и начала одѣваться. Она отравила его жизнь! Подло и гнусно съ ея стороны отравлять жизнь этого великаго человѣка! Она уйдетъ, чтобы не продолжать этой подлости. И безъ нея есть кому отравлять жизни...

— Вошь отсюда! Сейчасъ же!

Онъ бросилъ ей въ лицо кофточку и заскрежеталъ зубами. Она одѣлась и встала около двери. Онъ замолчалъ. Но недолго продолжалось молчаніе. Дирижеръ, покачиваясь, указалъ ей на дверь. Она вышла въ переднюю. Онъ отворилъ дверь на улицу.

— Прочь, мерзкая!

И, взявъ ее за маленькую спину, онъ вытолкалъ ее...

— Прощай!—прошептала она кающимъ голосомъ и исчезла въ темнотѣ.

А было туманно и холодно... Съ неба моросилъ мелкій дождь.

— Къ чорту!—крикнулъ ей вслѣдъ дирижеръ и, не прислушиваясь къ ея шлепанью по грязи, заперъ дверь.

Выгнавъ подругу въ холодный туманъ, онъ улегся въ теплую постель и захрапѣлъ.

— Такъ ей и слѣдуетъ!—сказалъ онъ утромъ, проснувшись, но... лгалъ онъ!

Кошки скребли его музыкальную душу, и тоска по рыжей задела его сердце. Недѣлю ходилъ онъ, какъ полупьяный, страдая, ожидая ее и терзаясь неизвѣстностью. Онъ думалъ, что она придетъ, вѣрилъ въ это.. Но она не пришла. Отравленіе чловѣка, котораго она любитъ больше жизни, не входитъ въ ея программу. Ее вычеркнули изъ списка артистокъ театра за «неприличное поведеніе». Ей не простили скандала. Объ отставкѣ ей не было сообщено, потому что никто не зналъ, куда она исчезла. Не знали ничего, но предполагали многое...

— Она замерзла или утопилась!—предполагалъ дирижеръ.

Черезъ полгода забыли о ней. Забылъ о ней и дирижеръ. На совѣсти каждаго красиваго артиста много женщинъ, и, чтобы помнить каждую, нужно имѣть слишкомъ большую память!

Все наказывается на этомъ свѣтѣ, если вѣрить добродѣтельнымъ и благочестивымъ людямъ. Былъ ли наказанъ дирижеръ? Былъ.

Пять лѣтъ спустя дирижеръ проѣзжалъ черезъ городъ X. Въ X. прекрасная опера, и онъ остался въ немъ на день, чтобы познакомиться съ ея составомъ. Остановился онъ въ лучшемъ отелѣ и въ первое же утро послѣ приѣзда получилъ письмо, которое ясно показываетъ, какой популярностью пользовался мой длинноволосый герой. Въ письмѣ просили его продирижировать «Фауста». Дирижеръ Н. внезапно заболѣлъ, и дирижерская палочка вакантна. Не пожелаетъ ли онъ, мой герой, просили его въ письмѣ, взять на себя трудъ воспользоваться случаемъ и угостить своимъ искусствомъ музыкальнѣйшихъ обывателей города X.? Мой герой согласился.

Онъ взялся за палочку, и «чужіе» музыканты увидѣли лицо съ молніями и тучами. Молній было много. И немудрено. Репетицій не было, и пришлось начинать блистать своимъ искусствомъ прямо со спектакля.

Первое дѣйствіе прошло благополучно. То же случилось и со вторымъ. Но во время третьяго произошелъ маленькій скандалъ.

Дирижеръ не имѣетъ привычки смотрѣть на сцену или

куда бы то ни было. Все его вниманіе обращено на партитуру.

Когда въ третьемъ дѣйствіи Маргарита, прекрасное, сильное сопрано, запѣла за прялкой свою пѣсню, онъ улыбнулся отъ удовольствія: барыня пѣла прекрасно. Но когда же эта самая барыня опоздала на осьмую такта, по лицу его пробѣжали молніи, и онъ съ ненавистью поглядѣлъ на сцену. Но шахъ и мать молніямъ! Ротъ широко раскрылся отъ изумленія, и глаза стали большими, какъ у теленка.

На сценѣ за прялкой сидѣла та рыжая, которую онъ когда-то выгналъ изъ теплой постели и толкнулъ въ темный, холодный туманъ. За прялкой сидѣла она, рыжая, но уже не совѣтъ такая, какую онъ выгналъ, а другая. Лицо было прежнее, но голосъ и тѣло не тѣ. Тотъ и другое были изящнѣе, граціознѣе и смѣлѣе въ своихъ движеніяхъ.

Дирижеръ разинулъ ротъ и поблѣднѣлъ. Палочка его нервно задвигалась, беспорядочно заболталась на одномъ мѣстѣ и замерла въ одномъ положеніи...

— Это она!—сказалъ онъ вслухъ и засмѣялся.

Удивленіе, восторгъ и безпредѣльная радость овладѣли его душой. Его рыжая, которую онъ выгналъ, не пропала, а стала великаномъ! Это пріятно для его дирижерскаго сердца. Однимъ свѣтиломъ больше, и искусство въ его лицѣ захлебывается отъ радости!

— Это она! Она!

Палочка замерла въ одномъ положеніи, и, когда онъ, желая поправить дѣло, махнулъ ею, она выпала изъ его рукъ и застучала по полу... Первая скрипка съ удивленіемъ поглядѣла на него и нагнулась за палочкой. Виолончель подумала, что съ дирижеромъ дурно, замолкла и опять начала, но невпопадъ. Звукъ завертѣлись, закружились въ воздухѣ и, ища выхода изъ беспорядка, затащили возмутительную рѣзь...

Она, рыжая Маргарита, вскочила и гнѣвнымъ взоромъ измѣрила «этихъ пьяницъ», которые... Она поблѣднѣла, и глаза ея заблѣгали по дирижеру...

А публика, которой нѣтъ ни до чего дѣла, которая заплатила свои деньги, затрещала и засвистала...

Къ довершенію скандала, Маргарита взвизгнула на весь театръ и, поднявъ вверхъ руки, подалась всѣмъ тѣломъ къ рампѣ... Она узнала его и теперь ничего

не видѣла, кромѣ тучъ и молній, опять появившихся на его лицѣ.

— Я проклятая гадина!—крикнулъ онъ и ударилъ кулакомъ по партитурѣ.—Что сказалъ бы Гуно, если бы видѣлъ, какъ издѣваются надъ его твореніемъ! О, Гуно убилъ бы его и былъ бы правъ!

Онъ ошибся первый разъ въ жизни и той ошибки, этого скандала, не простилъ онъ себѣ...

Онъ выбѣжалъ изъ театра съ окровавленной нижней губой и, прибѣжавъ къ себѣ въ отель, заперся. Запершись, просидѣлъ онъ три дня и три ночи, занимаясь, вѣроятно, самосозерцаніемъ и самобичеваніемъ.

Музыканты рассказываютъ, что онъ посѣдѣлъ за эти трое сутокъ и выдернулъ изъ своей головы половину волосъ...

— Я оскорбилъ ее!—плачетъ онъ теперь, когда бываетъ пьянъ.—Я испортилъ ея партію! Я не дирижеръ!

Отчего же онъ не говорилъ ничего подобнаго дослѣ того, какъ выгналъ ее?

1882.

НАРВАЛСЯ.

«Спать хочется!—думалъ я, сидя въ банкѣ.—Приду домой и завалюсь спать».

— Какое блаженство!—шепталъ я, наскоро пообѣдавъ и стоя передъ своей кроватью.—Хорошо жить на этомъ свѣтѣ! Важно!

Везконечно улыбаясь, потягиваясь и нѣжась на кровати, какъ котъ на солнцѣ, я закрылъ глаза и принялся засыпать. Въ закрытыхъ глазахъ забѣгали мурашки; въ головѣ завертѣлся туманъ, замахали крылья, полетѣли къ небу изъ головы какіе-то мѣха... съ неба поползла въ голову вата... Все такое большое, мягкое, пушистое, туманное... Въ туманѣ забѣгали маленькіе человѣчки. Они побѣгали, покрутились и скрылись за туманомъ... Когда исчезъ послѣдній человѣчекъ и дѣло Морфея было уже въ шляпѣ, я вздрогнулъ.

— Иванъ Осипычъ, сюда!—гаркнули гдѣ-то.

Я открылъ глаза. Въ сосѣдномъ номерѣ стукнули и откупорили бутылку. Я повернулся на другой бокъ и укрывъ голову одѣяломъ.

— «Я васъ любилъ, любовь еще, быть-можетъ...» — затынулъ баритонъ въ сосѣдномъ номерѣ.

— Отчего вы не заведете себѣ піанино?—спросилъ другой голосъ.

— Черрти,—проворчалъ я.—Не дадутъ уснуть!

Откупорили другую бутылку и зазвонили посудой. Зашагаль кто-то, звеня шпорами. Хлопнули дверью.

— Тимошей, скоро же ты самоваръ? Живѣй, братъ! Тарелочекъ еще! Ну-съ, господа? По христіанскому обычаю. По маленькой... Мадемуазель-стриказель, бараньи ножки, же ву при!

Въ сосѣднемъ номерѣ начался кутежъ. Я спряталъ голову подъ подушку.

— Тимошей! Если придетъ высокій блондинъ въ медвѣжьей шубѣ, то скажешь ему, что мы здѣсь...

Я плюнулъ, вскочилъ и постучалъ въ стѣну. Въ сосѣднемъ номерѣ притихли. Я опять закрылъ глаза. Забѣгали мурашки, мѣха, вата... Но—увы!—черезъ минуту опять заорали.

— Господа!—крикнулъ я умоляющимъ голосомъ.— Вѣдь это наконецъ свинство! Вѣдь васъ просятъ! Я боленъ и спать хочу.

— Это вы намъ?

— Вамъ...

— Чтò вамъ угодно?

— Не извольте кричать! Я спать хочу!

— Спите, вамъ никто не мѣшаетъ; а если вы больны, такъ отправляйтесь къ доктору! «У рыцарей любовь и честь...» — запѣлъ баритонъ.

— Какъ это глупо!—сказалъ я. — Очень глупо! Даже подло.

— Прошу не разсуждать!—послышался за стѣной старческой голосъ.

— Удивительно! Повелитель какой нашелся! Птица важная! Да вы кто такой?

— Не раз-суж-дать!!!

— Мужичье! Надулись водки и орутъ!

— Не раз-суж-дать!!!—разъ десять повторилъ старческой охрипшій голосъ.

Я ворочался на кровати. Мысль, что я не сплю по милости праздныхъ гулякъ, приводила меня мало-по-малу въ ярость... Поднялась пляска...

— Если вы не замолчите,—крикнулъ я, захлебываясь отъ злости:—то я пошлю за полиціей! Человѣкъ! Тимошей!

— Не разсуждать!!!—еще разъ крикнулъ старческой голосокъ.

Я вскочилъ и, какъ сумасшедшій, побѣжалъ къ сосѣдямъ. Мнѣ захотѣлось во что бы то ни стало настоять на своемъ.

Тамъ кутили... На столѣ стояли бутылки. За столомъ сидѣли какія-то личности съ выпуклыми, рачьими глазами. Въ глубинѣ номера, на диванѣ полулежалъ лысый старичокъ... На его груди покоилась головка извѣстной

коготки-блондинки. Онъ глядѣль на мою стѣну и дребезжалъ:

— Не разсуждать!!

Я раскрыль ротъ, чтобы начать ругаться, п... о. ужась!!! Въ старичкѣ я узналь директора того банка, гдѣ я служу. Мигомъ слетѣли съ меня и сонъ, и злость, и фанаберія... Я выбѣжалъ отъ сосѣдей.

Цѣлый мѣсяць директоръ не глядѣль на меня и не сказалъ миѣ ни единого слова... Мы избѣгали другъ друга. Черезъ мѣсяць онъ бокомъ подошелъ къ моему столу и, нагнувъ голову, глядя на полъ, проговорилъ:

— Я полагаль... надѣялся, что вы сами догадаетесь... Но вижу, что вы не намѣрены... Гм... Вы не волнуйтесь. Даже можете сѣсть... Я полагаль, что... Намъ двоимъ служить невозможно... Ваше поведеніе въ номерахъ Бултыхина... Вы такъ испугали мою племянницу... Вы понимаете... Сдадите дѣла Ивану Никитичу...

И, поднявъ голову, онъ отошелъ отъ меня...

А я погибъ.

БАРОНЪ.

Баронъ — маленькій, худенькій старикашка лѣтъ шести-десяти. Его шея даетъ съ позвоночникомъ тупой уголъ, который скоро станетъ прямымъ. У него большая, угловатая голова, кислые глаза, носъ шишкой и лиловатый подбородокъ. По всему лицу его разлита слабая синюха, вѣроятно, потому, что спиртъ стоитъ въ томъ шкафу, который рѣдко запирается бутафоромъ. Впрочемъ, кромѣ казеннаго спирта, баронъ употребляетъ иногда и шампанское, которое можно найти очень часто въ уборныхъ на донышкахъ бутылокъ и стакановъ. Его щеки и мѣшечки подъ глазами висятъ и дрожатъ, какъ тряпочки, повѣшенныя для просушки. На лысинѣ зеленоватый налетъ отъ зеленой подкладки ушастой мѣховой шапки, которую баронъ, когда не носитъ на головѣ, вѣшаетъ на испортившійся газовый рожокъ за третьей кулисой. Голось его дребезжитъ, какъ треснувшая кастрюля. А костюмъ? Не смѣйтесь надъ этимъ костюмомъ! Если вы смѣетесь, то вы, значить, не признаете авторитетовъ, что не дѣлаетъ вамъ чести. Коричневый сюртукъ безъ пуговиць, съ лоснящимися локтями и подкладкой, обратившейся въ бахрому—замѣчательный сюртукъ. Онъ болтается на узкихъ плечахъ барона, какъ на поломанной вѣшалкѣ; но что жъ изъ этого слѣдуетъ? Зато онъ облекалъ когда-то гениальное тѣло величайшаго изъ комиковъ. Бархатная жилетка съ голубыми цвѣтами имѣетъ двадцать прорѣхъ и безчисленное множество пятенъ, но нельзя же бросить ее, если она найдена въ томъ номерѣ, въ которомъ жилъ проѣздомъ могучій Сальвини! Кто можетъ поручиться, что этой жилетки не носилъ самъ трагикъ? А найдена она была на другой день послѣ отъ-

ѣзда великана-артиста, слѣдовательно можно поклясться, что она не фальшивая. Галстукъ, грѣющий шею барона, не менѣе замѣчательный галстукъ. Имъ можно похвастать, хотя и слѣдовало бы замѣнить его другимъ, болѣе прочнымъ и менѣе засаленнымъ. Онъ выкроенъ изъ остатковъ того великаго плаща, которымъ покрывалъ когда-то свои плечи Эрнесто Росси, бесѣдуя въ «Макбетъ» съ вѣдьмами.

— Отъ моего галстука пахнетъ кровью короля Дункана! — говоритъ часто баронъ, ища въ своемъ галстукѣ паразитовъ.

Надъ нестренькими, полосатыми брючками барона можете смѣяться сколько угодно. Ихъ не носило раньше ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутятъ, что эти брючки сшиты изъ паруса парохода, на которомъ Сара Бернаръ ѣздила въ Америку. Онѣ куплены у капельдинера № 16. Баронъ зиму и лѣто ходитъ въ большихъ калошахъ, чтобы сапоги были цѣлѣй и чтобы не простудить своихъ ревматическихъ ногъ на сквозномъ вѣтрѣ, гуляющемъ по полу его суфлерской будки.

Барона можно видѣть только въ трехъ мѣстахъ: въ кассѣ, въ суфлерской будкѣ и за сценой въ мужской уборной. Въ этихъ мѣстахъ онъ не существуетъ и едва ли мыслимъ. Въ кассѣ онъ ночью ночуетъ, а днемъ записываетъ фамиліи покупающихъ ложи и играетъ съ кассиромъ въ шашки. Старый и золотушный кассиръ — единственный человѣкъ, который слушаетъ барона и отвѣчаетъ на его вопросы. Въ суфлерской будкѣ баронъ исполняетъ свои священныя обязанности; тамъ зарабатываетъ онъ себѣ кусокъ хлѣба. Эта будка выкрашена въ блестящій бѣлый цвѣтъ только снаружи; внутри же стѣнки ея покрыты паутиной, щелями и занозами. Въ ней пахнетъ сыростью, копченой рыбой и спиртомъ. Въ антрактахъ баронъ торчитъ въ мужской уборной. Новички, первый разъ входящіе въ эту уборную, увидавъ барона, хохочутъ и аплодируютъ. Они принимаютъ его за актера.

— Bravo, bravo! — говорятъ они. — Вы прелестно загримировались! Какая у васъ смѣшная рожица! А гдѣ вы достали такой оригинальный костюмъ?

Бѣдный баронъ! Ему даже не позволяется имѣть собственной физиономіи! Въ уборной онъ наслаждается созерцаніемъ свѣтилъ или же осмѣливается вставлять въ чужія рѣчи свои замѣчанія, которыхъ у него очень много.

Замѣчаній его никто не слушаетъ, потому что они всѣмъ надоѣли и попахиваютъ рутшой; ихъ пускаютъ мимо ушей безъ всякихъ церемоній. Съ барономъ вообще не любятъ церемониться. Если онъ вертится передъ носомъ и мѣшаетъ, ему говорятъ: «уберитесь!» Если онъ шепчетъ изъ своей будки слишкомъ тихо или слишкомъ громко, его посылаютъ къ чорту и грозятъ ему штрафомъ и отставкой. Онъ служитъ мишенью для большинства закулисныхъ остротъ и каламбуровъ.

На немъ смѣло можно пробовать свое остроуміе: онъ не обидится. Заставить его переписать роль и не заплатить ему — тоже можно. Онъ улыбается, хихикаетъ и извиняется, когда наступаютъ ему на ногу, и хохочетъ надъ собой, когда издѣваются надъ его сіятельствомъ. Побейте его публично по его морщинистымъ щекамъ — и, ручаюсь честью, онъ не пойдетъ къ мировому. Оторвите отъ его замѣчательнаго, горячо любимаго сюртука кусокъ подкладки, какъ это сдѣлалъ недавно *jeune premier*, онъ только замигаетъ глазками и покраснѣетъ. Такова сила его забитости и смиренія! Его никто не уважаетъ. Пока онъ живъ, его выносятъ, когда же умретъ, его забудутъ немедленно. Жалкое онъ созданіе!

А между тѣмъ было время, когда этотъ самый баронъ захотѣлъ бы, если бы ему сказали, что онъ со временемъ будетъ зарабатывать себѣ кусокъ хлѣба въ будкѣ, въ которой пахнетъ сыростью и копченой рыбой! И посмѣялся бы онъ не столько надъ будкой, сколько надъ словомъ «заработокъ». Память его уже блекнетъ и частью поблекла, но онъ не забылъ еще того времени, когда, сидя на прекрасномъ англійскомъ скакунѣ, онъ рыскалъ по травѣ, которая получала сорки изъ его родовой, собственной земли. Онъ любилъ верховую ѣзду и былъ красивѣйшимъ всадникомъ. Подойди къ этому элегантному, изящному всаднику теперешній суфлеръ, стань онъ ему на дорогѣ, всадникъ взмахнулъ бы гибкимъ хлыстикомъ съ золотой ручкой и состроилъ бы на лицѣ своемъ презрительную гримасу.

— Прочь съ дороги, старая дрянь! — сказалъ бы онъ.

Было время, когда онъ былъ красивъ, богатъ, знатенъ и любимъ. Вы разинете ротъ отъ удивленія, если онъ назоветъ теперь вамъ имена женщинъ, которыя принадлежали ему. Онъ покупалъ самыхъ дорогихъ женщинъ и

бралъ даромъ неприступнѣйшихъ. Ему извѣстна по опыту первая любовь съ левкоюми и резедой.

Его первая она, хорошенькое, маленькое созданыще, жила на берегу моря, вблизи волнъ и бурь. Она была красива, богата и знатна. Поѣздки къ ней и житье въ ея усадьбѣ составляютъ самое поэтическое мѣсто въ исторіи барона и самое темное пятно на его совѣсти. Онъ однажды, катаясь съ ней на лодкѣ, пообщался жениться на ней, но потомъ, собравъ всю цвѣточную пыль съ молодого цвѣтка, бросилъ ее. Она, говорятъ, умерла съ горя. Не правда ли, этотъ маленькій романъ съ поэтическимъ отбѣнкомъ не вяжется съ теперешней лысиной и со спиртомъ, который забываетъ запирать бугафоръ? А сколько разъ баронъ дрался на дуэли, сколько у него медалей и призовъ за стрѣльбу, бѣгъ, за прекрасныхъ лошадей и породистыхъ собакъ!

Да, было время... Ему завидовали сытые и видѣли въ немъ счастливика женщины. Если хорошенькая женщина видитъ въ васъ счастливика, которому все удается, то не увѣряйте, что вы несчастливы. Хорошенькая женщина знаетъ, что говорить.

Барона погубила одна страсть. Любовь хороша до тѣхъ поръ, пока она не страсть, сдѣлавшись же страстью, она губитъ. Его сіятельство питалъ страсть къ театру, — страсть не разсуждающую, приводящую въ бѣшенство и отчаяніе. Двадцати лѣтъ онъ уже былъ цѣнителемъ, любителемъ и меценатомъ. Двадцати лѣтъ онъ содержалъ на свой счетъ цѣлыя труппы, а тридцати строилъ новый театръ. Страсть эта была далеко не смѣхотворная и не пошлаческая. Баронъ любилъ сцену не за ея мишуру, трико и клоуновъ; онъ поклонялся ей за ея Шекспировъ, Шиллеровъ, Мольеровъ, на которыхъ былъ воспитанъ. Съ актерами любилъ онъ проводить ночи безумныя и бормотать съ ними рѣчи безсвязныя не потому, что любилъ кутежи, и не потому, что сообщество «со свѣтилами» щекотало его мелкое мальчишеское самолюбіе. Онъ любилъ лицедѣевъ самую нѣжную любовью. Можно ли не любить людей, которые бываютъ иногда Гамлетами и Францами Мооръ? Онъ содержалъ на свой счетъ расточительныхъ, обжорливыхъ и ненасытныхъ, какъ бездонныя бочки, актрисъ не за тѣло, не за женскую лукавую любовь. Въ театрѣ онъ былъ цѣломудренъ.

Театральное дѣло баронъ любилъ больше жизни, из

учаль и зная его насквозь. Однако онъ не сумѣлъ сдѣлаться актеромъ. Таланта было много, желанія тоже, но не хватало самаго главнаго: смѣлости. Ему вѣчно казалось, что они, эти головы, которыми усѣяны все пять ярусовъ, низъ и верхъ, захохочутъ и зашикаютъ, если онъ позволитъ себѣ показаться на сценѣ. Онъ блѣднѣлъ, краснѣлъ, нѣмѣлъ отъ ужаса, когда ему предлагали дебютировать.

— Я подожду немного. — говорилъ онъ.

Онъ ждалъ, мечталъ и сыпалъ деньги направо и налево.

Но *tempora mutantur*. Планы, проекты, неоконченныя постройки, поощреніе молодыхъ талантовъ, пособія талантамъ, которые не должны знать борьбы за существованіе, подарки, вѣнки, пожертвованія, изданія — все это рано или поздно должно было истощить карманы барона. Сорока лѣтъ онъ уже былъ безнадежнымъ должникомъ, а сорока пяти — нахлѣбникомъ и прихлебателемъ. «*Sic transit gloria mundi*» сказалося и въ его жизни. Изъ мецената онъ превратился въ нищаго. Времена измѣняются, но не измѣняются люди. Они всегда одинаковы. Богачь-баронъ считалъ друзей сотнями, а нищій баронъ не зналъ ни одного друга — это пошло, но вѣчно, какъ матерія... Одинъ изъ его друзей пережили свою славу, исчезли, другіе померли отъ перепоя, третьи просто померли... Были и такіе, которые не исчезли и не померли: эти жили и старѣли рядомъ съ барономъ, но почему-то не хотѣли знать его. Вѣроятно, память у нихъ была слаба.

Богатство барона исчезло, но страсть осталась на своемъ мѣстѣ. Она не уменьшилась ни на одинъ градусъ. Его сіятельство попрежнему мечталъ о дебютѣ, попрежнему робѣлъ и нѣмѣлъ, когда ему предлагали сыграть что-нибудь. Какъ и прежде въ дни молодости, такъ и теперь, впадая въ старческое дѣтство, онъ не переставалъ любить театръ. И какъ онъ любилъ! Онъ не хотѣлъ знать своей единственной дочери, которую прижилъ когда-то съ одной актрисой, за то, что та не хотѣла знать театра. Это ли не любовь? А когда онъ надоѣлъ за кулисами, и когда ему замѣтили, что безсовѣстно ѣсть чужой хлѣбъ, и когда пригласили его не надоѣдать, не вертѣться со своей лысиной передъ глазами, а убираться ко всеѣмъ чертямъ, онъ нищенски заплакалъ и зальстилъ, какъ ин-

цій. Онъ кланчилъ и унижался очень долго, пока не нашлись филантропы, которые сжалились надъ нимъ и отдали въ его распоряженіе суфлерскую будку. Онъ сталъ суфлеромъ и пересталъ такимъ образомъ ѣсть чужой хлѣбъ. Теперь уже не выгонять его изъ театра. Онъ будетъ сидѣть впереди перваго ряда и не заплатитъ за свое мѣсто ни копейки. Онъ счастливъ и доволенъ. Обязанность свою исполняетъ онъ прекрасно. Передъ спектаклемъ онъ нѣсколько разъ прочитываетъ пьесу, чтобы не ошибиться, а когда бьетъ первый звонокъ—онъ уже сидитъ въ будкѣ и перелистываетъ свою книжку. Усерднѣй его трудно найти кого-либо во всемъ театрѣ.

Но нужно его выгнать изъ театра.

Безпорядки не должны быть терпимы въ театрѣ, а баронъ производитъ иногда страшные безпорядки. Онъ скандалистъ.

Когда на сценѣ играютъ особенно хорошо, онъ отрываетъ глаза отъ своей книжки и перестаетъ шептать. Будто бы его просятъ слѣдить за игрой! Очень часто онъ прерываетъ свое чтеніе криками: «Браво! Превосходно!» и позволяетъ себѣ аплодировать въ то время, когда не аплодируетъ публика. Разъ даже онъ шикалъ, за что чуть-было не потерялъ мѣсто.

Вообще, поглядите на него, когда онъ сидитъ въ своей вонючей будкѣ и шепчетъ. Онъ краснѣетъ, блѣднѣетъ, жестикулируетъ руками, шепчетъ громче, чѣмъ слѣдуетъ, задыхается... Иногда бываетъ слышно его даже въ коридорахъ, гдѣ около платья зѣваютъ капельдинеры. Онъ позволяетъ себѣ даже браниться изъ будки и подавать актеру совѣты.

— Правую руку вверхъ! — шепчетъ онъ очень часто. — У васъ горячія слова, но лицо — ледъ! Это не ваша роль! Вы молокососъ для этой роли! Вы бы поглядѣли въ этой роли Эрнесто Росси! Къ чему же шаржъ? О, Боже мой! Онъ все испортилъ своей мѣщанской манерой!

И подобныя вещи шепчетъ онъ вмѣстѣ того, чтобы шептать по книжкѣ! Напрасно терпятъ этого чудака. Если бы его выгнали, то публикѣ не удалось бы увидѣть скандала, который пронзоселъ на этихъ дняхъ. Скандалъ состоялся въ слѣдующемъ:

Давали «Гамлета». Театръ былъ полонъ; въ наше время Шекспиръ слушается такъ же охотно, какъ и сто лѣтъ тому назадъ. Когда даютъ Шекспира, баронъ находится

въ самомъ возбужденномъ состояніи. Онъ много пѣтъ, много говоритъ и, не переставая, третъ кулаками свои виски. За висками кипитъ жестокая работа. Старческіе мозги взбудораживаются бѣшеною завистью, отчаяніемъ, ленавистью, мечтами, надеждой. Ему самому слѣдовало бы поиграть Гамлета. Ему, а не этимъ пигмеямъ, играющимъ сегодня лакеевъ, завтра сводниковъ, послѣзавтра Гамлета! Сорокъ лѣтъ онъ штудируетъ этого датскаго принца, о которомъ мечтаютъ всѣ артисты и который далъ лавровый вѣнокъ не одному только Шекспиру. Сорокъ лѣтъ онъ штудируетъ, страдаетъ, сгораетъ отъ мечты, и хоть бы на сорокъ первомъ году ему удалось пройтись по сценѣ въ принцевой курткѣ, вблизи моря, около скаль, гдѣ одна пустыня мѣста

Сама собой готова довести
Къ отчаянью, когда посмотришь въ бездну
И слышишь въ ней далекій плескъ волны.

Если даже мечты, эти не позволительныя желанія, заставляютъ таять не по днямъ, а по часамъ, то какимъ огнемъ сгорѣлъ бы баронъ, если бы мечта приняла форму дѣйствительности!

Въ описываемый вечеръ онъ готовъ былъ проглотить весь свѣтъ отъ зависти и злости. Гамлета дали играть мальчишкѣ, говорящему жидкимъ теноромъ и, главное, — рыжему. Неужели Гамлетъ былъ рыжъ? Нѣтъ, это невозможно.

Баронъ сидѣлъ въ своей будкѣ, какъ на горячихъ угольяхъ. Когда Гамлета не было на сценѣ, онъ былъ еще относительно покоенъ, когда же на сцену появлялся жидкій рыжеволосый теноръ, онъ начиналъ вертѣться, метаться, ныть. Шопотъ его походилъ больше на стонъ, чѣмъ на чтеніе. Руки его тряслись, страницы путались, подсвѣчники ставились то ближе, то дальше... Онъ впивался глазами въ лицо Гамлета и переставалъ шептать... Ему страстно хотѣлось повыщипать изъ рыжей головы всѣ волоски до одинаго; пусть лучше Гамлетъ будетъ лысъ, чѣмъ рыжъ! Шаржъ — такъ шаржъ, чортъ возьми!

Во второмъ дѣйствиіи онъ ужъ вовсе не шепталъ, а злобно хихикалъ, бранился и шикалъ. Къ его счастью, актеры хорошо знали свои роли и не замѣчали его молчанія.

— Хорошъ Гамлетъ! — бранился онъ. — Нечего сказать!

Господа юнкера не знают своего мѣста! Имъ слѣдуетъ за швейками бѣгать, а не на сценѣ играть! Если бы у Гамлета было такое глупое лицо, какъ у васъ, то едва ли Шекспиръ написалъ бы свою трагедію.

Когда ему надоѣло браниться, онъ началъ учить рыжаго актера. Онъ жестикулировалъ руками и лицомъ, читалъ и, стуча кулаками о книжку, требовалъ, чтобы актеръ слѣдовалъ его совѣтамъ. Ему хотѣлось спасти Шекспира отъ поруганія, а для Шекспира онъ на все готовъ: хоть на сто тысячъ скандаловъ! Бесѣдуя съ актерами, рыжий Гамлетъ былъ ужасенъ. Онъ ломался, какъ тотъ «дюжий, длинноволосый молодець»-актеръ, о которомъ самъ Гамлетъ говоритъ: «такого актера я въ состояніи бы высѣчь!» Когда онъ началъ декламировать, баронъ не вынесъ. Задыхаясь и стуча лысистой по потолку будки, онъ положилъ лѣвую руку на грудь, а правой зажестикულიровалъ. Старческій, надорванный голосъ прервалъ рыжаго актера и заставилъ его оглянуться на будку:

Распаленный гнѣвомъ,
Въ крови, засохшей на его доспѣхахъ,
Съ огнемъ въ очахъ, свирѣпый ищетъ Пирръ
Отца Приама.

И, высунувшись наполовину изъ будки, баронъ кивнулъ головою первому актеру и прибавилъ уже не декламирующимъ, а небрежнымъ, потухшимъ голосомъ:

— Продолжай!

Первый актеръ продолжалъ, но не тотчасъ. Минуту онъ промедлилъ, и минуту въ театрѣ царило глубокое молчаніе. Это молчаніе нарушилъ самъ баронъ, когда потянулся назадъ и стукнулся головой о край будки. Послышался смѣхъ.

— Bravo, барабанщикъ! — крикнули изъ райка.

Думали, что прервалъ Гамлета не суфлеръ, а старый барабанщикъ, дремавшій въ оркестрѣ. Барабанщикъ шутовски раскланялся съ райкомъ, и весь театръ огласился смѣхомъ. Публика любитъ театральныя недоразумѣнія, и если бы вмѣсто пьесъ давали недоразумѣнія, она платила бы вдвое больше.

Первый актеръ продолжалъ, и тишина была мало-помалу водворена.

Чудакомъ же баронъ, услышавъ смѣхъ, побагровѣлъ отъ стыда и схватилъ себя за лысину, забывъ, что на ней нѣтъ ужъ тѣхъ волосъ, въ которые когда-то влюблялись

самыя красивыя женщины. Теперь, мало того, что надъ нимъ будутъ смѣяться, его еще выгонять изъ театра!

Онъ горѣлъ отъ стыда, злился на себя, а между тѣмъ все члены его дрожали отъ восторга: онъ сейчасъ декламировалъ. Въдѣ это тоже въ своемъ родѣ дебютъ!

«Не твое дѣло, старая заржавленная щеколда! — думалъ онъ. — Твое дѣло быть только суфлеромъ, если не хочешь, чтобы тебѣ дали по шеѣ, какъ послѣднему лакею. Но это возмутительно! Какъ мерзко играетъ этотъ рыжій молокососъ! Развѣ это мѣсто такъ ведется?»

И, впившись глазами въ актера, баронъ началъ опять бормотать совѣты. Онъ еще разъ не вынесъ и еще разъ заставилъ публику смѣяться. Этотъ чудакъ былъ слишкомъ нервенъ! Когда актеръ, читая послѣдній монологъ второго дѣйствія, сдѣлалъ маленькую передышку, чтобы молча покачать головой, изъ будки опять понесся голосъ, полный желчи, презрѣнія, ненависти, но—увы!—уже разбитый временемъ и беспильный:

Кровавый сластолюбецъ! Лицемѣръ!
Безчувственный, продажный, подлый извергъ!

Помолчавъ секунду десять, баронъ глубоко вздохнулъ и прибавилъ уже не такъ громко:

Глупецъ, глупецъ! Куда какъ я отваженъ!

Этотъ голосъ былъ бы голосомъ Гамлета, настоящаго, не рыжаго Гамлета, если бы на землѣ не было старости. Много портитъ и многому мѣшаетъ старость. Бѣдняга баронъ! Старость подкузьмила его. Впрочемъ, не онъ первый, не онъ и послѣдній...

Теперь его выгонять изъ театра. Согласитесь, что эта мѣра необходима...

М Е С Т Ъ .

Быль день бенефиса нашей ingénue.

Въ девятомъ часу утра у ея двери стоялъ комикъ. Онъ прислушивался и стучалъ по обѣимъ половинкамъ двери своими большими кулаками. Ему необходимо было видѣть ее. Она должна была выльзть изъ-подъ своего одѣяла во что бы то ни стало, какъ бы ей ни хотѣлось спать...

— Отворите же, чортъ возьми! Долго ли мнѣ придется коченѣть на этомъ сквозномъ вѣтру? Если бъ вы узнали, что въ вашемъ коридорѣ двадцать градусовъ мороза, вы не заставили бы меня ждать такъ долго... Или, быть-можетъ, у васъ нѣтъ сердца?

Въ половинѣ одиннадцатаго комикъ услышалъ глубокой вздохъ. За вздохомъ послѣдовалъ скачокъ съ кровати, а за скачкомъ—шлепанье туфель.

— Чтѣ вамъ нужно? Кто вы?

— Это я.

Комику не нужно было называть себя. Его легко можно было узнать по голосу, шипящему и дребезжащему, какъ у большого дифтеритомъ.

— Подождите, я одѣнусь...

Черезъ три минуты его впустили. Онъ вошелъ, поцѣловалъ руку у ingénue и сѣлъ на кровать.

— Я къ вамъ по дѣлу,—сказалъ онъ.—Я хожу къ людямъ только по дѣлу... Сегодня я играю въ вашей пьесѣ графа... Вы, конечно, это знаете?

— Да!

— Старога графа... Во второмъ дѣйствіи я появляюсь на сценѣ въ халатѣ. Вы, надѣюсь, и это знаете... Знаете?

— Да...

— Отлично. Если я буду не въ халатѣ, то я согрѣшу противъ истины. На сценѣ, какъ п вездѣ, прежде всего— истина... Впрочемъ, mademoiselle, къ чему я говорю это?

Вѣдь человекъ и созданъ для того только, чтобы стремиться къ истинѣ...

— Да, это правда...

— Итакъ, послѣ всего сказаннаго вы видите, что халатъ мнѣ необходимъ. Но у меня нѣтъ халата, приличнаго графу. Если я покажусь дубликѣ въ своемъ ситцевомъ халатѣ, то вы много потеряете. На вашемъ бенефисѣ будетъ лежать пятно.

— Я вамъ могу помочь?

— Да. Послѣ вашего у васъ остался прекрасный голубой халатъ съ бархатнымъ воротникомъ и красными кистями. Прекрасный халатъ.

Наша ingénue вспыхнула... Глазки ея покраснѣли, замигали, заискрились, какъ стеклянные бусы, когда ихъ выносятъ на солнце...

— Вы мнѣ одолжите этотъ халатъ на сегодняшній спектакль...

Ingénue заходила по комнатѣ. Нечесанные волосы ея попадали беспорядочно на лицо, плечи... Она зашевелила губами и пальцами... Она ни за что не дастъ халата!

— Нѣтъ, не могу!—сказала она.

— Это странно... Гм... Можно узнать, почему?

— Онъ нехорошо поступилъ со мной, онъ не правъ... Это правда! Онъ поступилъ со мной, какъ послѣдній пегодий... Я согласна съ этимъ! Онъ бросилъ меня только потому, что я получаю мало жалованья и не умѣю обирать мужчинъ... Онъ хотѣлъ, чтобы я брала у этихъ господъ деньги и носила эти подлые деньги къ нему, онъ хотѣлъ этого! Подло, гадко. На подобныя притязанія способны одни только безсовѣстные пошляки!

Ingénue повалилась въ кресло, на которомъ лежала свѣже выглаженная сорочка, и закрыла лицо руками... Сквозь ея маленькіе пальчики комикъ увидѣлъ блестящія точки — то окно отражалось въ слезинкахъ...

— Онъ ограбилъ меня, — продолжала она, всхлипывая.—Грабь, если хочешь, но зачѣмъ же бросать? Зачѣмъ? Чтò я ему сдѣлала? Чтò я тебѣ сдѣлала? Чтò?

Комикъ всталъ и подошелъ къ ней...

— Не будемъ плакать, — сказалъ онъ.—Мы можемъ найти утѣшеніе во всякую минуту... Утѣшитесь! Искусство—самый радикальный утѣшитель!

Но ничего не сдѣлалъ радикальный утѣшитель... За всхлипываніями послѣдовала истерика.

— Это пройдет!—сказалъ комикъ.—Я подожду.

Онъ, въ ожиданіи, пока она придетъ въ себя, походилъ по комнатѣ, зѣвнулъ и легъ на кровать. Ея постель женская, но она не такъ мягка, какъ тѣ постели, на которыхъ спать ingéние порядочныхъ театровъ. Комика заколола въ бокъ какая-то пружина, и его лысину зачесали перья, кончики которыхъ робко выглядывали изъ подушки сквозь розовую наволочку. Края кровати были холодны, какъ ледъ. Но все это не помѣшало пахалу сладко потянуться. Чортъ возьми, отъ этихъ бабьихъ кроватей такъ хорошо пахнетъ!

Онъ лежалъ и потягивался, а плечи ingéние прыгали, изъ груди ея вылетали отрывистые стоны, пальцы корчились и рвали на груди фланелевую кофточку... Комикъ напомнилъ ей самую несчастную страницу одного изъ несчастнѣйшихъ романовъ! Истерика продолжалась минутъ десять. Очнувшись, она откинула назадъ волосы, обвела комнату глазами и продолжала говорить. Когда дама говорить съ вами, пеловко лежать на кровати. Въжливость прежде всего. Комикъ крикнулъ, поднялся и съѣлъ...

— Онъ поступилъ со мной нечестно, — продолжала она:—но изъ этого не слѣдуетъ, что я должна отдавать вамъ халатъ. Несмотря на его подлый поступокъ, я еще продолжаю любить его, и халатъ — единственная вещь, оставшаяся у меня послѣ него! Когда я вижу халатъ, я думаю о немъ и... плачу...

— Я ничего не имѣю противъ этихъ похвальныхъ чувствъ,—сказалъ комикъ:—напротивъ, въ нашъ реальный, чертовски практическій вѣкъ пріятно встрѣтить человѣка съ такимъ сердцемъ и съ такой душой. Если вы отдадите мнѣ на одинъ вечеръ халатъ, то вы принесете жертву, согласенъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ пріятно жертвовать для искусства!

II, подумавъ немного, комикъ вздохнулъ и прибавилъ:

— Тѣмъ болѣе, что я вамъ завтра же возвращу его.

— Ни за что!

— Но почему же? Вѣдь я же не съѣмъ его, возвращу! Какая вы, право...

— Нѣтъ, нѣтъ! Ни за что!

Ingéние забѣгала по комнатѣ и замахала руками.

— Ни за что! Вы хотите лишить меня единственной дорогой для меня вещи! Я скорѣй умру, но не отдамъ! Я еще люблю этого человѣка!

— Вполнѣ понимаю, но не постигаю только одного, сударыня: какъ вы можете мѣнять халать на искусство? Вы—артистка!

— Ни за что! И не говорите!

Комикъ покраснѣлъ и поцарапалъ себя по лисинѣ. Онъ помолчалъ немного и спросилъ:

— Не дадите?

— Ни за что!

— Гм... Такъ... Это по-товарищески... Такъ поступаютъ только товарищи... Жалко, чортъ возьми! Очень жалъ, что мы товарищи только на словахъ. Насъ, артистовъ, губить отсутствіе солидарности, товарищества... Насъ это губить! Впрочемъ, нѣтъ! Это только доказываетъ, что мы не артисты... Мы лакеи, а не артисты... Сцена намъ дана только для того, чтобы показывать публикѣ свои голые локти и плечи... чтобы глазки дѣлать... Не дадите?

— Ни за какія деньги!

— Это послѣднее слово?

— Да...

— Прелестно!

Комикъ надѣлъ шапку, церемонно раскланялся и вышелъ изъ комнаты *ingélie*. Красный, какъ ракъ, дрожащій отъ гнѣва, шипящій ругательствами, пошелъ онъ по улицѣ прямо къ театру. Онъ шелъ и стучалъ палкой по мерзлой мостовой... Съ какимъ наслажденіемъ онъ низалъ бы своихъ подлыхъ товарищей на эту сучковатую палку! Еще лучше, если бы онъ могъ проколоть этой артистической палкой насквозь всю землю! Будь онъ астрономомъ, онъ сумѣлъ бы доказать, что это—худшая изъ планетъ!

Театръ стоитъ въ концѣ улицы, въ трехстахъ шагахъ отъ острога. Онъ выкрашенъ въ краску кирпичнаго цвѣта. Краска все замазала, кромѣ зіяющихъ щелей, показывающихъ, что театръ деревянный. Когда-то театръ былъ амбаромъ, въ которомъ складывали кули съ мукой... Амбаръ былъ произведенъ въ театры не за какія-либо особенныя заслуги, а за то, что онъ самый высокій сарай въ городѣ.

Комикъ пошелъ въ кассу. Тамъ, за запачканнымъ липовымъ столомъ, сидѣлъ его другъ и пріятель—кассиръ Штаммъ, нѣмецъ, выдававшій себя за англичанина. Кассиръ подслѣповать, глушь и глухъ, но это не мѣшаетъ ему съ должнымъ вниманіемъ выслушивать своихъ товарищей.

Комикъ вошелъ въ кассу, нахмурилъ брови и оставился передъ кассиромъ въ позѣ боксера, скрестившаго на груди руки. Онъ помолчалъ немного и крикнулъ:

— Какъ прикажете назвать этихъ людей, мистеръ Штаммъ?

Комикъ стукнулъ кулакомъ по столу и, негодующій, сѣлъ на деревянную скамью... Не потокъ, а океанъ ядовитыхъ, отчаянныхъ и самыхъ бѣшеныхъ словъ полился изъ его рта, окруженнаго давно уже небритымъ пространствомъ. Пусть посочувствуетъ ему хоть кассиръ! Дѣвчонка, сентиментальная кислятина, не уважила просьбы того, безъ котораго рухнулъ бы этотъ дрянной сарай! Не сдѣлать одолженія первому комику, котораго десять лѣтъ тому назадъ приглашали въ столичный театръ! Возмутительно!

Но однако въ этомъ бѣдняжкѣ-театрѣ болѣе чѣмъ холодно. Въ собачьей конурѣ не холоднѣй... Старый кассиръ умно дѣлалъ, что сидѣлъ въ шубѣ и валеныхъ сапогахъ. На окнѣ ледъ, а по полу ходитъ вѣтеръ, которому позавидовалъ бы даже сѣверный полюсъ. Дверь плохо притворяется, и края ея бѣлы отъ инея... Чортъ знаетъ что! И сердиться даже холодно...

— Она будетъ помнить меня!—закончилъ свою филиппику комикъ.

Онъ положилъ свои ноги на скамью и прикрылъ ихъ полкой своей шубы, оставшейся ему въ наслѣдство двѣнадцать лѣтъ тому назадъ послѣ одного пріятели-актера, умершаго отъ чахотки. Онъ плотнѣе завернулся въ шубу, умолкъ и началъ дышать въ шубу себѣ на грудь. Языкъ молчалъ, но зато мозги дѣйствовали; мозги искали способа. Нужно же отмстить этой дерзкой, неуважительной дѣвкѣ!

Мозгамъ помогли глаза, и какъ помогли! Спасибо имъ!

Комикъ не завернулъ глазъ въ шубу, а пустилъ ихъ на волю: гляди, коли хочешь! Они же кстати и не мерзнутъ.

Въ кассѣ ничего нѣтъ интереснаго для глазъ. У деревянной перегородки столъ, передъ столомъ скамья, на скамьѣ старый кассиръ въ собачьей шубѣ и валенкахъ. Все сѣро, обыденно, старо... И грязь даже старая... На столѣ лежитъ еще непочатая книга билетовъ. Покупатели не идутъ. Они начнутъ ходить во время обѣда... Кромѣ стола, скамьи, кассы билетовъ и кучи бумагъ въ углу—ничего нѣтъ. Ужасная скука! И какая бѣдность!

Впрочемъ, въ кассѣ есть одинъ предметъ роскоши. Этотъ предметъ валяется подъ столомъ вмѣстѣ съ ненужной бумагой, которую не выметають вонъ только потому, что холодно. Да и вѣникъ куда-то запропалъ... Подъ столомъ валяется большой картонный листъ, запыленный и оборванный... Кассиръ топчетъ его своими валенками и плюетъ на него безъ всякой церемоніи. Этотъ-то листъ и есть предметъ роскоши. На немъ крупными буквами написано: «На сегодняшній спектакль билеты распроданы». Ему за все время своего существованія ни разу еще не удавалось повисѣть надъ окошкомъ кассы, и никто изъ публики не можетъ похвастать тѣмъ, что видѣлъ его. Хорошій, ехидный листъ! Жаль, что онъ не находилъ себѣ употребленія. Публика не любитъ его, но зато въ него влюблены артисты.

Глаза комика, гулявшіе по стѣнамъ и по полу, не могли не натолкнуться на эту драгоценность. Комикъ не мастеръ соображать, но на этотъ разъ онъ сообразилъ. Увидѣвъ картонный листъ, онъ ударилъ себя по лбу и воскликнулъ:

— Идея! Прекрасно! Мы дѣдимъ знать себѣ, чортъ возьми! Будетъ помнить!

Онъ нагнулся и потянулъ къ себѣ повѣсть о распроданныхъ билетахъ.

— Прекрасно! Безподобно! Это обойдется ей дороже голубого халата съ красными кистями!

Черезъ десять минутъ картонный листъ, первый и послѣдній разъ за все время своего существованія, висѣлъ надъ окошечкомъ и первый разъ... лгалъ.

Онъ лгалъ, но ему повѣрили.

Вечеромъ наша ingénue лежала у себя въ номерѣ и рыдала на всю гостиницу.

— Меня не любитъ публика!—голосила бенефициантка.

Одинъ только вѣтеръ взялъ на себя трудъ посочувствовать ей.

Онъ голосилъ въ трубѣ, въ вентиляціяхъ, вылъ, стоналъ и плакалъ...

Вѣтеръ иногда мастеръ аккомпанировать плачу...

Вечеромъ же, въ портерной, сидѣлъ комикъ и шилъ шиво. Онъ прекрасно отомстилъ и былъ доволенъ собой.

Она не смѣла ему отказывать! Онъ правъ, чортъ возьми!

„СВИДАНИЕ ХОТЯ И ОСТОЯЛОСЬ, НО...“

(Изъ дачныхъ разсказовъ).

Выдержавъ экзамень, Гвоздиковъ сѣлъ на конку и за шесть копеекъ (онъ ѣздилъ всегда «на верхотурѣ») доѣхалъ до заставы. Отъ заставы до дачи, версты три, онъ проперъ пѣхтурой. У воротъ встрѣтила его хозяйка дачи, молодая дамочка. Сынка этой дамочки онъ обучалъ ариѳметику, за что и получалъ столъ, квартиру на дачѣ и пять рублей въ мѣсяцъ деньгами.

— Ну, что, какъ?—спросила его хозяйка, протягивая руку. — Благополучно? Выдержали экзамень?

— Выдержалъ.

— Bravo, Егоръ Андреевичъ! Много получили?

— По обыкновенію... Пять... Гм...

Гвоздиковъ получилъ не пять, а только три съ плюсомъ, но... но почему же не соврать, если можно? Экзаменующіеся такъ же охотно врутъ, какъ и охотники. Войдя къ себѣ въ комнату, Гвоздиковъ на своемъ столѣ нашель маленькое письмецо съ розовой облаточкой. Письмецо пахло резедой. Гвоздиковъ разорвалъ конвертъ, скусалъ облатку и прочелъ слѣдующее:

«Такъ и быть. Будьте ровно въ восемь часовъ около канавы, въ которую вчера упала съ головы ваша шляпа. Я буду сидѣть подъ деревомъ на скамеечкѣ. И я васъ люблю, только не будьте такимъ неповоротливымъ. Надо быть бойкимъ. Жду вечера съ нетерпѣніемъ. Я васъ ужасно люблю. Ваша С.»

«Р. S. Маман уѣхала, и мы будемъ гулять до полуночи. Ахъ, какъ я счастлива! Бабушка будетъ спать, не замѣтить».

Прочитавъ это письмо, Гвоздиковъ широко улыбнулся, высоко подпрыгнулъ и, торжествующій, зашагалъ по комнатамъ.

— Любимъ! Любимъ!! Любимъ!! Какъ я счастливъ, чортъ возьми! О-о-о! Тру-ля-ля!

Гвоздиковъ прочиталъ письмо еще разъ, поцѣловалъ его, бережно сложилъ и спряталъ въ анатомическій столъ. Ему принесли обѣдать. Онъ, отуманенный письмомъ и забывшій все на свѣтѣ, съѣлъ все, что ему прислели: и супъ, и мясо, и хлѣбъ. Пообѣдавъ, онъ легъ и замечталъ о всякой всячинѣ: о дружбѣ, о любви, о службѣ... Образъ Сони носился передъ его глазами.

«Какъ жаль, что у меня часовъ нѣтъ! — думалъ онъ. — Будь у меня часы, я могъ бы высчитать, сколько осталось до вечера. Время, какъ на зло, протянется чертовски медленно».

Когда ему надоело лежать и мечтать, онъ поднялся, пошагалъ и послалъ кухарку за пивомъ.

«Пока суть да дѣло, — подумалъ онъ: — а мы выпьемъ. Время быстрѣй покажется».

Принесли пиво. Гвоздиковъ съѣлъ, поставилъ передъ собой рядкомъ всѣ шесть бутылокъ и, любовно поглядывая на нихъ, принялся пить. Выпивъ три стакана, онъ почувствовалъ, что въ его груди и головѣ зажгли по лампѣ: стало такъ тепло, свѣтло, хорошо.

«Она составитъ мнѣ мое счастье! — подумалъ онъ, принимаясь за другую бутылку. — Она... она именно та, о которой я мечталъ. О, да!»

Послѣ второй бутылки онъ почувствовалъ, что въ его головѣ потушили лампу и стало темновато. Но зато какъ весело стало! Хорошо жить на этомъ свѣтѣ послѣ второй бутылки! Принимаясь за третью бутылку, Гвоздиковъ махалъ передъ своимъ носомъ рукой и клялся, что счастливѣе его никого нѣтъ на этомъ свѣтѣ. Клятву давалъ онъ самому себѣ и вѣрилъ этой клятвѣ безапелляціонно.

— Я знаю, что она во мнѣ полюбила! — забормоталъ онъ. — Знаю-съ! Она полюбила во мнѣ недюжиннаго человѣка! Такъ-то! Знаешь, кого полюбить и за что полюбить... Недюжиннаго человѣка! Я не какой-нибудь тамъ... этакій... Я Гвозд... Я... а я.

Принимаясь за четвертую бутылку, онъ воскликнулъ:

— Да-съ! Не какой-нибудь! Полюбила она во мнѣ... Генія! Ге-ни-я! Мирового генія! Кто я? И что я? Вы ду-

маете—Гвоздиковъ? Да, я Гвоздиковъ, но какой Гвоздиковъ? Какъ вы думаете?

Дойдя до половины четвертой бутылки, онъ ударилъ кулакомъ по столу, взъерошилъ волосы и сказалъ:

— Я имъ покажу, кто я таковъ! Пусть только кончу курсъ! Дайте мнѣ только позаниматься! Я жрецъ науки... Она полюбила во мнѣ жреца науки. И я докажу, что она права! Вы мнѣ не вѣрите? Прочь! И она не вѣритъ? Она? Соня? Прочь и ее въ такомъ случаѣ! Я докажу! Сейчасъ же ячну заниматься!.. Допью только стаканъ... Всѣ вы подлецы!

Гвоздиковъ разсердился, допилъ стаканъ, досталъ съ полки лекціи, открылъ и началъ читать съ середины:

«При... причиной вывиха нижней челюсти можетъ также служить па... паденіе, ударъ при открытомъ ртѣ...»

— Чепуха! Челюсть... Ударъ... То да се... Чепуха!

Гвоздиковъ закрылъ лекціи и принялся за пятую бутылку. Выпивъ наконецъ и пятую и шестую, онъ пригорюнился и задумался о ничтожествѣ вселенной вообще и человѣка въ частности. Думая, онъ машинально ставилъ пробку на горлышко бутылки и цѣлился въ нее щелчкомъ, стараясь ударить ее въ зеленое пятнышко, мелькавшее передъ его глазами. Черныя, зеленыя и синія пятнышки забѣгали передъ его глазами, когда онъ попалъ пробкой въ зеленое пятно. Одно изъ пятенъ, бурокрасное, съ зелеными иглами, улыбаясь, полетѣло къ его глазамъ и испустило изъ себя что-то въ родѣ клея... Гвоздиковъ почувствовалъ, что у него слипаются глаза...

«У меня въ глазахъ кто-то... пиццить! — подумалъ онъ.—Надо выйти на воздухъ, а то я ослѣпну. Надо по... погулять... Здѣсь душно. Печи все топятъ... О, о-ослы! Пиццать и печи топятъ! Дураки!»

Гвоздиковъ надѣлъ шляпу и вышелъ изъ комнаты. На дворѣ уже стемнѣло. Былъ десятый часъ. На небѣ мерцали звѣздочки. Луны не было, ночь обѣщала быть темна. На Гвоздикова пахнуло майской свѣжестью лѣса. Встрѣтили его всѣ атрибуты любовнаго rendez-vous: и шопотъ листьевъ, и пѣснь соловья, и... даже задумчивая, бѣлѣющая во мракѣ «она». Онъ, самъ того не замѣчая, дошелъ до мѣста, о которомъ упоминалось въ письмѣ.

Она поднялась со скамьи и пошла къ нему навстрѣчу.

— Жоржъ! — сказала она, чуть дыша. — Я здѣсь.

Гвоздиковъ остановился, прислушался и началъ смот-

рѣть вверхъ, на верхушки деревьевъ. Ему показалось, что его имя произнесли гдѣ-то вверху.

— Жоржъ, это я! — повторила она, ближе подойдя къ нему.

— А?

— Это я.

— Что? Кто тутъ? Кого?

— Это я, Жоржъ... Идите... Сядемте.

Жоржъ протеръ глаза и уставился на нее...

— Чего надо?

— Смѣшной! Не узнаете, что ли? Неужели вы ничего не видите?

— А-а-а... Позвольте... Вы какое же имѣете пра... пра...вво вь ночное время ходить по чужому саду? Милостивый государь! Отвѣчайте, милостивый государь, въ противномъ же случаѣ я вввамъ... дамъ... въ мор... мор...

Жоржъ протянулъ впередъ руку и схватилъ ее за плечо. Она захохотала.

— Какой вы смѣшной! Ха-ха-ха... Какъ вы хорошо представлять умѣете! Ну, пойдете... Давайте болтать...

— Кого болтать? Что? Вы почему? А я почему? Смѣтесъ?

Она громче захохотала, взяла его подъ руку и потянулась впередъ. Онъ попятился назадъ. Онъ изображалъ изъ себя упрямаго коренника, а она — бьющуюся впередъ пристяжную.

— Миѣ... миѣ спать хочется... Пустите, — забормоталъ онъ. — Я не желаю заниматься пустяками...

— Ну, будетъ, будетъ... Отчего вы опоздали на полчаса? Занимались?

— Занимался... Я всегда занимаюсь... При...чи...ной вывиха нижней челюсти можетъ быть паденіе, ударъ при открытомъ ртѣ. Челюсти вышибаютъ все больше въ трактирахъ, въ кабакахъ. Я хочу пива... Трехгорнаго.

Онъ и она дотацились до скамьи и сѣли. Онъ подперъ лицо кулаками, уперся локтями въ колѣна и зафыркалъ. Шляпа сползла съ его головы и упала на ея руки. Она нагнулась и посмотрѣла ему въ лицо.

— Что съ вами? — тихо спросила она.

— И не ваше, не ваше дѣло... Никто не имѣетъ права вмѣшиваться въ мои дѣла... Всѣ они дураки и вы... дураки.

Немного помолчавъ, Гвоздиковъ прибавилъ:

— И я дуракъ...

— Вы получили письмо?—спросила она.

— Получилъ... Отъ Сонь...ки... Отъ Сони... Вы—Соня? Ну и что жъ? Глупо. Слово «нетерпѣніе» въ слогъ «не» пишется не черезъ «ять», а черезъ «е». Грамотен! Чортъ бы васъ взять совѣтъ!..

— Вы пьяны, что ли?

— Ннѣтъ... Но я справедливъ! Какое вы имѣете пра...пр...пр... Отъ пива нельзя быть пьянымъ... А? Который?

— А зачѣмъ же вы, безсовѣстный, чепуху мелете, если вы не пьяный?

— Ннѣтъ. Именительный—меня, родительный—тебя, дательный, именительный.... Processus condiloideus et m. sculus sterno-cleido-mastoideus.

Гвоздиковъ захохоталъ, свѣсилъ голову къ колѣнямъ...

— Вы спите?—спросила она.

Отвѣта не послѣдовало. Она заплакала и начала ломать руки.

— Вы спите, Егоръ Андреевичъ?—повторила она.

Въ отвѣтъ на это послышался громкій, сильный храпъ. Соня поднялась.

— Мер-р-зкій!!—проворчала она. — Негодный! Такъ вотъ ты какой? Такъ на же, вотъ тебѣ! На тебѣ! На тебѣ!

И Соня своей маленькой ручкой разъ пять коснулась до затылка Гвоздикова, и какъ коснулась! Ноги ея заходили по его шляпѣ. Мстительны женщины!

На другой день Гвоздиковъ послалъ Сонѣ письмо слѣдующаго содержанія:

«Прошу прощенія. Не могъ вчера явиться, потому что былъ ужасно боленъ. Назначьте другое время, хоть сегодняшній вечеръ, напримѣръ. Любящій Егоръ Гвоздиковъ».

Отвѣтъ на это письмо былъ таковъ:

«Шляпа ваша валяется около бесѣдки. Можете ее взять тамъ. Пиво пить пріятнѣе, чѣмъ любить, а потому пейте пиво. Не хочу вамъ мѣшать. Уже не ваша С.»

«P. S. Не отвѣчайте мнѣ. Я васъ ненавижу».

НЕУДАЧИЙ ВИЗИТЬ.

Франтъ влетаетъ въ домъ, въ которомъ ранѣе никогда еще не былъ. Съ визитомъ пріѣхалъ... Въ передней встрѣчается ему дѣвочка лѣтъ шестнадцати, въ ситцевомъ платьицѣ и бѣломъ фартучкѣ.

— Ваши дома? — обращается онъ развязно къ дѣвочкѣ.

— Дома.

— Мм... Персикъ! И барыня дома?

— Дома, — говоритъ дѣвочка и почему-то краснѣетъ.

— Мм... Штучка! Шпшельмочка! Куда шапку положить?

— Куда угодно. Пустите! Странно...

— Ну, чего краснѣешь? Эка! Не слопаю...

И франтъ бьетъ дѣвочку перчаткой по талии.

— Эка! А ничего! Несдурна! Поди доложи!

Дѣвочка краснѣетъ, какъ макъ, и убѣгаетъ.

— Молода еще! — заключаетъ франтъ и идетъ въ гостиную.

Въ гостиной встрѣча съ хозяйкой. Садятся, болтають...

Минуть черезъ пять черезъ гостиную проходитъ дѣвочка въ фартучкѣ.

— Моя старшая дочь! — говоритъ хозяйка и указываетъ на ситцевое платье.

Картина.

1882.

ИДИЛЛІЯ — УВЫ И АХЪ!

— Дядя мой — прекраснѣйшій человѣкъ! — говорилъ мнѣ не разъ бѣдный племянникъ и единственный наслѣдникъ капитана Насѣчкина, Гриша. — Я люблю его всей душой... Зайдемте къ нему, голубчикъ! Онъ будетъ очень радъ!

И слезы наворачивались на глазахъ Гриши, когда онъ говорилъ о дядюшкѣ. Къ чести его сказать, онъ не стыдился этихъ хорошихъ слезъ и плакалъ публично! Я внялъ его просьбамъ и, недѣлю тому назадъ, зашелъ къ капитану. Когда я вошелъ въ переднюю и заглянулъ въ залу, я увидѣлъ умиленную картину. Въ большомъ креслѣ среди залы сидѣлъ старенькій, худенькій капитанъ и кушалъ чай. Передъ нимъ на одномъ колѣнѣ стоялъ Гриша и съ умиленіемъ мѣшалъ ложечкой его чай.

Вокругъ коричневой шеи старичка обвивалась хорошенькая ручка Гришиной невѣсты... Бѣдный племянникъ и невѣста спорили о томъ, кто изъ нихъ скорѣй поцѣлуетъ дядюшку, и не жалѣли поцѣлуетъ для старичка.

— А теперь вы сами поцѣлуйтесь, наслѣдники! — лепеталъ Насѣчкинъ, захлебываясь отъ счастья...

Между этими тремя созданіями существовала завиднѣйшая связь. Я, жестокий человѣкъ, замиралъ отъ счастья и зависти, глядя на нихъ...

— Да-съ! — говорилъ Насѣчкинъ. — Могу сказать: пожилъ на своемъ вѣку! Дай Богъ всякому. Однихъ осетровъ сколько поѣлъ! Страсть! Напримѣръ, взять бы хоть того осетра, что въ Скопинѣ съѣли... Гм! И теперь слюнки текутъ...

— Разскажете, разскажете!—говорить невѣста.

— Пріѣзжаю это я въ Скопинъ со своими тысячами, дѣтки, и прямо... гм.. къ Рыкову... господину Рыкову. Человѣкъ... уу! Золотой господинъ! Джентльменъ! Какъ родного принялъ... Какая, кажись бы, надобность ему, а... какъ съ роднымъ! Ей-Богу! Кофеемъ потчеваль... Послѣ кофе закуска... Столъ... На столѣ распивочно и на выносъ... Осетръ... отъ угла до угла... Омары... икорка. Ресторантъ!

Я вошелъ въ залу и прервалъ Насѣчкина. Это было акурать въ тотъ день, когда въ Москвѣ было получено первое телеграфическое извѣстіе о томъ, что скопинскій банкъ лопнулъ.

— Дѣтками наслаждаюсь!—сказалъ мнѣ Насѣчкинъ послѣ первыхъ привѣтствій и, обратясь къ дѣткамъ, продолжалъ хвастливымъ тономъ:—И общество благородное... Чинопачальники, духовенство... іеромонахи, іереи... Послѣ каждой рюмочки подѣ благословеніе подходишь... Самъ весь въ орденахъ... Генералу носъ утереть... Скушали осетра... Подали другого... Съѣли... Потомъ уха съ стерлядкой... фазаны...

— На нашемъ мѣстѣ я теперь икалъ и страдалъ бы изжогой отъ этихъ осетровъ, а вы хвастаетесь...—сказалъ я.—Много у васъ пропало за Рыковымъ?

— Зачѣмъ пропало?

— Какъ зачѣмъ? Да вѣдь банкъ лопнулъ!

— Шутки! Стара пѣсня... И прежде пугали...

— Такъ вамъ еще неизвѣстно? Батенька! Серапіонъ Егорычъ! Да вѣдь это... это... это... Читайте!

Я полѣзъ въ карманъ и вытащилъ оттуда газетину. Насѣчкинъ надѣлъ очки и, недовѣрчиво улыбаясь, принялся читать. Чѣмъ болѣе онъ читалъ, тѣмъ блѣднѣе и длиннѣе дѣлалась его физиономія.

— Ло... ло... ллопнулъ!—заголосилъ онъ и затрясся всѣми членами.—Вѣдная моя головушка!

Гриша покраснѣлъ, прочиталъ газету, поблѣднѣлъ... Дрожащая рука его потянулася за шапкой... Невѣста зашаталась...

— Господа! Да неужели вы только теперь объ этомъ узнали? Вѣдь ужъ объ этомъ вся Москва говорить. Господа! Успокойтесь!

Чась спустя, стоялъ я одинъ-одинешенекъ передъ капитаномъ и утѣшалъ его:

— Полно, Серапіонъ Егорычъ! Ну, что жъ? Деньги пропали, зато дѣтки остались.

— Это правда... Деньги суета... Дѣтки... Это точно. Но, увы! Черезъ недѣлю я встрѣтился съ Гришей.

— Сходите, батенька, къ дядошкѣ!—обратился я къ нему.—Отчего вы къ нему не сходите? Совѣтъ бросили старика!

— А ну его къ чорту! Очень онъ мнѣ нуженъ, старый чортъ! Дуракъ! Не могъ найти другого банка!

— Все-таки сходите. Вѣдь онъ вашъ дядя!

— Онъ? Ха-ха!.. Вы смѣтаетесь? Откуда вы это взяли? Онъ троюродный братъ моей мачехи! Десятая вода на кисель! Нашему слесарю двоюродный кузнецъ!

— Ну, хоть невѣсту пошлите къ нему!

— Да! Чортъ васъ дернулъ показывать газету до свадьбы! До свадьбы не могли подождать со своими новостями!.. Теперь она рожу воротить. Тоже вѣдь на дядошкинъ коровай ротъ разѣвала! Дура чортова... Разочарована теперь.

Такъ, самъ того не желая, разрушилъ я тѣснѣйшее тріо... завиднѣйшее тріо!

ДОБРЫЙ ЗНАКОМЫЙ.

По зеркальному льду скользят мужскіе ботфорты и женскія ботинки съ мѣховой опушкой. Скользящихъ ногъ такъ много, что, будь онѣ въ Китаѣ, для нихъ не хватило бы бамбуковыхъ палокъ. Солнце свѣтитъ особенно ярко, воздухъ особенно прозраченъ, щеки горятъ ярче обыкновеннаго, глазки общають больше, чѣмъ слѣдуетъ... Живи и наслаждайся, человѣкъ, однимъ словомъ! Но...

— «Дудки!»—говоритъ судьба въ лицѣ моего... добраго знакомаго.

Я вдали отъ катка сижу на скамьѣ подъ голымъ деревомъ и бесѣдую съ «ней». Я готовъ ее скушать вмѣстѣ съ ея шляпкой, шубкой и ножками, на которыхъ блестятъ коньки—такъ хороша! Страдаю и въ то же время наслаждаюсь! О, любовь! Но... «дудки»...

Мимо насъ проходитъ нашъ департаментскій «отворяйла и запирайла», нашъ Аргусъ и Меркурій, пирожинкъ и разсылный Спевсиппъ Макаровъ. Въ рукахъ его чьи-то калоши, мужскія и женскія, должно-быть, превосходительныя. Спевсиппъ дѣлаетъ мнѣ подъ козырекъ и, глядя на меня съ умиленіемъ и любовью, останавливается около самой скамьи.

— Холодно, ваше высокобл... бл... На чашко бы! Хе-хе-съ...

Я даю ему двугривенный. Эта любезность трогаетъ его до-нельзя. Онѣ усиленно мигаетъ глазками, оглядывается и говоритъ шопотомъ:

— Сченно мнѣ жалко васъ, обидно, ваше благородіе... Страсть какъ жалко! Точно вы мнѣ сынокъ... Человѣкъ вы золотой! Душа! Доброта! Смиренчикъ нашъ!

Когда намедни. онъ, превосходительство то-есть, накинудся на васъ—тоска взяла! Ей-Богу! Думаю, за что онъ его? Ты и лѣнтяй, и молокососъ, и тебя выгоню, то да се... За что? Когда вы вышли отъ него, такъ на васъ лица вашего не было. Ей-Богу... А я гляжу, и мнѣ жалко... Охъ, у меня всегда сердечность къ чиповникамъ!

И, обратясь къ моей сосѣдкѣ, Спевсиппъ прибавляетъ:

— Ужъ больно они плохи у насъ насчетъ бумагъ-то. Не ихнее это дѣло въ умственныхъ бумагахъ... Шли бы по торговой части или... по духовной... Ей-Богу! Ни одна бумага толкомъ не выходитъ... Все зря! Ну и достается на орѣхи... Самъ заѣлъ его совсѣмъ... Турнуть хочеть... А мнѣ жалко. Ихъ благородіе добрые...

Она смотритъ мнѣ въ глаза съ самымъ обиднымъ со-страданіемъ!

— Ступай! — говорю я Спевсиппу, задыхаясь.

Я чувствую, что у меня даже калоши покраснѣли. Осрамилъ, каналья! А въ сторонѣ, за голыми кустами, сидитъ ея папенька, слушаетъ и глазѣть на насъ, чтобы я впредь до «титулярнаго» не смѣлъ и думать о... На другой сторонѣ, за другими кустами, прохаживается ея маменька и наблюдаетъ за «ней». Я чувствую эти четыре глаза... и готовъ подохнуть...

1882.

ЗАБЫЛЪ!!

Когда-то ловкій поручикъ, танцоръ и волокита, а нынѣ толстеный, коротенький и уже дважды разбитый параличомъ помѣщикъ, Иванъ Прохорычъ Гауптвахтовъ, утомленный и замученный жениными покупками, зашелъ въ большой музыкальный магазинъ купить нотъ.

— Здравствуйте-съ!.. — сказалъ онъ, входя въ магазинъ. — Позвольте мнѣ-съ...

Маленький нѣмецъ, стоявшій за стойкой, вытянулъ ему навстрѣчу свою шею и состроилъ на лицѣ улыбающійся вопросительный знакъ.

— Что прикажете-съ?

— Позвольте мнѣ-съ... Жарко! Климать такой, что ничего не подѣлаешь! Позвольте мнѣ-съ... Ммммм... мнѣ-ѣ... Мм... Позвольте... Забылъ!!

— Припомните-съ!

Гауптвахтовъ положилъ верхнюю губу на нижнюю, сморщилъ въ три погибели свой маленькій лобъ, поднялъ вверхъ глаза и задумался.

— Забылъ!! Экая, прости Господи, память демонская! Да вотъ... вотъ... Позвольте-съ... Мм... Забылъ!!

— Припомните-съ...

— Говорилъ ей: залиши! Такъ нѣтъ... Почему она не записала? Не могу же я все помнить... Да, можетъ-быть, вы сами знаете? Пьеса заграничная, громко такъ играется... А?

— У насъ такъ много, знаете ли, что...

— Ну, да... Понятно! Мм... Мм... Дайте припомнить... Ну, какъ же быть? А безъ пьесы и ѣхать нельзя—загрызетъ Надя, дочь, то-есть; играетъ ее безъ нотъ, знаете

ли, неловко... не то выходить! Были у ней ноты, да я, признаться, нечаянно керосиномъ ихъ облилъ и, чтобъ крику не было, за комодъ бросилъ... Не люблю я бабьяго крику! Велѣла купить... Ну, да... Ффф... Какой котъ важный!

И Гауптвахтовъ погладилъ большого сѣраго кота, валяшагося на стойкѣ... Котъ замурлыкалъ и апатитно потянулся.

— Славный... Сибирскій, знать, подлець!.. Породистый, шельма... Это котъ или кошка?

— Котъ.

— Ну чего глядишь? Рожа! Дуракъ! Тигра! Мышей ловишь? Мяу, мяу?.. Экая память анаемская!.. Жирный, шельмецъ! Котеночка у васъ отъ него нельзя достать?

— Нѣтъ... Гм...

— А то бы я взялъ... Жена страсть какъ любить ихняго брата—котовъ!.. Какъ же быть теперь? Всю дорогу помнилъ, а теперь забылъ... Потерялъ память, шабашъ! Старъ сталъ, прошло мое время... Помирать пора... Громко такъ играетъ, съ фокусами, торжественно... Позвольте-съ... Кгм... Сною, можетъ-быть...

— Спойте... oder... oder... или посвистайте!..

— Свистѣть въ комнатѣ грѣхъ... Вонъ у насъ Сидельниковъ свистѣлъ-свистѣлъ, да и просвистѣлся... Вы нѣмецъ или французъ?

— Нѣмецъ.

— То-то я по облику замѣчаю... Хорошо, что не французъ... Не люблю французовъ... Хрю, хрю, хрю... свиство! Во время войны мышей ѣли... Свистѣлъ въ своей лавкѣ отъ утра до вечера и просвистѣлъ всю свою бакалею въ трубу! Весь въ долгахъ теперь... И мнѣ двѣсти рублей долженъ... Я иногда напѣвалъ себѣ подъ носъ. Гм... Позвольте-съ... Я спую... Стойте. Сейчасъ... Кгм... Кашель... Въ горлѣ свербить...

Гауптвахтовъ, щелкнувъ три раза пальцами, закрылъ глаза и запѣлъ фистулой:

— То-то-ти-то-томъ... Хо-хо-хо... У меня теноръ... Дома я больше все дишкантомъ... Позвольте-съ... Три-ра-ра... Кггггм... Въ зубахъ что-то застряло... Тьфу! Сѣмечко... О-то-о-о-уу... Кггггм... Простудился, должно-быть... Пива холоднаго выпилъ въ биргалкѣ... Тру-ру-ру... Все этакъ вверхъ... а потомъ, знаете ли, внизъ, внизъ... Заходить этакъ бочкомъ, а потомъ берется верхняя нота, такая

разсыпчатая... то-то-ти... рууу... Понимаете? А тутъ въ это время басы берутъ: гу-гу-гу — туту... Понимаете?

— Не понимаю...

Котъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на Гауптвахтова, замѣялся, должно-быть, и лѣзливо соскочилъ со стойки.

— Не понимаете? Жаль... Впрочемъ, я не такъ пою... Забылъ совѣтъ, экая досада!

— Вы сыграйте на рояли... Вы играете?

— Нѣтъ, не играю... Игралъ когда-то на скрипкѣ на одной струнѣ, да и то такъ... сдуру... Меня не учили... Братъ мой Назаръ играетъ. Того учили... Французъ Рокать, можетъ-быть, знаете, Венедиктъ Францичь учили... Такой потѣшный французишка... Мы его Буонапартомъ дразнили... Сердился... «Я, говоритъ, не Буонапартъ... Я республикѣ франце»... И рожа у него, по правдѣ сказать, была республиканская... Совѣтъ собачья рожа... Меня покойный мой родитель ничему не учили... «Дѣда говаривалъ, твоего Иваномъ звали, и ты Иванъ, а потому ты долженъ быть подобенъ дѣду своему во всѣхъ своихъ поступкахъ: на военную, прохвость! Пороху!! Нѣжностей, братъ... братъ... Я, братъ... Я, братъ, нѣжностей тебѣ не дозволю! Дѣдъ въ нѣкоторомъ роцѣ кошиной питался, и ты оной питайся! Съядло подъ голову себѣ клади вмѣсто подушки!»... Будетъ мнѣ теперь дома! Заѣдятъ! Безъ ноть и пріѣзжать не велѣно... Прощайте-съ, въ такомъ случаѣ! Извините за безпокойство!.. Сколько эта рояля стоитъ?

— Восемьсотъ рублей!

— Фу-фу-фу... Батюшки! Это называется: купи себѣ роялю и безъ штановъ ходи! Хо-хо-хо! Восемьсотъ руб... лей!! Губа не дура! Прощайте-съ! Шпрехензи! Гебензи!.. Обѣдалъ я, знаете ли, однажды у одного нѣмца... Послѣ обѣда спрашиваю я у одного господина, тоже нѣмчуры, какъ сказать по-нѣмецки: «покорнѣше васъ благодарю за хлѣбъ за соль»? А онъ мнѣ и говоритъ... и говоритъ... Позвольте... И говоритъ: «Ихъ либе дихъ фонъ ганценъ герценъ!» А это чтѣ значитъ?

— Я... люблю тебя, — перевелъ нѣмецъ, стоявшій за стойкой: — отъ всей сердцы!

— Ну вотъ! Я подошелъ къ хозяйской дочкѣ, да такъ прямо и сказалъ... Съ ней конфузъ... Чуть до истерики дѣло не дошло... Комиссія!.. Прощайте-съ! За дурной головой и ногамъ больно... Такъ и мнѣ... Съ дурацкой па-

мятью бѣда: разъ двадцать сходишь! Будьте здоровы-съ!

Гауптвахтовъ отворилъ осторожно дверь, вышелъ на улицу и, пройдя пять шаговъ, надѣлъ шляпу.

Онъ ругнулъ свою память и задумался...

Задумался онъ о томъ, какъ пріѣдетъ онъ домой, какъ выскочать къ нему навстрѣчу жена, дочь, дѣтишки... Жена осмотритъ покупки, ругнетъ его, назоветъ какимъ-нибудь животнымъ, — осломъ или быкомъ... Дѣтишки набросятся на сладости и начнутъ съ остервенѣніемъ портить свои уже испорченные желудки... Выйдетъ навстрѣчу Надя въ голубомъ платьѣ съ розовымъ галстукомъ и спроситъ: «купили ноты?» Услышавши «нѣтъ», она ругнетъ своего стараго отца, запретъ въ свою комнатку, разревется и не выйдетъ обѣдать... Потомъ выйдетъ изъ своей комнаты и, заплаканная, убитая горемъ, сядетъ за рояль... Сыграетъ сначала что-нибудь жалостное, проноетъ что-нибудь, глотая слезы... Подъ вечеръ Надя станетъ веселѣй и наконецъ, глубоко и въ послѣдній разъ вздохнувши, она сыграетъ это любимое: то-то-ти-то-то...

Гауптвахтовъ треснулъ себя по лбу и, какъ сумасшедшій, побѣжалъ обратно къ магазину.

— То-то-ти-то-то, огого! — заголосилъ онъ, вбѣжавъ въ магазинъ. — Вспомнилъ!! Вотъ самое! То-то-ти-до-то!

— Ахъ... Ну, теперь понятно. Это рапсодія Листа, номеръ второй... *Hongroise*...

— Да, да, да... Листъ, Листъ! Побей меня Богъ. Листъ! Номеръ второй! Да, да, да... Голубчикъ! Оно самое и есть! Родненькій!

— Да, Листа трудно спѣть... Вамъ какую же, *original* или *facilite*?

— Какую-нибудь! Лишь бы номеръ второй, Листъ! Бѣдовый этотъ Листъ! То-то-ти-то... Ха-ха-ха! Насилу вспомнилъ! Точно такъ!

Нѣмецъ досталъ съ полки тетрадку, завернулъ ее съ массой каталоговъ и объявленій и подаль свертокъ просіявшему Гауптвахтову. Гауптвахтовъ заплатилъ восемьдесятъ пять копеекъ и вышелъ, посвистывая.

НА ВОЛЧЬЕЙ САДКЪ.

Говорятъ, 'что теперь девятнадцатое столѣтіе. Не вѣрьте, читатель.

Въ среду, 6-го января, въ европейскомъ и даже въ столичномъ городѣ Москвѣ, въ галлерейхъ лѣтняго конскаго бѣга, тѣсно прижавшись другъ къ другу, тѣснясь и наступая другъ другу на ноги, сидѣли люди и наслаждались зрѣлищемъ. Не только это зрѣлище, но даже и описаніе его есть анахронизмъ... Намъ ли, нервнымъ, слезливымъ фразникамъ, промѣнявшимъ мускуль на идею, театраламъ, либераламъ et tutti quanti описывать травлю волковъ?! Намъ ли?!

Выходитъ такъ, что намъ... Дѣлать нечего, будемъ описывать.

Прежде всего, я не охотникъ. Я во всю жизнь мою ничего не билъ. Билъ развѣ одиѣхъ блохъ, да и то безъ собакъ, одинъ на одинъ. Изъ всѣхъ огнестрѣльныхъ оружій мнѣ знакомы одни только маленькіе оловянные пистолетики, которые я покупалъ своимъ дѣтямъ къ елкѣ. Я не охотникъ, а посему прошу извиненія, если я переверу. Врутъ обыкновенно всѣ неспеціалисты. Постараюсь обойти тѣ мѣста, гдѣ бы мнѣ можно было похвастать незнаніемъ охотничьихъ термповъ; буду разсуждать такъ, какъ разсуждаетъ публика, т.-е. поверхностно и по первому впечатлѣнію...

Первый часъ. Позади галлерей толпятся кареты, роскошныя сани и извозчики. Шумъ, гвалтъ... Экипажей такъ много, что приходится толпиться... Въ галлерейхъ конскаго бѣга, въ енотахъ, бобрахъ, лисицахъ и барашкахъ засѣдаютъ жеребятники, кобелятники, борзятники, перепелятники и прочіе лятники, мерзнутъ и стораютъ отъ нетер-

пѣнія. Тутъ же засѣдаютъ, разумѣется, и дамы... Безъ дамъ нигдѣ дѣло не обходится. Хорошенькихъ, сверхъ обыкновенія, почему-то очень много... Дамъ столько же, сколько и мужчинъ... Онѣ тоже сгораютъ отъ нетерпѣнія. На верхнихъ скамьяхъ мелькаютъ гимназическія фуражки. И гимназисты пришли поглазѣть, и они тоже сгораютъ отъ нетерпѣнія и постукиваютъ калошами. Любители, цѣнители, критиканы, припершіе на Ходынку пѣхтурой и не имѣющіе рубля, толпятся у заборовъ, по колѣна въ снѣгу, вытягиваютъ шею и тоже сгораютъ отъ нетерпѣнія. На аренѣ нѣсколько возовъ. На возахъ деревянные ящики. Въ ящикахъ наслаждаются жизнью герои дня — волки. Они, по всей вѣроятности, не сгораютъ отъ нетерпѣнія...

Публика, пока еще не началась травля, любитъ русскими красавицами, развѣзжающими по аренѣ на хорошенькихъ лошадакахъ. Самые ужасные, отчаянные охотники критикуютъ собачью, приготовленную для травли. У всѣхъ въ рукахъ афиши. Въ дамскихъ ручкахъ афиши и бинокли.

— Самое пріятное занятіе-сь, — обращается къ своему сосѣду старичокъ съ опщипанной бородой, въ фуражкѣ съ кокардой, по всѣмъ признакамъ, давнымъ-давно уже промотавшійся дворянинъ. — Самое пріятное занятіе-сь... Бывало, выѣдешь это съ компаніей... Выѣдешь чуть свѣтъ... И дамы тоже.

— Съ дамами не стоить ѣздить, — перебиваетъ старичка сосѣдъ.

— Почему жъ?

— А потому, что при дамахъ ругаться нельзя. А нешто можно на охотѣ не ругаться?

— Невозможно. Но у насъ были такія дамы, что сами ругались... Бывало, Марья Карловна, если изволите знать-сь, барона Глянсера дочь... ругалась страсть какъ! «И ты, кричить, чортъ, сатана, такой-сякой...» И такъ далѣе-сь... Многоточіе-сь... Первая гроза для нижнихъ чиновъ была. Чуть что — сейчасъ нагайкой.

— Мама, волки въ ящикахъ? — спрашиваетъ гимназистъ въ огромнѣйшемъ башлыкѣ, обращаясь къ дамѣ съ большими красными щеками.

— Въ ящикахъ.

— А они не могутъ выскочить?

— Отстань! Вѣчно ты съ вопросами... Утри носъ! Спра-

шивай о чемъ-нибудь умномъ... Чего о глупостяхъ спрашивать?

На аренѣ замѣчается усиленное движеніе... Человѣкъ шесть, посвященныхъ въ таинства охоты, несутъ одинъ ящикъ и ставятъ его посреди арены... Въ публикѣ волненіе.

— Господинъ! Чьи собаки сейчасъ пойдутъ?

— Можаровскія! Мм... нѣтъ, не можаровскія, а шереметьевскія!

— И вовсе не шереметьевскія. Борзья Можарова! Вонъ онъ, черный Можарова! Видите? Или развѣ шереметьевскія? Да, да, да... Такъ, такъ, такъ... Господа, шереметьевскія! Шереметьевскія, можаровскія, вотъ онѣ.

По ящику стучать молоткомъ... Петерпѣніе достигаетъ maximum'a... Отъ ящика отходятъ. Одинъ дергаетъ веревку, стѣны темницы падаютъ, и глазамъ публики представляется сѣрый волкъ, самое почтенное изъ російскихъ животныхъ. Волкъ оглядывается, встаетъ и бѣжитъ... За нимъ гонятся шереметьевскія собаки, за шереметьевскими бѣжитъ не по уставу можаровская собака, за можаровской собакой борзятникъ съ кинжаломъ...

Не успѣлъ волкъ отбѣжать и двухъ сажень, какъ онъ уже мертвъ... Отличились и собаки и борзятникъ... и «бравооо! — кричитъ публика. — Брааааво! Bravo! Зачѣмъ Можаровъ спустилъ не въ очередь? Можаровъ шшш!.. Бра...вво!» То же самое продѣлывается и съ другимъ волкомъ...

Раскрывается третій ящикъ. Волкъ сидитъ и ни съ мѣста. Передъ его мордой хлопаютъ бичомъ. Наконецъ онъ поднимается, какъ бы утомленный, разбитый, едва волоча за собою заднія ноги... Осматривается... Нѣтъ спасенія! А ему такъ жить хочется! Хочется жить такъ же сильно, какъ и тѣмъ, которые сидятъ на галереѣ, слушаютъ его скрежетъ зубовой и глядятъ на кровь. Онъ пробуетъ бѣжать, но не тутъ-то было! Свѣчинскія собаки хватаютъ его за шерсть, борзятникъ вонзаетъ кинжалъ въ самое сердце и — *vae victis!* — волкъ падаетъ, унося съ собою въ могилу плохое мнѣніе о человѣкѣ... Не шутя, осрамился человѣкъ передъ волками, затѣявъ эту quasi-охоту!.. Другое дѣло — охота въ степи, въ лѣсу, гдѣ людскую кровожадность можно слегка извинить возможностью равной борьбы, гдѣ волкъ можетъ защищаться, бѣжать...

Публика неистовствуетъ, и такъ неистовствуетъ, какъ будто бы на нее самое спустили всѣхъ собакъ со всего свѣта.

— Зарѣжьте въ ящикѣ! Хороша охота! Скверно!

— Зачѣмъ же вы кричите, если вы не понимаете? Вѣдь вы никогда не были на охотѣ?

— Не былъ.

— Зачѣмъ же вы кричите? Что вы понимаете? По-вашему, значить, отдать волку собакъ, пусть ихъ рветъ? Такъ по-вашему? Такъ?

— Да послушайте! Какое же удовольствіе видѣть зарѣзаннаго волка? Собакамъ не даютъ разбѣжаться! Ш-ш-ш... Фюить!

— Чьи это собаки? — неистовствуетъ баринъ въ енотовой шубѣ.— Мальчикъ, поди справься, чьи это собаки!

— Лебушевскія! Шереметьевскія! Можаровскія!

— Чей кобель?..

— Можарова! Славный кобель!.. Можарова!.. Въ ящикѣ зарѣжьте!..

Публикѣ не нравится, что волка такъ рано зарѣзали... Нужно было волка погонять по аренѣ часа два, искушать его собачьими зубами, истоптать конытами, а потомъ уже зарѣзать... Мало того, что онъ уже былъ разъ травленъ, словленъ и отсидѣлъ ни за что ни про что нѣсколько недѣль въ тюрьмѣ.

Собаки и борзятникъ Стаховича берутъ волка живьемъ. Счастливаго волка сажаютъ опять въ ящикъ. Одинъ волкъ перескакиваетъ черезъ барьеръ. За нимъ гонятся собаки, борзятники. Сумѣй онъ вбѣжать въ городъ, Москвѣ посчастливилось бы узрѣть на своихъ улицахъ и переулкахъ неподобную травлю!..

Въ антрактахъ, полныхъ томительнаго ожидания, публика хохочетъ и (не вѣрите?) кричитъ «браво»; ей нравится десятикопеечная лошадка, на которой увозятъ опустѣвшіе ящики съ середины арены на прежнее мѣсто. Лошадка не идетъ, а подпрыгиваетъ, подпрыгиваетъ не ногами, а всѣмъ корпусомъ и въ особенности головой. Это нравится публикѣ, и она неистовствуетъ.

Счастливая лошадка! Думала ли когда-нибудь она или ея родители, что ей когда-нибудь будутъ аплодировать?

Слышится отрывистый лай, и на сцену появляется стая гончихъ... Большой волкъ отдается имъ на растерзаніе.

Гончія рвуть, а борзья, которыхъ не пускаютъ, визжатъ отъ зависти.

— Бравво! Браваао! — кричитъ публика. — Браво. Николай Яковлевичъ!

Николай Яковлевичъ раскланшвается передъ публикой съ шикомъ, которому позавидовалъ бы любой артистъ-бенефициантъ.

— Подавай лисицу! — кричитъ онъ въ изступленіи.

На средину арены выносятъ маленькій ящикъ и выпускаютъ изъ него хорошенькую лисичку. Лисичка бѣжитъ, бѣжитъ... за ней бѣгутъ гончія. Никто не видѣлъ, гдѣ собаки схватили лису.

— Ушла лиса! — кричитъ публика. — Упустили! Ушла!

Николай Яковлевичъ показывается съ лисицей въ рукѣ, и публика конфузится. Чтобы собрать гончихъ въ стаю, требуется немало людей и времени. Собаки непослушныя, дисциплина плохая... Гончія не нравятся публикѣ.

Вообще публика страшно мерзнетъ, но очень довольна. Дамы въ восторгѣ.

— Хорошо за границей, — говоритъ одна дамочка. — Тамъ есть бой быковъ, бой пѣтуховъ... отчего у насъ не введутъ этого въ Россію?

— А потому, сударыня, что за границей есть быки, а у насъ ихъ не водится!.. — отвѣчаетъ дамѣ старичокъ съ кокардой.

Наконецъ выпускаютъ послѣдняго волка... Этого волка закалываютъ, и публика, разсуждая о томъ, какія собаки хороши, а какія плохи, разѣзжается по домамъ...

Въ заключеніе спросимъ: какова цѣль всей этой кукольной комедіи? Собаками похвастаться нельзя, потому что мѣста мало; удалъ показать также негдѣ. Какова мораль?

Мораль самаго сквернаго свойства. Пошекотали женскіе нервы, и больше ничего! Сборъ, впрочемъ, тысячный. Но не смѣю думать, чтобы все это дѣлалось для сбора. Сборомъ можно окупить все расходы, но нельзя окупить тѣхъ маленькихъ разрушеній, которыя, быть-можетъ, произведены этой травлей въ маленькой душѣ вышеупомянутого гимназистика.

1882.

СКВЕРНАЯ ИСТОРИЯ.

(Нѣчто романообразное).

Дѣло завязалось еще зимой.

Былъ балъ. Гремѣла музыка, горѣли люстры, не унывали кавалеры и наслаждались жизнью барышни. Въ залахъ были танцы, въ кабинетахъ картежъ, въ буфетѣ выпивка, въ читальнѣ отчаянныя объясненія въ любви.

Лёля Асловская, кругленькая, розовенькая блондинка, съ большими голубыми глазами, съ длиннѣйшими волосами и съ цифрой 26 въ паспортѣ, на зло всѣмъ, всему свѣту и себѣ, сидѣла особнякомъ и злилась. Душу ея скребли кошки. Дѣло въ томъ, что мужчины вели себя по отношенію къ ней больше чѣмъ по-свински. Въ послѣдніе два года въ особенности поведеніе ихъ было ужасное. Она замѣтила, что они перестали обращать на нее вниманіе. Они стали неохотно плясать съ ней. Мало того, идетъ, каналья, мимо—и не посмотритъ даже, какъ будто бы она перестала уже быть красавицей. А если и взглянетъ какой-нибудь, какъ-нибудь нечаянно, невзначай, то взглянетъ не съ удивленіемъ, не платонически, а такъ, какъ глядятъ передъ обѣдомъ на съдобный растегай или поросенка.

А между тѣмъ, въ былые годы...

— И этакъ каждый вечеръ, каждый балъ!—злилась Лёля, кусая губы.—Я знаю, почему они не замѣчаютъ меня, знаю! Они мстятъ! Мстятъ мнѣ за то, что я ихъ презираю! Но... но когда же наконецъ замужъ? Развѣ такъ выйдешь замужъ? Время не ждетъ вѣдь, не ждетъ! Негодяи вы этакіе!

Въ описываемый вечеръ судьбѣ угодно было сжалиться надъ Лёлей. Когда поручикъ Набрядловъ вмѣсто того, чтобы плясать съ нею обѣщанную третью кадрили, напился, какъ стелька, пьянъ и, проходя мимо нея, какъ-то глуно чмокнулъ губами и тѣмъ показалъ свое полное пренебреженіе, она не выпесла. Злоба ея достигла апо-

гя. Голубые глаза обволоклись влагой, губы задрожали. Слезы готовы были брызнуть... Чтобы не показать профанамъ своихъ слезъ, она отвернулась къ темнымъ испотъвшимъ окнамъ, и—о, чудный мигъ, это ты!—у одного изъ оконъ увидѣла прекраснаго юношу, который не спускалъ съ нея глазъ. Юноша изображалъ изъ себя картину умиительную, колющую какъ разъ въ самое сердце. Поза его была—шикъ, глаза полны любви, удивленія, вопросовъ, отвѣтовъ, лицо грустное. Лёля моментально ожила. Она приняла надлежащую позу и принялась за надлежащее наблюдение. Последнее показало, что юноша глядѣлъ не случайно, не такъ себѣ, а не спуская глазъ, ушываясь и восхищаясь.

«Боже!—подумала Лёля.—Хоть бы кто-нибудь догадался его представить! Что значитъ свѣжий мужчина! Сейчасъ замѣтилъ!»

Вскорѣ юноша завертѣлся, заходилъ по заламъ и началъ приставать къ мужчинамъ.

«Хочетъ познакомиться! Просить, чтобъ представил!» — подумала, захлебываясь, Лёля.

И подлинно. Минутокъ черезъ десять актерикъ-любителъ съ бритой шалопайской физиономіей внялъ просьбамъ юноши и, сильно шаркая ногами, представилъ его Лёлѣ. Юноша оказался «нашимъ», до чортиковъ талантливымъ художникомъ Ногтевымъ. Ногтевъ — юноша лѣтъ 24-хъ, брюнетъ, съ страстными, грузинскими глазами, съ красивыми усиками и съ блѣдными щеками. Онъ никогда ничего не пишетъ, но онъ художникъ. У него длинные волосы, эспаньолка, есть золотая палитра на часовой цѣпочкѣ, золотыя палитры вмѣсто запонокъ, перчатки до локтей и неимоვნно высокіе каблуки. Малый добрый, но глупый, какъ гусь. Имѣетъ благороднаго папашу, таковую же мамашу и богатую бабушку. Холостъ. Онъ несмѣло пожалъ Лёлину руку, несмѣло сѣлъ и, сѣвши, началъ пожирать Лёлю своими большими глазами. Заговорилъ онъ нескоро и несмѣло. Лёля тарахтѣла, а онъ говорилъ только: «да... нѣтъ... я, знаете ли...», говорилъ чуть дыша, отвѣчая невпопадъ и то и дѣло въ смущеніи почесывая (своей, а не Лёлиной) лѣвый глазъ. Лёля духовно аплодировала. Она порѣшила, что художникъ вторился, и торжествовала.

На другой день послѣ бала Лёля сидѣла въ своей комнатѣ у окна и, торжествуя, глядѣла на улицу. По

улицѣ, передъ ея окнами, взадъ и впередъ блуждалъ Ногтевъ. Ногтевъ блуждалъ и запускалъ глазнапа на ея окна. Онъ глядѣлъ, точно помирать собирался: грустно, томно, нѣжно, огненно. На третій день—то же самое. На четвертый былъ дождь, и его подъ окнами не было (Ногтева убѣдилъ кто-то, что къ его фигурѣ не идетъ зонтикъ). На пятый день было сдѣлано такъ, что онъ явился въ домъ Лелиныхъ родителей съ визитомъ. Знакомство затянулось гордіевымъ узломъ: связалось до невозможности развязать.

Недѣли черезъ четыре былъ опять балъ. (Зри начало).

Ногтевъ стоялъ у дверей, опершись плечами о косякъ, и пожиралъ Лёлю глазами. Лёля, желая возбудить въ немъ ревность, кокетничала вдали съ поручикомъ Набрыдиловымъ, который былъ пьянъ, но не какъ стелька, а такъ, чуть-чуть, на первомъ взводѣ.

Къ Ногтеву бокомъ подошелъ ея папá.

— Все рисуете-съ? — спросилъ папá. — Художествомъ занимаетесь?

— Да.

— Такъ-съ... Хорошее дѣло... Дай Богъ, дай Богъ... Гм... Богъ талантъ, значить, такой послалъ. Такъ... У всякаго свой талантъ...

Папá помолчалъ и продолжалъ:

— А вотъ вы, молодой человекъ, знаете ли, вотъ что вы сдѣлайте, коли вы того... все рисуете. Вы весной къ намъ пожалуйте, въ деревню. Презанимательныя мѣста тамъ есть! Виды, я вамъ скажу, страсть! Рахваелю такихъ не доводилось рисовать. Очень рады будемъ. Да и дочка съ вами такъ... сдружилась... Э-э-хм... Ммолодые люди, ммолодые люди! Хе-хе-хе...

Художникъ поклонился и перваго мая сего года вмѣстѣ со своими пожитками покотилъ въ имѣніе Асловскихъ. Его пожитки состояли изъ ненужнаго ящика съ красками, жилетки-пике, пустаго портсигара и двухъ сорочекъ. Принять онъ былъ съ объятіями самыми распростертыми. Дали въ его распоряженіе двѣ комнаты, двухъ холуевъ, лошадь и все, что пожелаетъ, лишь бы только надежды подавалъ. Онъ воспользовался своимъ новымъ положеніемъ какъ нельзя лучше: ужасно много ѣлъ, много пилъ, долго спалъ, восхищался природой и не отрывалъ глазъ отъ Лёли. Лёля была больше чѣмъ счастлива. Ей онъ былъ близокъ, былъ молодъ, хорошъ, былъ такъ робокъ... такъ любилъ! Онъ

былъ такъ робокъ, что не умѣлъ подходить къ ней, а глядѣлъ на нее все больше издалека, изъ-за портьеры или изъ-за кустика.

«Робкая любовь!»—думала Лёля, вздыхая...

Въ одно прекрасное утро ея папá и Ногтевъ сидѣли въ саду на скамьѣ и бесѣдовали. Папá прохаживался насчетъ прелестей семейнаго счастья, а Ногтевъ терпѣливо внималъ и глазами искалъ Лёлинаго торса.

— Вы у отца одинъ сынъ?—спросилъ, между прочимъ, папá.

— Нѣтъ... У меня есть братъ, Иванъ... Славный малый! Прелестъ что за человекъ! Вы не знакомы съ нимъ?

— Не имѣю чести...

— Жаль, что вы не знакомы. Онъ острякъ такой, знаете ли, весельчакъ, душа человекъ! Литературой занимается. Всѣ редакціи его приглашаютъ. Въ «Шутъ» сотрудничаетъ. Жаль, что не знакомы. Онъ радъ былъ бы познакомиться... Вотъ что! Хотите, я напишу, чтобъ онъ сюда прѣхалъ? А? Ей-Богу! Веселѣй будетъ!

Сердце папá отъ этакого предложенія точно дверью прищемило, но—нечего дѣлать!—нужно было сказать: «Очень радъ!».

Ногтевъ подпрыгнулъ въ знакъ своего хорошаго расположенія и немедленно написалъ брату приглашеніе.

Братъ Иванъ не замедлилъ явиться. Явился онъ не одинъ, а вкупѣ со своимъ другомъ, поручикомъ Набрыдловымъ, и огромнѣйшимъ, беззубымъ старымъ пеомъ Туркой. Прихватилъ онъ ихъ съ собой для того, чтобы, какъ онъ выражался, дорогой разбойники не напали и выпить было бы съ кѣмъ. Имъ отведены были три комнаты, два холуя и одна лошадь на двоихъ.

— Вы, господа,—сказалъ Иванъ хозяевамъ:—не беспокойтесь о насъ! Намъ вашихъ безпокойствъ не нужно. Намъ ни перинъ, ни соусовъ, ни фортепиановъ—ничего не нужно! А вотъ ежели помилосердствуете насчетъ пивка и водочки, ну... тогда другое дѣло!

Если вы вообразите себѣ огромнѣйшаго тридцатилѣтняго, мордастаго малаго въ парусинной блузѣ, съ паршивенькой бородкой, опухшими глазами и съ галетукомъ въ сторону, то вы избавите меня отъ описанія Ивана. Это былъ несноснѣйшій въ мірѣ человекъ.

Когда онъ былъ трезвъ, онъ былъ еще сносеиъ: на

кровати лежалъ и молчалъ. Пьяный же былъ онъ невыносимъ, какъ репейникъ на голомъ тѣлѣ. Когда онъ пьянъ, онъ говоритъ не умолкая, при чемъ сквернословить, не стѣсняясь ни женскимъ ни дѣтскимъ присутствіемъ. Говоритъ онъ о вшахъ, клопахъ, штанахъ и чортъ знаетъ о чемъ. Другихъ темъ, болѣе новыхъ, у него не водится. Папа, татап и Леля недоумѣвали и краснѣли, когда Иванъ, сидя за обѣдомъ, начиналъ острить.

Къ несчастію, во все свое пребываніе въ имѣніи Асловскихъ ему ни разу не удалось быть трезвымъ. Набрыдловъ же, маленькій, худенькій поручикъ, во все лопатки старался походить на Ивана.

— Мы съ нимъ не художники!—говорилъ онъ.—Куды намъ! Мы мужички!

Иванъ и Набрыдловъ первымъ дѣломъ изъ барскихъ хоромъ, гдѣ имъ показалось душно, перебрались во флигель къ управляющему, который не прочь былъ выпить съ порядочными людьми. Вторымъ дѣломъ они снимали сюртуки и зашеголяли по двору и по саду безъ сюртукъ. Лель то и дѣло приходилось въ саду наталкиваться на валявагося подъ деревомъ въ дезабилье брата или поручика. Братъ и поручикъ пили, ѣли, кормили пса печенкой, острили надъ хозяевами, гонялись по двору за кухарками, громко купались, мертвецки спали и благословляли судьбу, случайно загнавшую ихъ въ тѣ мѣста, гдѣ можно а la сыръ въ маслѣ кататься.

— Послушай, ты!—сказалъ однажды Иванъ художнику, подмигивая пьянымъ глазомъ въ сторону Лели.—Ежели ты за ней... то чортъ съ тобой! Мы не тронемъ. Ты первый началъ, тебѣ и книги въ руки. Честь и мѣсто! Мы благородно... Желаемъ успѣха!

— Отбивать не станемъ, нѣтъ!—подтвердилъ Набрыдловъ.—Было бы свинствомъ съ нашей стороны.

Ногтевъ пожалъ плечами и устремилъ свои жадныя очи на Лелю.

Когда надоѣдаетъ тишина, хочется бурн; когда надоѣдаетъ сидѣть чинно и благородно, хочется дебошъ устроить. Когда Лель надоѣла робкая любовь, она начала злиться. Робкая любовь—это басня для соловья. Къ великой досадѣ, въ іюнѣ художникъ былъ такъ же робокъ, какъ и въ маѣ. Въ хоромахъ шили приданое: папа денно и ночью мечталъ о займѣ денегъ для свадьбы, а между тѣмъ ихъ отношенія не вылились еще въ опре-

дѣленную форму. Леля заставляла художника по цѣлымъ днямъ удить съ собой рыбу. Но это не помогло. Онъ стоялъ возлѣ нея съ удочкой, молчалъ, заикался, пожиралъ ее глазами—и только. Ни одного сладко-ужаснаго слова! Ни одного признанія!

— Называй меня...—сказалъ ему однажды папѣ.—Называй меня... Ты извини... что я говорю тебѣ «ты»... Я любя, знаешь... Называй меня папой... Это я люблю.

Художникъ сталъ сдуру величать папѣ папой, но и это не помогло. Онъ попрежнему былъ нѣмъ тамъ, гдѣ слѣдовало возроптать на боговъ за то, что они дали человѣку одинъ только языкъ, а не десять. Иванъ и Набрядловъ скоро подмѣтили тактику Ногтева.

— Чортъ тебя знаетъ!—возроптали они.—Самъ сѣна не жрешь и другимъ не даешь! Этакая скотина! Трескай же, дубъ, коли кусокъ самъ тебѣ въ ротъ лѣзеть! Не хочешь, такъ мы возьмемъ! То-то!

Но всему на этомъ свѣтѣ бываетъ конецъ. Будетъ конецъ и этой повѣсти. Кончилась и неопредѣленность отношеній художника съ Лелей.

— Завязка романа произошла въ серединѣ іюня.

Былъ тихій вечеръ. Въ воздухѣ пахло. Соловей пѣлъ во всю ивановскую. Деревья шептались. Въ воздухѣ, выражаясь длиннымъ языкомъ російскихъ беллетристовъ, висѣла нѣга... Луна, разумѣется, тоже была. Для полноты райской поэзіи не хватало только г. Фета, который, стоя за кустомъ, во всеуслышаніе читалъ бы свои плѣнительные стихи.

Леля сидѣла на скамьѣ, куталась въ шаль и задумчиво глядѣла сквозь деревья на рѣчку.

«Неужели я такъ неприступна?»—думала она, и воображенію ея представлялась она сама, величественная, гордая, надменная...

Размышленія ея прервалъ подошедшій папѣ.

— Ну, что?—спросилъ папѣ.—Все то же?

— То же.

— Гм... Чортъ... Когда же все это кончится? Вѣдь мнѣ, матушка, прокормить этихъ лодарей дорого стодить! Пятьсотъ въ мѣсяцъ! Не шутка! На одного пса три гривенника въ день на печенку сходитъ! Коли свататься, такъ свататься, а нѣтъ, такъ и къ чорту и съ братцемъ и съ псомъ! Что же онъ говоритъ, по крайней мѣрѣ? Говорилъ онъ съ тобой? Объяснялся?

— Нѣтъ. Онъ, папа, такой застѣнчивый!

— Застѣнчивый... Знаемъ мы ихъ застѣнчивость! Глаза отводить. Подожди, я его сейчасъ пришлю сюда. Покончи съ нимъ, матушка! Нечего церемониться... Пора. Изволь-ка, матушка, того... Не молоденькая... Фокусы, небось, всё уже знаешь!

Папа исчезъ. Минуть черезъ десять, робко пробираясь кустами сирени, показался художникъ.

— Вы меня звали? — спросилъ онъ Лёлю.

— Звала. Подойдите сюда! Полно вамъ меня бѣгать! Садитесь!

Художникъ тихохонько подошелъ къ Лелѣ и тихохонько сѣлъ на краешекъ скамьи.

«Какой онъ хорошенькій въ темнотѣ!» — подумала Леля и, обратясь къ нему, сказала: — Расскажите-ка что-нибудь! Отчего вы такой скрытный, Федоръ Пантеленчъ? Отчего вы все молчите? Отчего вы никогда не откроете предо мной свою душу? Чѣмъ я заслужила у васъ такое недовѣрие? Миѣ обидно, право... Можно подумать, что мы съ вами не друзья... Начинайте же говорить!

Художникъ откашлялся, порывисто вздохнулъ и сказалъ:

— Миѣ вамъ многое нужно сказать, очень многое!

— Въ чемъ же дѣло стало?

— Боюсь, чтобъ вы не обидѣлись. Елена Тимоѣевна, вы не обидитесь?

Леля захихикала.

«Настала минута! — подумала она. — Какъ дрожить! Какъ онъ дрожить! Поймался, голубчикъ!»

У Лели самой затряслись поджилки. Ее охватилъ столь любезный каждому романисту трепеть.

«Минуть черезъ десять начнутся объятія, поцѣлуи, клятвы... Ахъ!...» — замечтала она и, чтобы подлить масла въ огонь, своимъ обнаженнымъ, горячимъ локтемъ коснулась художника.

— Ну? Въ чемъ же дѣло? — спросила она. — Я не такая недотрога, какъ вы думаете... (пауза). Говорите же!.. (пауза). Скорѣй!!

— Видите ли... Я, Елена Тимоѣевна, ничего въ жизни такъ не люблю, какъ художество... искусство, такъ сказать. Товарищи находятъ, что у меня талантъ, и что изъ меня выйдетъ не плохой художникъ...

— О, это навѣрное! Sans doute!

— Ну, да... Такъ вотъ... Люблю я свое искусство...

Значить... Я предпочитаю жанръ, Елена Тимоѳеевна! Искусство... Искусство, знаете ли... Чудная ночь!

— Да, рѣдкая ночь!—сказала Лѣля и, извиваясь змѣей, съѣжилась въ шали и полузакрыла глаза. (Молодцы женщины по части амурныхъ деталей, страсть, какіе молодцы!).

— Я, знаете ли, — продолжалъ Ногтевъ, ломая свои бѣлые пальцы:—давно уже собрался поговорить съ вами, да все... боялся. Думалъ, что вы разсердитесь... Но вы, если поймете меня, то... не разсердитесь. Вы тоже любите искусство!

— О... Ну да... Какъ же! Искусство вѣдь!

— Елена Тимоѳеевна! Вы знаете, зачѣмъ я здѣсь? Вы не можете догадаться?

Лѣля сильно сконфузилась и, якобы нечаянно, положила свою руку на его локоть...

— Это правда, — продолжалъ, помолчавъ, Ногтевъ:— есть между художниками свиньи... Это правда... Они ни въ грошъ не ставятъ жепскую стыдливость... Но вѣдь я... я вѣдь не такой! У меня есть чувство деликатности. Женская стыдливость есть такая... такая стыдливость, которой negliжировать нельзя!

«Для чего онъ говоритъ мнѣ это?»—подумала Лѣля и спрятала въ шаль свои локти.

— Я не похожъ на тѣхъ... Для меня женщина — святая! Такъ что вамъ бояться нечего... Я не такой, я не такой, что не позволю себѣ чепуху выдѣлывать... Елена Тимоѳеевна! Вы позволите? Да выслушайте, я, ей-Богу, вѣдь искренно, потому что я не для себя, а для искусства! У меня на первомъ планѣ искусство, а не удовлетвореніе скотскихъ инстинктовъ!

Ногтевъ схватилъ ее за руку. Она подалась чуточку въ его сторону.

— Елена Тимоѳеевна! Ангелъ мой! Счастье мое!

— Н...ну?

— Можно васъ попросить?

Лѣля захихикала. Губы ея уже сложились для перваго поцѣлуя.

— Можно васъ попросить? Умоляю! Ей-Богу, для искусства! Вы мнѣ такъ понравились, такъ понравились! Вы та, которую именно мнѣ и нужно! Къ чорту другихъ! Елена Тимоѳеевна! Другъ мой! Будьте моей...

Лѣля вытянулась, готовая пасть въ объятія. Сердце ея застучало.

— Будьте моей...

Художникъ схватилъ ее за другую руку.

Она покорно склонила головку на его плечо. Слезы счастья блеснули на ея рѣсницахъ...

— Дорогая моя! Будьте моей... натурщицей!

Лёля подняла голову.

— Что?

— Будьте моей натурщицей!

Лёля поднялась.

— Какъ? Кѣмъ?

— Натурщицей... Будьте!

— Гм... Только-то?

— Вы меня премного обяжете! Вы дадите мнѣ возможность написать картину и... какую картину!

Лёля поблѣднѣла. Слезы любви вдругъ обратились въ слезы отчаянія, злобы и другихъ нехорошихъ чувствъ.

— Такъ вотъ... что?—проговорила она, трясясь всѣмъ тѣломъ.

Блѣдный художникъ! Ярко-красное зарево окрасило одну изъ его блѣлыхъ щекъ, когда звуки звонкой пощечины понеслись, мѣшаясь съ собственнымъ эхомъ, по темному саду. Ногтевъ почесагъ щеку и остолбенѣлъ. Съ нимъ приключился столбнякъ. Онъ почувствовалъ, что онъ проваливается сквозь всю вселенную... Изъ глазъ посыпались молніи...

Лёля, трепещущая, блѣдная, какъ смерть, ошалѣвшая, сдѣлала шагъ впередъ, покачнулася. По ней точно колесомъ проѣхали. Собравшись съ силами, она невѣрной, больной походкой направилась къ дому. Ноги ея подгибались, изъ глазъ сыпались искры, руки тянулись къ волосамъ съ явнымъ намѣреніемъ вцѣпиться въ оныя...

До дома оставалось только нѣсколько сажень, когда ей еще разъ пришлось поблѣднѣть. На ея пути, около бесѣдки, увитой дикимъ виноградомъ, стоялъ, широко растопыривъ руки, пьяный, мордастый Иванъ, непричесанный, съ разстегнутой жилеткой. Онъ глядѣлъ въ Лёлино лицо, сардонически ухмылялся и осквернялъ воздухъ мѣфистофелевскимъ «ха-ха». Онъ схватилъ Лёлю за руку.

— Подите прочь! — прошипѣла Лёля и отдернула руку...

Скверная исторія!

ИСПОВѢДЬ или ОЛЯ, ЖЕНЯ, ЗОЯ.

Вы, ma chère, мой дорогой, незабвенный другъ, въ своемъ миломъ письмѣ спрашиваете меня, между прочимъ, почему я до сихъ поръ не женатъ, несмотря на свои 39 лѣтъ?

Моя дорогая! Я всей душой люблю семейную жизнь и не женатъ потому только, что канальѣ-судьбѣ не угодно было, чтобъ я женился. Жениться собирался я разъ 15 и не женился потому, что все на этомъ свѣтѣ, въ особенности же моя жизнь, подчиняется случаю, все зависитъ отъ него! Случай—деспотъ. Привожу нѣсколько случаевъ, благодаря которымъ я до сихъ поръ провожу свою жизнь въ презрѣнномъ одиночествѣ.

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ.

Было восхитительное июньское утро. Небо было чисто, какъ самая чистая берлинская лазурь. Солнце играло въ рѣкѣ и скользило своими лучами по росистой травѣ. Рѣка и зелень, казалось, были осыпаны дорогими алмазами.

Птицы пѣли, какъ по нотамъ... Мы шли по аллеякѣ, усыпанной желтымъ песочкомъ, и счастливыми грудями вдыхали въ себя ароматы июньскаго утра. Деревья смотрѣли на насъ такъ ласково, шептали намъ что-то такое, должно-быть, очень хорошее, нѣжное... Рука Оли Груздовской (которая теперь за сыномъ нашего исправника) покоилась на моей рукѣ, и ея крошечный мизинчикъ дрожалъ на моемъ большомъ пальцѣ... Щечки ея горѣли, а глаза... О, ma chère, это были чудные глаза! Сколько прелести, правды, невинности, веселости, дѣтской наивности свѣтилось въ этихъ голубыхъ глазахъ!

Я любовался ея бѣлокуроыми косами и маленькими слѣдами, которые оставляли на песокѣ ея крошечныя ножки...

— Жизнь свою, Ольга Максимовна, посвятилъ я наукѣ,—шепталъ я, боясь, чтобы ея мизинчикъ не сползъ съ моего большого пальца.—Въ будущемъ ожидаетъ меня профессорская кафедра... На моей совѣсти вопросы... научные... Наука, ты все! Жизнь трудовая, полная заботъ, высокихъ... какъ ихъ... Ну, однимъ словомъ, я буду профессоромъ... Я честенъ, Ольга Максимовна... Я не богатъ, но... Мнѣ нужна подруга, которая бы своимъ присутвіемъ... (Оля сконфузилась и опустила глазки; мизинчикъ задрожалъ) которая бы своимъ присутвіемъ... Оля! Взгляните на небо! Оно чисто... но и жизнь моя такъ же чиста, безпредѣльна...

Не успѣлъ мой языкъ выкарабкаться изъ этой чуши, какъ Оля подняла голову, рванула отъ меня свою руку и хлопала въ ладоши. Навстрѣчу намъ шли гуси и гусята. Оля побѣжала къ гусямъ и, звонко хохоча, протянула къ нимъ свои ручки... О, что это были за ручки, *ma chère!*

— Теръ... теръ... теръ... — заговорили гуси, поднимая шею и нежкося поглядывая на Олю.

— Гуся, гуся, гуся! — закричала Оля и протянула руку за гусенкомъ.

Гусенокъ былъ уменъ не по лѣтамъ. Онъ побѣжалъ отъ Олиной руки къ своему папашѣ, очень большому и глупому гусаку, и, повидимому, пожаловался ему. Гусака растопырилъ крылья. Шалунья Оля потянулась за другимъ гусенкомъ. Въ это время случилось нѣчто ужасное. Гусака пригнулъ шею къ землѣ и, шипя, какъ змѣя, грозно зашипалъ къ Олѣ. Оля взвизгнула и побѣжала назадъ. Гусака за ней. Оля оглянулась, взвизгнула сильнѣй и поблѣднѣла. Ея красное дѣвичье личико исказилось ужасомъ и отчаяніемъ. Казалось, что за ней гналось трпста чертей.

Я поспѣшилъ къ ней на помощь и ударилъ по головѣ гусака тростью. Негодяю-гусаку удалось-таки ущипнуть ее за кончикъ платья. Оля съ большими глазами, съ неказившимся лицомъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, упала мнѣ на грудь...

— Какая вы трусиха!—сказалъ я.

— Побейте гуску!—сказала она и заплакала...

Сколько не наивнаго, не дѣтскаго, а пидотскаго было

въ этомъ испугавшемся личикѣ! Не терплю, та chère, малодушія! Не могу вообразить себя женатымъ на малодушной, трусливой женщинѣ!

Гусакъ испортилъ все дѣло... Успокоивши Олю, я ушелъ домой, и малодушное до идіотства личико застряло въ моей головѣ... Оля потеряла для меня всю прелесть. Я отказался отъ нея.

СЛУЧАЙ ДРУГОЙ.

Вы, конечно, знаете, мой другъ, что я писатель. Боги зажгли въ моей груди священный огонь, и я считаю себя не въ правѣ не братья за перо. Я жрецъ Аполлона... Всѣ, до единого, біенія сердца моего, всѣ вздохи мои, короче— всего себя я отдамъ на алтарь музъ. Я пишу, пишу, пишу... Отнимите у меня перо — и я померъ. Вы смѣетесь, не вѣрите... Клянусь, что такъ!

Но вы, конечно, знаете, та chère, что земной шаръ— плохое мѣсто для искусства. Земля велика и обильна, но писателю жить въ ней негдѣ. Писатель—это вѣчный сирота, изгнанникъ, козель отпущенія, беззащитное дитя... Человѣчество раздѣляю на двѣ части: на писателей и завистниковъ. Первые пишутъ, а вторые умираютъ отъ зависти и строятъ разныя пакости первымъ. Я погибъ, погибаю и буду погибать отъ завистниковъ. Они испортили мою жизнь. Они забрали въ руки бразды правленія въ писательскомъ дѣлѣ, именуютъ ихъ редакторами, издателями, и всѣми силами стараются утопить нашу братію. Проклятіе имъ!!

Слушайте...

Нѣкоторое время я ухаживалъ за Женей Шииковой. Вы, конечно, помните это милое, черноволосое, мечтательное дитя... Она теперь замужемъ за вашимъ сосѣдомъ Карломъ Ивановичемъ Ванце (à propos: по-нѣмецки Ванце значить... клопъ. Не говорите этого Женѣ, она обидится). Женя любила во мнѣ писателя. Она такъ же глубоко, какъ и я, вѣрила въ мое назначеніе. Она жила моими надеждами. Но она была молода! Она не могла понимать еще упомянутаго раздѣленія человѣчества на двѣ части! Она не вѣрила въ это раздѣленіе! Не вѣрила, и мы въ одинъ прекрасный день... погибли.

Я жилъ на дачѣ у Шииковыхъ. Меня считали женихомъ, Женю невѣстой. Я писалъ,—она читала. Чтò это былъ за критикъ, та chère! Она была справедлива, какъ

Аристидъ, и строга, какъ Катонъ. Произведенія свои посвящала я ей... Одно изъ этихъ произведеній сильно понравилось Женѣ. Женя захотѣла видѣть его въ печати. Я послалъ его въ одинъ изъ юмористическихъ журналовъ. Послалъ перваго іюня и отвѣта ожидалъ черезъ двѣ недѣли. Наступило 15 іюня. Мы съ Женей получили желанный нумеръ. Поспѣшно распечатали его и прочли въ почтовомъ ящикѣ отвѣтъ. Она покраснѣла и поблѣднѣла. Въ почтовомъ ящикѣ напечатано было по моему адресу слѣдующее: «Село Шлендово. Г. Б—ву. Таланта у васъ ни капельки. Чортъ знаетъ, что нагородили! Не тратьте марокъ понапрасну и оставьте насъ въ покоѣ. Займитесь чѣмъ-нибудь другимъ».

Ну, и глупо... Сейчасъ видно, что дураки писали.

— Ммммм...—промычала Женя.

— Какіе мерр-зав-цы!!! — пробормотала я. — Каково? И вы, Евгенія Марковна, станете теперь улыбаться моему раздѣленію?

Женя задумалась и зѣвнула.

— Чтò жь?—сказала она:—можетъ-быть, у васъ и на самомъ таки дѣлѣ нѣтъ таланта! Имъ это лучше знать. Въ прошломъ году Федоръ Федосеевичъ со мной цѣлое лѣто рыбу удилъ, а вы все пишете, пишете. Какъ это скучно!

Каково? И это послѣ бессонныхъ ночей, проведенныхъ вмѣстѣ надъ писаньемъ и чтеньемъ! Послѣ обоюднаго жертвоприношенія музамъ.

Женя охладѣла къ моему писательству, а слѣдовательно и ко мнѣ. Мы разошлись. Иначе и быть не могло...

СЛУЧАЙ ТРЕТІЙ.

Вы, конечно, знаете, мой незабвенный другъ, что я страшно люблю музыку. Музыка моя страсть, стихія... Имена Моцарта, Бетховена, Шопена, Мендельсона, Гуно—имена не людей, а гигантовъ! Я люблю классическую музыку. Оперетку я отрицаю, какъ я отрицаю водевиль. Я одинъ изъ постояннѣйшихъ посѣтителей оперы. Хохловъ, Кочетова, Варцаль, Корсовъ... дивные люди! Какъ я жалѣю, что я не знакомъ съ пѣвцами! Будь я знакомъ съ ними, я въ благодарностяхъ излилъ бы предъ ними свою душу. Въ прошлую зиму я особенно часто ходилъ на оперу. Ходилъ я не одинъ, а съ семействомъ Песпиновыхъ. Жаль, что вы не знакомы съ этимъ милымъ

семейством! Пепсиновы каждую зиму абонируютъ ложу. Они преданы были музыкѣ всей душой... Украшеніемъ этого милаго семейства служить дочь полковника Пепсинова, Зоя. Что за дѣвушка, моя дорогая! Однѣ ея розовыя губки способны свести съ ума такого чело-вѣка, какъ я! Стройна, красива, умна... Я любилъ ее... Любилъ бѣшено, страстно, ужасно! Кровь моя кипѣла, когда я сидѣлъ, бывало, съ нею рядомъ. Вы улыбаетесь, та сѣге... Улыбайтесь! Вамъ не знакома, чужда любовь писателя... Любовь писателя—Этна плюсъ Везувій. Зоя любила меня. Ея глаза всегда покоились на моихъ глазахъ, которые постоянно были устремлены на ея глаза... Мы были счастливы. До свадьбы былъ одинъ только шагъ...

Но мы погибли.

Давали «Фауста». «Фауста», моя дорогая, написалъ Гуно, а Гуно—величайшій музыкантъ. Идя въ театръ, я порѣшилъ дорогой объясниться съ Зоей въ любви во время перваго дѣйствія, котораго я не понимаю. Великій Гуно напрасно написалъ первое дѣйствіе!

Спектакль начался. Я и Зоя уединились въ фойе. Она сидѣла возлѣ меня и, дрожа отъ ожиданія и счастья, машинально играла вѣеромъ. При вечернемъ освѣщеніи, та сѣге, она прекрасна, ужасно прекрасна!

— Увертюра,—объяснялся я въ любви:—навела меня на нѣкоторыя размышленія. Зоя Егоровна... Столько чув-ства, столько... Слушаешь и жаждешь... Жаждешь чего-то такого...

Я икнулъ и продолжалъ:

— Чего-то такого особеннаго... Жаждешь неземнаго... Любви? Страсти? Да, должно-быть, любви... (Я икнулъ.) Да, любви...

Зоя улыбнулась, сконфузилась и усиленно замахала вѣеромъ. Я икнулъ. Терпѣть не могу икоты!

— Зоя Егоровна! Скажите, умоляю васъ! Вамъ знакомо это чувство? (Я икнулъ). Зоя Егоровна! Я жду отвѣта!

— Я... я... васъ не понимаю...

— На меня напала икота... Пройдетъ... Я говорю о томъ всеобъемлющемъ чувствѣ, которое... Чортъ знаетъ что!

— Вы выпейте воды!

Объяснюсь, да тогда ужъ и схожу въ буфетъ»,—подумалъ я и продолжалъ:

— Я скажу коротко. Зоя Егоровна... Вы, конечно, ужь замѣтили...

Я икнулъ и съ досады на икоту укусилъ себя за языкъ.

— Вы, конечно, замѣтили (я икнулъ)... Вы меня знаете уже около году... Гм... Я честный человекъ, Зоя Егоровна! Я труженикъ! Я не богатъ, это правда, но...

Я икнулъ и вскочилъ.

— Вы выпейте воды, — посоветовала Зоя.

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ около дивана, подавилъ себѣ пальцами горло и опять икнулъ. Ма сѣге, я былъ въ ужаснѣйшемъ положеніи! Зоя поднялась и направилась къ ложѣ. Я за ней. Впуская ее въ ложу, я икнулъ и побѣжалъ въ буфетъ. Выпилъ я воды стакановъ пять, и икота какъ будто бы немножко утихла. Я выкурилъ папиросу и отправился въ ложу. Братъ Зои поднялся и уступилъ мнѣ свое мѣсто, мѣсто около моей Зои. Я сѣлъ и тотчасъ же... икнулъ. Прошло минутъ пять—я икнулъ, икнулъ какъ-то особенно, съ хрипомъ. Я поднялся и сталъ у дверей ложы. Лучше, та сѣге, икать у дверей, чѣмъ надъ ухомъ любимой женщины! Икнулъ. Гимназистъ изъ сосѣдней ложи посмотрѣлъ на меня и громко засмѣялся... Съ какимъ наслажденіемъ онъ, каналья, засмѣялся! Съ какимъ наслажденіемъ я оторвалъ бы ухо съ корнемъ у этого молокососа-мерзавца! Смѣется въ то время, когда на сценѣ покоитъ великаго «Фауста»! Кошунство! Нѣтъ, та сѣге, когда мы были дѣтьми, мы были много лучше. Кляня дерзкаго гимназиста, я еще разъ икнулъ... Въ сосѣднихъ ложахъ засмѣялись.

— Bis! — прошипѣлъ гимназистъ.

— Чортъ знаетъ что! — пробормоталъ полковникъ Пепиновъ мнѣ на ухо.—Могли бы и дома понкаты, сударь!

Зоя покраснѣла. Я еще разъ икнулъ и, бѣшено стиснувъ кулаки, выбѣжалъ изъ ложи. Началъ я ходить по коридору. Хожу, хожу, хожу—и все икаю. Прошло первое дѣйствіе, прошло второе, а я все икаю. Чего я только ни ѣлъ, чего ни пилъ! Въ началѣ четвертаго акта я плюнулъ и уѣхалъ домой. Приѣхавши домой, я, какъ на зло, пересталъ икать... Я ударилъ себя по затылку и воскликнулъ:

— Икай теперь! Теперь можешь икать, освистанный женихъ! Нѣтъ, ты не освистанный! Ты не освисталъ себя, а... обѣикалъ!

На другой день отправился я, по обыкновенію, къ Пепсиновымъ. Зоя не вышла обѣдать и велѣла передать мнѣ, что видѣться со мною по болѣзни не можетъ, а Пепсиновъ тянулъ длинную рѣчь о томъ, что нѣкоторые молодые люди не умѣютъ держать себя прилично въ обществѣ... Болванъ! Онъ не знаетъ того, что органы, производящіе икоту, не находятся въ зависимости отъ волевыхъ стимуловъ. Стимулъ, та сѣре, значить двигатель.

— Вы отдали бы свою дочь, если бы таковая имѣлась у васъ, — обратился ко мнѣ Пепсиновъ послѣ обѣда: — за человѣка, который позволяетъ себѣ въ обществѣ заниматься отрыжкой? А? что-съ?

— Отдалъ бы... — пробормоталъ я.

— Напрасно-съ!

Зоя для меня погибла. Она не сумѣла простить мнѣ икоты. Я погибъ.

Не описать ли вамъ еще и остальные 12 случаевъ?

Описалъ бы, но... довольно! Жилы надулись на моихъ вискахъ, слезы брызжутъ, и ворочается печень... Въ печени, та сѣре, готовится желчь. «Братья-писатели, въ нашей судьбѣ что-то лежитъ роковое!» Позвольте, та сѣре, пожелать вамъ всего лучшаго! Жму вашу руку и шлю поклонъ вашему Полю. Онъ, я слышалъ, хорошій мужъ и хорошій отецъ... Хвала ему! Жаль только, что онъ пьетъ горькую (это не упрекъ, та сѣре!) и читаетъ «Эхо». Будьте здоровы, та сѣре, счастливы и не забывайте, что у васъ есть покорнѣйшій слуга.

1882.

ПЕРЕЖИТОЕ.

(Психологическій этюдъ).

— Былъ Новый годъ. Я вышелъ въ переднюю.

Тамъ, кромѣ швейцара, стояло еще нѣсколько нашихъ: Иванъ Ивановичъ, Петръ Кузьмичъ, Егоръ Сидорычъ... Всѣ пришли расписаться на листѣ, который величаво возлежалъ на столѣ (бумага, впрочемъ, была изъ дешевыхъ, № 8).

Я взглянулъ на листъ. Подписей слишкомъ много и... о, лицемѣріе! О, двуличіе! Гдѣ вы, росчерки, подчерки, закорючки, хвостики? Всѣ буквы кругленькія, ровненькія, гладенькія, точно розовыя щечки. Вижу знакомыя имена, но не узнаю ихъ. Не перемѣнили ли эти господа свои почерки?

Я осторожно умокнулъ перо въ чернильницу, неизвестно чего ради сконфузился, притаилъ дыханіе и осторожно начерталъ свою фамилію. Обыкновенно я никогда въ своей подписи не употреблялъ конечнаго «ера», теперь же употребилъ: началъ и закончилъ.

— Хочешь, я тебя погублю? — услышалъ я около своего уха голосъ и дыханіе Петра Кузьмича.

— Какимъ образомъ?

— Возьму и погублю. Да. Хочешь? Хе-хе-хе...

— Здѣсь нельзя смѣяться, Петръ Кузьмичъ. Не забывайте, гдѣ вы находитесь. Улыбки менѣе чѣмъ уместны. Извините, но я полагаю... Это профанация, неуваженіе, такъ сказать...

— Хочешь, я тебя погублю?

— Какимъ образомъ? — спросилъ я.

— А такимъ... Какъ меня пять лѣтъ тому назадъ фонъ-Кляузенъ погубилъ... Хе-хе-хе. Очень просто... Возьму

около твоей фамилии и поставлю закорючку. Росчеркъ сдѣлаю... Хе-хе-хе! Твою подпись неуважительной сдѣлаю. Хочешь?

Я поблѣднѣлъ. Дѣйствительно, жизнь моя была въ рукахъ этого человѣка съ сизымъ носомъ... Я поглядѣлъ съ боязнью и съ нѣкоторымъ уваженіемъ на его зловѣщіе глаза...

Какъ мало нужно для того, чтобы скovyрнуть человека!

— Или капну чернилами около твоей подписи. Кляксу сдѣлаю... Хочешь?

Наступило молчаніе... Онъ—съ сознаниемъ своей силы, величавый, гордый, съ губительнымъ ядомъ въ рукѣ, я—съ сознаниемъ своего безсилія, жалкій, готовый погибнуть—оба молчали... Онъ впился въ мое блѣдное лицо своими буркалами, я избѣгалъ его взгляда...

— Я пошутилъ, — сказалъ онъ наконецъ. — Не бойся.

— О, благодарю васъ! — сказалъ я и, полный благодарности, пожалъ ему руку.

— Пошутилъ... А все-таки могу... Помни... Ступай... Покедова пошутилъ... А тамъ, что Богъ дастъ...

1882.

РЯЖЕННЫЕ.

Вечеръ. По улицѣ идетъ нестрая толпа, состоящая изъ пьяныхъ тулуновъ и кацавеекъ. Смѣхъ, говоръ и приплясыванье. Впереди толпы прыгаетъ маленькій солдатикъ въ старой шинелишкѣ и съ шапкой набекрень.

Навстрѣчу толпѣ идетъ «унтеръ».

— Ты отчего же мнѣ чести не отдаешь? — набрасывается унтеръ на маленькаго солдатика. — А? Почему? Постой! Который ты это? Зачѣмъ?

— Миленкѣй, да вѣдь мы ряженые! — говорить бабьимъ голосомъ солдатикъ, и толпа вмѣстѣ съ унтеромъ закатывается громкимъ смѣхомъ...

...Въ ложѣ сидитъ красивая, полная барыня; лѣта ея опредѣлить трудно, но она еще молода и долго еще будетъ молодой... Одѣта она роскошно. На бѣлыхъ рукахъ ея на массивному браслету, на груди брильянтовая брошь. Около нея лежитъ тысячная шубка. Въ коридорѣ ожидаетъ ее лакей съ галунами, а на улицѣ пара вороныхъ и сани съ медвѣжьей полостью... Сытое, красивое лицо и обстановка говорятъ: «я счастлива и богата». Но не вѣрьте, читатель!

«Я ряженая, — думаетъ она. — Завтра или послѣ-завтра баронъ сойдется съ Nadine и сниметъ съ меня все это...»

...За карточнымъ столомъ сидитъ толстякъ во фракѣ, съ трехъэтажнымъ подбородкомъ и бѣлыми руками. Около его рукъ куча денегъ. Онъ проигрываетъ, но не унываетъ. Напротивъ, онъ улыбается. Ему вѣдь ничего не стбитъ проиграть тысячу, другую. Въ столовой нѣсколько слугъ готовятъ для него устрицъ, шампанское и фазановъ. Онъ любитъ хорошо поужинать. Послѣ ужина онъ поѣдетъ въ каретѣ къ ней. Она ждетъ его. Не правда ли, ему хорошо живется? Онъ счастливъ! Но

посмотрите какая чепуха шевелится въ его ожирѣвшихъ мозгахъ:

«Я ряженный. Наѣдетъ ревизія—и всё узнаютъ, что я только ряженный!..»

...На судѣ адвокатъ защищаетъ подсудимую... Это—хорошенькая женщина съ до-нельзя печальнымъ лицомъ. невинная! Видитъ Богъ, что она невинна! Глаза адвоката горятъ, щеки его пылаютъ, въ голосѣ слышны слезы... Онъ страдаетъ за подсудимую, и если ее обвинять, онъ умретъ съ горя!.. Публика слушаетъ его, замираетъ отъ наслажденія и боится, чтобъ онъ не кончился. «Онъ поэтъ», — шепчутъ слушатели. Но онъ только нарядился поэтомъ.

«Дай мнѣ истецъ сотней больше. я унекъ бы ее! — думаетъ онъ. — Въ роли обвинителя я былъ бы эффективей!»

...По деревнѣ идетъ пьяный мужичонка, поетъ и визжитъ на гармоникѣ. На лицѣ его пьяное умиленіе. Онъ хихикаетъ и подплясываетъ. Ему весело живется, не правда ли? Нѣтъ, онъ ряженный.

«Жрать хочется», — думаетъ онъ.

...Молодой профессоръ-врачъ читаетъ вступительную лекцію. Онъ увѣряетъ, что нѣтъ больше счастья, какъ служить наукѣ. «Наука — все! — говоритъ онъ: — она — жизнь!» И ему вѣрятъ... Но его назвали бы ряженнымъ, если бы слышали, что онъ сказалъ своей женѣ послѣ лекціи. Онъ сказалъ ей:

— Теперь я, матушка, профессоръ. У профессора практика вдесятеро больше, чѣмъ у обыкновеннаго врача. Теперь я рассчитываю на двадцать пять тысячъ въ годъ.

...Шесть подъѣздовъ, тысяча огней, толпа, жандармы, барышники. Это театръ. Надъ его дверями, какъ въ «Эрмитажѣ» у Лентовскаго, написано: «сатира и мораль». Здѣсь платятъ большія деньги. ищутъ длинныя рецензіи, много аплодируютъ и рѣдко ищкаютъ... Храмъ.

Но этотъ храмъ ряженный. Если вы снимете «сатиру и мораль», то вамъ нетрудно будетъ прочесть:

«Капканъ и зубоскальство».

ГАДАЛЬЩИКИ и ГАДАЛЬЩИЦЫ.

(Подновогоднія картинки).

Старушка-нянюшка гадаеть папашѣ-интенданту.

— Дорога, — говоритъ она.

— Куда?

Нянюшка машеть рукой на сѣверь. Лицо папаша блѣднѣеть.

— Вы ѣдете, — добавляетъ старуха: — а у васъ на колѣняхъ мѣшокъ съ деньгами.

По лицу папаша пробѣгаетъ сіяніе.

...Чинуша сидитъ за столомъ и при свѣтѣ двухъ свѣчей глядитъ въ зеркало. Онъ гадаеть: какого роста, цвѣта и темперамента будетъ его новый, еще пока не назначенный начальникъ. Онъ глядитъ въ зеркало часъ, другой, третій... Въ глазахъ его бѣгаютъ мурашки, прыгаютъ палочки, летаютъ перья, а начальника нѣтъ какъ нѣтъ! Ничего не видно, ни начальниковъ ни подчиненныхъ. Проходитъ четвертый часъ, пятый... Наконецъ ему надоѣдаетъ ожидать новаго начальника. Онъ встаетъ, машеть рукой и вздыхаетъ.

— Мѣсто остается вакантнымъ, значитъ! — говоритъ онъ. — А это не хорошо. Нѣтъ больше зла, чѣмъ безначаліе!

...Барышня стоитъ на дворѣ за воротами и ждетъ прохожаго. Ей нужно узнать, какъ будутъ звать ея суженаго. Идетъ кто-то. Она быстро отворяетъ калитку и спрашиваетъ:

— Какъ васъ звать?

Въ отвѣтъ на свой вопросъ она слышитъ мычанье, и сквозь полуотворенную калитку видитъ большую темную голову... На головѣ рога...

«Пожалуй, вѣрио, — думаетъ барышня. — Разница только въ мордѣ».

...Редакторъ ежедневной газеты садится погадать о судьбахъ своего дѣтища.

— Оставьте! — говорятъ ему. — Охота вамъ себя разстраивать! Бросьте!

Редакторъ не слушаетъ и глядитъ въ кофейную гущу...

— Рисунковъ много, — говоритъ онъ. — Да чортъ ихъ разбереть... Это рукавицы... Это на ежа похоже... А вотъ носъ... Точно у моего Макара... Теленокъ вотъ... Ничего не разберу!

...Докторша гадаетъ передъ зеркаломъ и видитъ... гробы.

«Что-нибудь изъ двухъ, — думаетъ она. — Или кто-нибудь умретъ, или у моего мужа въ этомъ году будетъ большая практика...»

1883.

МОШЕННИКИ ПОНЕВОЛЪ.

(Новогодняя побрехушка)

У Захара Кузьмича Дядечкина вечеръ. Встрѣчаютъ Новый годъ и поздравляютъ съ днемъ ангела хозяйку, Меланью Тихоновну.

Гостей много. Народъ все почтенный, солидный, трезвый и положительный. Прохвоста ни одного. На лицахъ умиленіе, пріятность и чувство собственного достоинства. Въ залѣ на большомъ клеенчатомъ диванѣ сидятъ квартирный хозяинъ Гусевъ и лавочникъ Размахаловъ, у котораго Дядечкины забираютъ по книжкѣ. Толкуютъ они о женихахъ и дочеряхъ.

— Нонче трудно найти человѣка, — говоритъ Гусевъ. — Который непьющій и обстоятельный человѣкъ, который работающій... Трудно!

— Главное въ домѣ — порядокъ, Алексѣй Василичъ! Этого не будетъ, когда въ домѣ не будетъ того... который... въ домѣ порядокъ...

— Порядка коли нѣтъ въ домѣ, тогда... все этакъ... Глупостевъ много развелось на этомъ свѣтѣ... Гдѣ быть тутъ порядку? Гм...

Около нихъ на стульяхъ сидятъ три старушки и съ умиленіемъ глядятъ на ихъ рты. Въ глазахъ у нихъ написано удивленіе «уму-разуму». Въ углу стоитъ кумъ Гурій Марковичъ и разсматриваетъ образа. Въ хозяйской спальнѣ шумъ. Тамъ барышни и кавалеры играютъ въ лото. Ставка — копейка. Около стола стоитъ гимназистъ перваго класса Коля и плачетъ. Ему хочется поиграть въ лото, а его не пускаютъ за столъ. Развѣ онъ виноватъ, что онъ маленькій, и что у него нѣтъ копеек?

— Не реви, дуракъ!—увѣщаютъ его.—Ну, что ре-
вешь? Хочешь, чтобы мамаша высѣкла?

— Это кто реветъ? Колька?—слышится изъ кухни го-
лосъ маменьки.—Мало я его порола, пострѣла... Вар-
вара Гурьевна, дерните его за ухо!

На хозяйской постели, покрытой полинялымъ ситце-
вымъ одѣяломъ, сидятъ двѣ барышни въ розовыхъ
платяхъ. Передъ ними стоитъ малый лѣтъ двадцати
трехъ, служашій въ страховомъ обществѣ — Копайскій,
en face очень похожій на кота. Онъ ухаживаетъ.

— Я не намѣренъ жениться, — говорить онъ, рпусаясь
и оттягивая пальцами отъ шеи высокіе рѣзущіе ворот-
нички. — Женщина есть лучезарная точка въ умѣ че-
ловѣческомъ, но она можетъ погубить человѣка. Злостное
существо!

— А мужчины? Мужчина не можетъ любить. Грубости
всякія дѣлаетъ.

— Какъ вы наивны! Я не циникъ и не скептикъ, а
все-таки понимаю, что мужчина завсегда будетъ стоять
на высшей точкѣ относительно чувствъ.

Изъ угла въ уголь, какъ волки въ клѣткѣ, свуютъ
самъ Дядечкинъ и его первенецъ Гриша. У нихъ души
горятъ. За обѣдомъ они сильно выпили и теперь
страстно желаютъ опохмелиться... Дядечкинъ идетъ на
кухню. Тамъ хозяйка посыпаетъ шпротъ толченымъ саха-
ромъ.

— Малаша, — говорить Дядечкинъ. — Закуску бы по-
дать... Гостямъ закусить бы...

— Подождутъ... Сейчасъ выпьете и съѣдите все, а что
я подамъ въ двѣнадцать часовъ? Не помрете. Уходи...
Не вертись передъ носомъ!

— По рюмочкѣ бы только, Малаша... Никакого тебѣ
отъ этого дефицита не будетъ... Можно?

— Наказаніе! Уйди, тебѣ говорить! Ступай съ гостями
посиди! Чего въ кухнѣ толчешься?

Дядечкинъ глубоко вздыхаетъ и выходитъ изъ кухни.
Онъ идетъ поглядѣть на часы. Стрѣлки показываютъ во-
семь минутъ двѣнадцатаго. До желаннаго мига остается
еще пятьдесятъ двѣ минуты. Это ужасно! Ожиданіе вы-
пивки—самое тяжелое изъ ожиданій. Лучше пять часовъ
прождать на морозѣ поѣздъ, чѣмъ пять минутъ ожидать
выпивки... Дядечкинъ съ ненавистью глядитъ на часы и,
походивъ немного, подвигаетъ большую стрѣлку на пять

минуть... А Гриша? Если Гришѣ не дадутъ сейчасъ выпить, то онъ уйдетъ въ трактиръ и тамъ выпьетъ. Умирать отъ тоски онъ не согласенъ...

— Маменька, — говоритъ онъ: — гости сердятся, что вы закуски не подаете. Свинство одно только... Голодомъ морить!.. Дали бы по рюмкѣ!

— Подождите... Мало осталось... Скоро ужъ... Не толчись на кухиѣ.

Гриша хлопаетъ дверью и идетъ въ сотый разъ поглядѣть на часы. Большая стрѣлка безжалостна! Она почти на прежнемъ мѣстѣ.

— Отстаютъ! — утѣшаетъ себя Гриша и указательнымъ пальцемъ подвигаетъ стрѣлку впередъ на семь минутъ.

Мимо часовъ бѣжитъ Коля. Онъ останавливается передъ ними и начинаетъ считать время... Ему ужасно хочется поскорѣй дожить до того момента, когда крикнуть «ура»! Стрѣлка своею неподвижностью колетъ его въ самое сердце. Онъ взбирается на стулъ, робко оглядывается и похищаетъ у вѣчности пять минутъ.

— Подите, поглядите, келерь-етиль? — посылаетъ одна изъ барышень Копайскаго. — Я умираю отъ нетерпѣнія. Новый годъ вѣдь! Новое счастье.

Копайскій шаркаетъ обѣими ногами и мчится къ часамъ.

— Чортъ подери, — бормочетъ онъ, глядя на стрѣлки. — Какъ еще долго! А жрать страсть какъ хочется... Катьку безпремѣнно поцѣлую, когда «ура» крикнуть.

Копайскій отходить отъ часовъ, останавливается... Подумавъ немного, онъ ворочается и укорачиваетъ старый годъ на шесть минутъ. Дядечкинъ выпиваетъ два стакана воды, но... горитъ душа! Онъ ходитъ, ходитъ, ходитъ... Жена то и дѣло гонить его изъ кухни. Бутылки, стоящія на окнѣ, рвутъ его за душу. Что дѣлать! Нѣтъ силъ терпѣть! Онъ опять хватается за послѣднее средство. Часы къ его услугамъ. Онъ идетъ въ дѣтскую, гдѣ висятъ часы, и наталкивается на картину, непріятную его родительскому сердцу: передъ часами стоитъ Гриша и двигаетъ стрѣлку.

— Ты... ты... ты что это дѣлаешь? А? Зачѣмъ ты стрѣлку подвинулъ? Дуракъ ты этакій! Зачѣмъ это? А?

Дядечкинъ кашляетъ, мнется, страшно морщится и машетъ рукой.

— Зачѣмъ? А-а-а... Да двигай же ее, чтобъ она сдохла, подлая! — говоритъ онъ и, оттолкнувъ сына отъ часовъ, подвигаетъ стрѣлку.

До Нового года остается одиннадцать минутъ. Панаша и Гриша идутъ въ залу и начинаютъ готовить столъ.

— Малаша! — кричитъ Дядечкинъ. — Сейчасъ Новый годъ!

Маланья Тихопова выбѣгаетъ изъ кухни и идетъ провѣрить супруга... Она долго глядитъ на часы: мужъ не вретъ.

— Ну, какъ тутъ быть? — шепчетъ она. — А вѣдь у меня еще горошекъ для ветчины не сварился! Гм... Наказаніе! Какъ я имъ подамъ?

И, подумавъ немного, Маланья Тихопова дрожащей рукой двигаетъ большую стрѣлку назадъ. Старый годъ обратно получаетъ двадцать минутъ.

— Подождутъ! — говоритъ хозяйка и бѣжитъ въ кухню.

1883.

ДВОЕ ВЪ ОДНОМЪ.

Не вѣрьте этимъ іудамъ, хамелеонамъ! Въ наше время легче потерять вѣру, чѣмъ старую перчатку. — и я потерялъ!

Былъ вечеръ. Я вѣхалъ на конкѣ. Миѣ, какъ лицу высокопоставленному, не подобаешь ѣздить на конкѣ, но на этотъ разъ я былъ въ большой шубѣ и могъ спрятаться въ куній воротникъ. Да и дешевле, знаете... Несмотря на позднее и холодное время, вагонъ былъ биткомъ набитъ. Меня никто не узналъ. Куній воротникъ дѣлалъ изъ меня incognito. Я вѣхалъ, дремалъ и разматривалъ сихъ малыхъ...

«Нѣтъ, это не онъ! — думалъ я, глядя на одного маленькаго человѣчка въ заячьей шубенкѣ. — Это не онъ! Нѣтъ, это онъ! Онъ!»

Думалъ я, вѣрилъ и не вѣрилъ своимъ глазамъ...

Человѣчекъ въ заячьей шубенкѣ ужасно походилъ на Ивана Капитоныча, одного изъ моихъ канцелярскихъ... Иванъ Капитонычъ—маленькое, пришибленное, приплюснутое созданіе, живущее для того только, чтобы поднимать уроненные платки и поздравлять съ праздникомъ. Онъ молодъ, но спина его согнута въ дугу, колѣни вѣчно подогнуты, руки запачканы и по швамъ... Лицо его точно дверью прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оно кисло и жалко; глядя на него, хочется пить «Лучинушку» и ныть. При видѣ меня онъ дрожитъ, блѣднѣетъ и краснѣетъ, точно я съѣсть его хочу, или зарѣзать, а когда я его распекаю—онъ зябнетъ и трясется всеми членами.

Приниженнѣе, молчаливѣе и ничтожнѣе его я не знаю никого другого. Даже и животныхъ такихъ не знаю, которыхъ были бы тише его...

Челсвѣчекъ въ заячьей шубенкѣ сильно напоминалъ мнѣ этого Ивана Капитоныча: совсѣмъ онъ! Только челсвѣчекъ не былъ такъ согнутъ, какъ тотъ, не казался пришибленнымъ, держалъ себя развязно и, что возмутительнѣе всего, говорилъ съ сосѣдомъ о политикѣ. Его слушала весь вагонъ.

— Гамбетта померъ! — говорилъ онъ, вертясь и махая руками. — Это Бисмарку на руку. Гамбетта вѣдь былъ себѣ на умѣ! Онъ воевалъ бы съ нѣмцемъ и взялъ бы контрибуцію, Иванъ Матвѣичъ! Потому что это былъ гений! Онъ былъ французъ, но у него была русская душа! Талантъ!

Ахъ, ты, дрянъ этакая!

Когда кондукторъ подошелъ къ нему съ билетами, онъ оставилъ Бисмарка въ покоѣ.

— Отчего это у васъ въ вагонѣ такъ темно? — набросился онъ на кондуктора. — У васъ свѣчей нѣтъ, что ли? Чтѣ это за беспорядки? Проучить васъ некому! За границей вамъ задали бы! Не публика для васъ, а вы для публики! Чортъ возьми! Не понимаю, чего это начальство смотритъ!

Черезъ минуту онъ требовалъ отъ насъ, чтобы мы всѣ подвинулись.

— Подвигитесь! Вамъ говорятъ! Дайте мадамъ мѣсто! Будьте повѣжливей! Кондукторъ! Подите сюда, кондукторъ! Вы деньги берете, дайте же мѣсто! Это подло!

— Эдѣсь курить не велѣно! — крикнулъ ему кондукторъ.

— Кто это не велѣлъ? Кто имѣетъ право? Это посягательство на свободу! Я никому не позволю посягать на свою свободу! Я свободный человекъ!

«Ахъ ты тварь этакая!» — Я глядѣлъ на его рожицу и глазамъ не вѣрилъ. — Нѣтъ, это не онъ! Не можетъ быть! Тотъ не знаетъ такихъ словъ, какъ «свобода» и «Гамбетта».

— Нечего сказать, хороши порядки! — сказалъ онъ, бросая папиросу. — Живи вотъ съ такими господами! Они помѣшаны на формѣ, на буквѣ! Формалисты, филистеры! Душата!

Я не выдержалъ и захохоталъ. Услышавъ мой смѣхъ, онъ мелькомъ взглянулъ на меня, иголось его дрогнуло. Онъ узналъ мой смѣхъ и, должно-быть, узналъ мою шубу. Спина его мгновенно согнулась, лицо моментально про-

кисло, голосъ замеръ, руки опустились по швамъ, ноги подогнулись. Моментально измѣнился! Я уже болѣе не сомнѣвался: это былъ Иванъ Капитонычъ, мой канцелярскій. Онъ сѣлъ и спряталъ свой носикъ въ заячьемъ мѣху.

Теперь я посмотрѣлъ на его лицо.

«Неужели,—подумалъ я:—эта пришибленная, приплюснутая фигурка умѣетъ говорить такія слова, какъ «филистеръ» и «свобода»? А? Неужели? Да, умѣетъ. Это невѣроятно, но вѣрно... Ахъ, ты, дрянъ этакая!»

Вѣрь послѣ этого жалкимъ физіономіямъ этихъ хамелеоновъ!

Я ужъ больше не вѣрю. Шабашъ, не надуешь!

1883.

ИСПОВѢДЬ.

День былъ ясный, морозный... На душѣ было вольготно, хорошо, какъ у извозчика, которому по ошибкѣ вмѣсто двугривеннаго золотой дали. Хотѣлось и плакать, и смѣяться, и молиться... Я чувствовалъ себя на шестнадцатомъ небѣ: меня, человѣка, передѣлали въ кассира! Радовался я не потому, что хапать уже можно было. Я тогда еще не былъ воромъ и искрошилъ бы того, кто сказалъ бы мнѣ, что я со временемъ цапну... Радовался я другому: повышенію по службѣ и ничтожной прибавкѣ жалованья — только всего.

Меня, впрочемъ, радовало и другое обстоятельство. Ставъ кассиромъ, я тотчасъ же почувствовалъ на своемъ носу нѣчто въ родѣ розовыхъ очковъ. Мнѣ вдругъ стало казаться, что люди измѣнились. Честное слово! Всѣ стали какъ будто бы лучше. Уроды стали красавцами, злые — добрыми, гордые — смиренными, мизантропы — филантропами. Я какъ будто бы просвѣтлѣлъ. Я увидѣлъ въ человѣкѣ такія чудныя качества, конхъ ранѣе и не подозревалъ.

— Странно! — говорилъ я, глядя на людей и протирая глаза. — Или съ ними что-нибудь подѣлалось, или же я ранѣе былъ глупъ и не замѣчалъ всѣхъ этихъ качествъ. Прелесть что за люди!

Въ день моего назначенія измѣнился и З. Н. Казусовъ, одинъ изъ членовъ нашего правленія, человѣкъ гордый, надменный, игнорирующий мелкую рыбицу. Онъ подошелъ ко мнѣ и — что съ нимъ подѣлалось? — ласково улыбаясь, началъ хлопать меня по плечу.

— Горды вы, батенька, не по лѣтамъ, — сказалъ онъ

миѣ. — Нехорошо! Отчего никогда не зайдете? Грѣшно, сударь! А у меня собирается молодежь, весело такъ бываетъ. Дочки все спрашиваютъ: «Отчего это вы, папаша, не позовете Григорія Кузьмича? Вѣдь онъ такой милый!» Да развѣ затащишь его? Впрочемъ, говорю, попробую, приглашу... Не ломайтесь же, батенька, приходите!

Удивительно! Что съ нимъ? Не спятилъ ли онъ съ ума? Былъ человекъ людодѣдомъ и вдругъ... на тебѣ!

Придя въ тотъ день домой, я былъ пораженъ. Моя мамаша подала за обѣдомъ не два блюда, какъ всегда, а четыре. Вечеромъ подала къ чаю варенье и сдобный хлѣбъ. На другой день опять четыре блюда, опять варенье. Гости были и шоколадъ пили. На третій день то же.

— Мамаша! — сказалъ я. — Что съ вами? Чего ради вы такъ расщедрились, милая? Вѣдь жалованье мое не удвоили. Надбавка пустяшная.

Мамаша взглянула на меня съ удивленіемъ.

— Гм... Куда же тебѣ деньги дѣвать? — спросила она. — Копить будешь, что ли?

Чортъ ихъ разберетъ! Папаша заказалъ себѣ шубу, купилъ новую шапку, сталъ лѣчиться минеральными водами и виноградомъ (зимой?!?). А дней черезъ пять я получилъ письмо отъ брата. Этотъ братъ терпѣть не могъ меня. Мы разошлись съ нимъ изъ-за убѣжденій: ему казалось, что я эгоистъ, дармоѣдъ, не умѣю жертвовать собой, и онъ ненавидѣлъ меня за это. Въ письмѣ я прочелъ слѣдующее: «Милый братъ! Я люблю тебя, и ты не можешь себѣ представить, какія адскія муки доставляетъ миѣ наша ссора. Давай помиримся! Протянемъ другъ другу руки, и да восторжествуетъ миръ! Умоляю тебя! Въ ожиданіи отвѣта остаюсь тебя любящій, цѣлющій и обнимающій Евлампій». О, милый братъ! Я отвѣтилъ ему, что я лобызаю его и радуюсь. Черезъ недѣлю я получилъ отъ него телеграмму: «Благодарю, счастливъ. Вышли сто рублей. Весьма нужны. Обнимающій Е.» Выслалъ ему сто рублей...

Измѣнилась даже и она! Она не любила меня. Когда я однажды дерзнулъ намекнуть ей, что въ моемъ сердцѣ что-то неладно, она назвала меня нахаломъ и фыркнула миѣ въ лицо. Встрѣтивъ же меня черезъ недѣлю послѣ моего назначенія, она улыбнулась, сдѣлала на лицѣ ямочки, сконфузилась...

— Что это съ вами? — спросила она, глядя на меня. —

Вы такъ похорошѣли. Когда это вы успѣли? Пойдемте плясать...

Душечка! Черезъ мѣсяць ея маменька была ужъ моей тещей: такъ я похорошѣлъ! Къ свадьбѣ нужны были деньги, и я взялъ изъ кассы триста рублей. Отчего не взять, если знаешь, что положишь обратно, когда получишь жалованье? Взялъ кстати и для Казусова сто рублей... Просилъ займы... Ему нельзя не дать. Онъ у насъ воротила и можетъ каждую минуту спихнуть съ мѣста... (Редакторъ, найдя, что рассказъ нѣсколько длинень, вычеркнулъ, въ ущербъ авторскому дивиденду, на этомъ самомъ мѣстѣ восемьдесятъ три строки.)

За недѣлю до ареста по ихъ просьбѣ я давалъ имъ вечеръ. Чортъ съ ними, пусть полопаютъ и пожрутъ, коли имъ этого такъ хочется! Я не считалъ, сколько человѣкъ было у меня на этомъ вечерѣ, но помню, что всё мои девять комнатъ были запружены народомъ. Были старшіе и младшіе... Были и такіе, предъ которыми гнулся въ дугу даже самъ Казусовъ. Дочери Казусова (старшая — моя обже) ослѣпляли своими нарядами... Одни цвѣты, покрывавшіе ихъ, стоили мнѣ болѣе тысячи рублей! Было очень весело... Гремѣла музыка, сверкали люстры, лилось шампанское... Произносились длинныя рѣчи и короткіе тосты... Одинъ газетчикъ поднесъ мнѣ оду, а другой балладу...

— У насъ въ Россіи не умѣютъ цѣнить такихъ людей, какъ Григорій Кузьмичъ! — прокричалъ за ужиномъ Казусовъ. — Очень жаль, жаль Россію!

И всё эти кричавшіе, подносившіе, лобызавшіе шептались и показывали мнѣ кукиши, когда я отворачивался... Я видѣлъ улыбки, кукиши, слышалъ вздохи...

— Укралъ, подлець! — шептали они, злорадно ухмыляясь.

Ни кукиши ни вздохи не помѣшали имъ однако ѣсть, пить и наслаждаться...

Волки и страдающіе діабетомъ не ѣдятъ такъ, какъ они ѣли... Жена, сверкавшая брильянтами и золотомъ, подошла ко мнѣ и шепнула:

— Тамъ говорятъ, что ты... укралъ. Если это правда, то... берегись! Я не могу жить съ воровомъ! Я уйду!

Говорила она это и поправляла свое лятитысячное платье... Чортъ ихъ разберетъ! Въ этотъ же вечеръ Ка-

зусовъ взялъ съ меня пять тысячъ... Столько же взялъ займы и Евлампій...

— Если тамъ шелчуть правду, — сказалъ мнѣ братъ-принципистъ, кладя въ карманъ деньги:—то... берегись! Я не могу быть братомъ вора!

Послѣ бала всѣхъ ихъ я повезъ на тройкахъ за городъ...

Быль шестой часъ утра, когда мы кончили... Обезсилѣвъ отъ вина и женщинъ, они легли въ сани, чтобы ѣхать обратно... Когда сани тронулись, они крикнули мнѣ на прощанье:

— Завтра ревизія!.. Мерсі!

Милостивые государи и милостивыя государыни! Я попался... Попался, или, выражаясь длиннѣе: вчера я былъ порядочень, честень, лобызаемъ во всѣ части, сегодня же я жуликъ, мошеникъ, воръ... Кричите же теперь, бранитесь, трезвоньте, изумляйтесь, судите, высылайте, строчите передовыя, бросайте камни, но только... пожалуйте, не всѣ! Не всѣ!

1883.

ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО.

Было время, когда кассиры грабили и наше общество. Страшно вспомнить! Они не обкрадывали, а буквально вылизывали нашу бѣдную кассу. Нутро нашей кассы было обито зеленымъ бархатомъ — и бархатъ украли. А одинъ такъ увлекся, что вмѣстѣ съ деньгами утащилъ замѣкъ и крышку. За послѣднія пять лѣтъ у насъ перебывало девять кассировъ, и всѣ девять шлютъ намъ теперь въ большіе праздники изъ Красноярска свои визитныя карточки. Всѣ девять!

— Это ужасно! Чтѣ дѣлать? — вздыхали мы, когда отдавали подъ судъ девятаго. — Стыдъ, срамъ! Всѣ девять подлецы!

И стали мы судить и рядить: кого взять въ кассиры? Кто не мерзавецъ? Кто не воръ? Выборъ нашъ палъ на Ивана Петровича, помощника бухгалтера: тихоня, богомольный и живетъ по-свицки, не комфортабельно. Мы его выбрали, благословили на борьбу съ искушеніями и успокоились, но... не надолго!

На другой же день Иванъ Петровичъ явился въ повомъ галстукѣ. На третій онъ пріѣхалъ въ правленіе на извозчикѣ, чего раньше съ нимъ никогда не было.

— Вы замѣтили? — шептались мы черезъ педфлю. — Новый галстукъ... Пенсне... Вчера на именины приглашалъ. Что-то есть... Богу сталъ чаще молиться... Надо полагать, совѣсть нечиста...

Сообщили свои сомнѣнія его превосходительству.

— Неужели и десятый окажется канальей? — вздохнулъ нашъ директоръ. — Нѣтъ, это невозможно... Человѣкъ такой нравственный тихій... Впрочемъ... поидемте къ нему!

Подошли къ Ивану Петровичу и окружили его кассу.

— Извините, Иванъ Петровичъ, — обратился къ нему директоръ умоляющимъ голосомъ. — Мы довѣряемъ вамъ... Вѣрнѣе! Мда... Но, знаете ли... Позвольте обревизовать кассу! Ужъ вы позвольте!

— Извольте-съ! Очень хорошо-съ! — бойко отвѣтить кассиръ. — Сколько угодно-съ!

Начали считать. Считали, считали и недосчитались четырехсотъ рублей... И этотъ?! И десятый?! Ужасно! Это во-первыхъ; а во-вторыхъ, если онъ въ недѣлю прожралъ столько денегъ, то сколько же украдетъ онъ въ годъ, въ два! Мы остолбенѣли отъ ужаса, изумленія, отчаянія... Что дѣлать? Ну, что? Подъ судъ его? Нѣтъ, это старо и бесполезно. Одиннадцатый тоже украдетъ, двѣнадцатый тоже... Всѣхъ не отдашь подъ судъ. Вздутъ его? Нельзя, обидится... Изгнать и позвать вмѣсто него другого? Но вѣдь одиннадцатый тоже украдетъ! Какъ быть? Красный директоръ и блѣдные мы глядѣли въ упоръ на Ивана Петровича и, опершись о желтую рѣшетку, думали... Мы думали, напрягали мозги и страдали... А онъ сидѣлъ и невозмутимо пощелкивалъ на счетахъ, точно не онъ укралъ... Мы долго молчали.

— Ты куда дѣвалъ эти деньги? — обратился къ нему наконецъ нашъ директоръ со слезами и дрожью въ голосѣ.

— На нужды, ваше превосходительство!

— Гм... На нужды... Очень радъ! Молчать! Я тттебѣ...

Директоръ прошелся по комнатѣ и продолжалъ:

— Что же дѣлать? Какъ уберечься отъ подобныхъ... идиоловъ? Господа, чего же вы молчите? Что дѣлать? Не пороть же его, каналью! (Директоръ задумался). Послушай, Иванъ Петровичъ... Мы внесемъ эти деньги, не станемъ срамиться оглаской, чортъ съ тобой, только ты откровенно, безъ экивокъ... Женскій полъ любишь, что ли?

Иванъ Петровичъ улыбнулся и сконфузился.

— Ну, понятно, — сказалъ директоръ. — Кто ихъ не любить? Это понятно... Всѣ грѣшны. Всѣ мы жаждемъ любви, сказалъ какой-то... философъ... Мы тебя понимаемъ... Вотъ что... Ежели ты такъ ужъ любишь, то изволь: я дамъ тебѣ письмо къ одной... Она хорошенькая... Ызди къ ней на мой счетъ. Хочешь? И къ другой дамъ письмо... И къ третьей дамъ письмо!.. Всѣ три хорошенькія, говорятъ по-французски... пухленькія... Вино тоже любишь?

— Вина разныя бываютъ, ваше превосходительство... Лиссабонскаго, напимъръ, я и въ рогъ не возьму... Каж-дый напитокъ, ваше превосходительство, имѣтъ, такъ сказать, свое значеніе...

— Не разсуждай... Каждую недѣлю буду присылать тебѣ дюжину шампанскаго. Жри, но не трать ты денегъ, не конфузъ ты насъ! Не приказываю, а умоляю! Театръ тоже, небось, любишь?

И такъ далѣе... Въ концѣ концовъ мы порѣшили, по-мимо шампанскаго, абонировать для него кресло въ театрѣ, устроить жалованье, купить ему вороныхъ, еже-недѣльно отправлять его за городъ на тройкѣ — все это въ счетъ общества. Портной, сигары, фотографія, бу-кеты бенефицианткамъ, меблировка — тоже обществен-ные... Пусть наслаждается, только, пожалуйста, пусть не воруетъ! Пусть, что хочетъ, дѣлаетъ, только не воруетъ!

И что же? Прошелъ уже годъ, какъ Иванъ Петровичъ сидитъ за кассой, и мы не можемъ нахвалиться нашимъ кассиромъ. Все честно и благородно... Не воруетъ... Впрочемъ, во время каждой еженедѣльной ревизіи недо-считываются 10—15 руб., но вѣдь это не деньги, а пу-стяки. Что-нибудь да надо же отдавать въ жертву кас-сирскому инстинкту. Пусть лопаетъ, лишь бы тысячь не трогать.

И мы теперь благоденствуемъ... Касса наша всегда полна. Правда, кассиръ обходится намъ очень дорого, но зато онъ въ десять разъ дешевле каждаго изъ девяти его предшественниковъ. И могу вамъ ручаться, что рѣд-кое общество и рѣдкій банкъ имѣютъ такого дешеваго кассира! Мы въ выигрышѣ, а посему странные чудачи будете вы, власть имущіе, если не послѣдуете нашему примѣру!

1883.

ДВА РОМАНА.

I.

РОМАНЪ ДОКТОРА.

Если ты достигъ возмужалости и кончилъ науки, то recipe: *feminam unam* и приданого *quantum satis*.

Я такъ и сдѣлалъ: взялъ *feminam unam* (двухъ брать не дозволяется) и приданого. Еще древніе порицали тѣхъ, которые, женись, не берутъ приданого (Ихтиозавръ, XII. 3.)

Я прописалъ себѣ лошадей, бельэтажъ, сталъ пить *vinum gallicum rubrum* и купилъ себѣ шубу за 700 рублей. Однимъ словомъ, зажилъ *lege artis*.

Ея *habitus* не плохъ. Ростъ средній. Окраска пакожныхъ покрововъ и слизистыхъ оболочекъ нормальна, подкожно-клетчатый слой развитъ удовлетворительно. Грудь правильная, хриповъ нѣтъ, дыханіе везикулярное. Тоны сердца чисты.

Въ сферѣ психическихъ явленій замѣтно только одно уклоненіе: она болтлива и криклива. Благодаря ея болтливости, я страдаю гиперестезіей праваго слухового нерва. Когда я смотрю на языкъ больного, я вспоминаю жену, и это воспоминаніе производитъ во мнѣ сердцебиеніе. Правъ былъ тотъ философъ, который сказалъ: «*lingua est hostis hominum amicusque diaboli et feminarum*». Тѣмъ же недостаткомъ страдаетъ и *mater feminae*—теща (изъ разряда *mammalia*).

И когда онѣ обѣ кричатъ 23 часа въ сутки, я страдаю склонностью къ умопомѣшательству и самоубійству. По свидѣтельству моихъ уважаемыхъ товарищей, девять десятыхъ женщинъ страдаютъ болѣзью, которую Шарко на-

зваль гиперестезією центра, зав'дуючого р'чью. Шарко пропонує ампутацію языка.

Этой операціей онъ об'ящаетъ избавить челов'чество отъ одной изъ страшныхъ бол'зней, но—увы!—Бильротъ, неоднократно д'лавшій эту операцію, говорить въ своихъ классическихъ мемуарахъ, что женщины научались посл' операціи говорить пальцами, и этимъ образомъ р'чи д'йствовали на мужей еще хуже: он' гипнотизировали мужей (Мемор. Acad. 1878). Я предлагаю другое л'чение (смотри мою диссертацію). Не отвергая ампутаціи языка, предложенной Шарко, и давая полную в'ру словамъ такого авторитета, какъ Бильротъ, я предлагаю ампутацію языка соединить съ ношеніемъ рукавиць. Мои наблюденія показали, что глухон'мые, носящіе рукавицы только съ однимъ пальцемъ, безсловесны даже и тогда, когда б'вають голодны.

II.

РОМАНЪ РЕПОРТЕРА.

Прямой носикъ, дивный бюстикъ, чудные волосы, прелестные глазки—ли одной опечатки! Прокорректировалъ и женился.

— Ты должна будешь принадлежать только одному мн'! — сказалъ я ей, женясь. — Розничную продажу безусловно запрещаю! Помни!

На другой день посл' свадьбы я уже зам'тилъ въ своей жен' н'которую перем'ну. Волосы были жиже, щеки не такъ интересно-бл'дны, р'сницы не адски-черны, а рыжи. Движенія уже были не такъ мягки, слова не такъ н'жны. Увы! Жена есть нев'ста, наполовину зачеркнутая цензурой!

Въ первомъ полугодіи я засталъ у нея фендрика, который лобызалъ ее (фендрики любятъ gratis'ныя удовольствія). Я объявилъ ей первое предостереженіе и во второй разъ, строго-настрою, воспретилъ розничную продажу.

Во второмъ полугодіи она подарила меня преміей: у меня родился сынишка. Я погляд'лъ на себя въ зеркало, опять погляд'лъ на него и сказалъ жен':

— Сюжетъ заимствованъ, матушка! По рожд' вижу! Не обманешь!

Сказаль и объявилъ ей второе предостереженіе съ воспрещеніемъ попадаться мнѣ на глаза въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ.

Но эти мѣры не подѣйствовали. На второмъ году у моей жены былъ уже не одинъ фендрикъ, а нѣсколько. Видя ея нераскаяніе и не желая дѣлиться со своими сотрудниками, я объявилъ ей третье предостереженіе и выслалъ ее вмѣстѣ съ преміей на родину подѣ надзоръ родителей, гдѣ она находится досель.

Гонораръ родителямъ за кормленіе жены высылается ежемѣсячно.

1883.

ТЕМНОЮ НОЧЬЮ.

Ни луны, ни звѣздъ... Ни контуровъ, ни силуэтовъ, ни одной мало-мальски свѣтлой точки... Все утонуло въ сплошномъ, непроницаемомъ мракѣ. Глядишь, глядишь и ничего не видишь, точно тебѣ глаза выкололи... Дождь жарить, какъ изъ ведра... Грязь страшная...

По проселочной дорогѣ плетется пара почтовыхъ клячъ. Въ таратайкѣ сидитъ мужчина въ шинели инженера-путейца. Рядомъ съ нимъ его жена. Оба промокли. Ямщикъ пьянъ, какъ стелька. Коренной хромаетъ, фыркаетъ, вздрагиваетъ и плетется еле-еле... Пугливая пристяжная то и дѣло спотыкается, останавливается и бросается въ сторону. Дорога ужасная... Чтѣ ни шагъ, то колдобина, бугоръ, размытый мостикъ. Налѣво воесть волкъ; направо, говорятъ, оврагъ.

— Не сбились ли мы съ дороги? — вздыхаетъ инженерша. — Ужасная дорога! Не выврати насъ!

— Зачѣмъ выворачивать? Эх...тъ! Какая мнѣ надомность васъ выворачивать? Эх... по...подлая! Дрожи! Ми...лая!

— Мы, кажется, сбились съ дороги, — говоритъ инженеръ. — Куда ты везешь, дьяволь? Не видишь, чтѣ ли? Развѣ это дорога?

— Стало-быть, дорога!..

— Грунтъ не тотъ, пьяная морда! Сворачивай! Поворачивай вправо! Ну, погоняй! Гдѣ кнутъ?

— По...потерялъ, ваше высоко...

— Убью, коли чтѣ... Помни! Погоняй, подлецъ! Стой, куда ѣдешь? Развѣ тамъ дорога?

Лошади останавливаются. Инженеръ вскакиваетъ, нависаетъ на ямщицкія плечи, натягиваетъ вожжи и тянетъ за правую. Коренной шлепаетъ по грязи, круто поворачиваетъ и вдругъ ни съ того ни съ сего начинаетъ какъ-то странно барахтаться... Ямщикъ сваливается и исчезаетъ, пристяжная цѣпляется за какой-то утесъ, и инженеръ чувствуетъ, что таратайка вмѣстѣ съ пассажирами летитъ куда-то къ чорту.

Оврагъ не глубокъ. Инженеръ поднимается, беретъ въ охапку жену и выкарабкивается наверхъ. Наверху, на краю оврага, сидитъ ямщикъ и стонетъ. Путеецъ подскакиваетъ къ нему и, поднявъ вверхъ кулаки, готовъ растерзать, уничтожить, раздавить...

— Убью, рразбойникъ! — кричитъ онъ.

Кулакъ размахнулся и уже на половинѣ дороги къ ямщицкой физин... Еще секунда — и...

— Миша, вспомни кукуевку! — говоритъ жена.

Миша вздрагиваетъ, и его грозный кулакъ останавливается на полпути. Ямщикъ спасенъ.

1883.

У Ш Л А.

Пообѣдали. Въ сторонѣ желудковъ чувствовалось маленькое блаженство, рты позѣвывали, глаза начали суживаться отъ сладкой дремоты. Мужъ закурилъ сигару, потянулся и развалился на кушеткѣ. Жена съѣла у-изголовья и замурдыкала... Оба были счастливы.

— Расскажи что-нибудь... — зѣвнулъ мужъ.

— Что же тебѣ рассказать? Мм... Ахъ, да! Ты слышалъ? Софи Окуркова вышла замужъ за этого... какъ его... за фонъ-Трамба! Вотъ скандалъ!

— Въ чемъ же тутъ скандалъ?

— Да вѣдь Трамбъ подлець! Это такой негодяй... такой безсовѣстный человѣкъ! Безъ всякихъ принциповъ! Уродъ нравственный! Былъ у графа управляющимъ — нажился, теперь служить на желѣзной дорогѣ и вооруетъ... Сестру ограбилъ... Негодяй и воръ, однимъ словомъ. И за этакого человѣка выходить замужъ?! Жить съ нимъ?! Удивляюсь! Такая нравственная дѣвушка и... на тебѣ! Ни за что бы не вышла за такого субъекта! Будь онъ хоть милліонеръ! Будь красивъ, какъ не знаю что, я плюнула бы на него! И представить себѣ не могу мужа-подлеца!

Жена вкочила и, раскрасѣвшаяся, негодующая, прошла по комнатѣ. Глазки загорѣлись гнѣвомъ. Искренность ея была очевидна...

— Этотъ Трамбъ такая тварь! И тысячу разъ глупы и пошлы тѣ женщины, которыя выходятъ за такихъ господъ!

— Такъ-съ... Ты, разумѣется, не вышла бы... Нда... Ну, а если бы ты сейчасъ узнала, что я тоже... негодяй? Что бы ты сдѣлала?

— Я? Бросила бы тебя! Не осталась бы съ тобой ни на одну секунду! Я могу любить только честнаго человека! Узнай я, что ты натворилъ хоть сотую долю того, что сдѣлалъ Трамбъ, я... мигомъ! Adieu тогда!

— Такъ... Гм... Какая ты у меня... А я и не зналъ. Хе-хе-хе... Вретъ бабенка и не краснѣеть!

— Я никогда не лгу! Попробуйте-ка сдѣлать подлость, тогда и увидишь!

— Къ чему мнѣ пробовать? Сама знаешь... Я еще почище твоего фонтан-Трамба буду!.. Трамбъ—карманный ворюшка сравнительно. Ты дѣлаешь большіе глаза? Это странно... (Пауза). Сколько я получаю жалованья?

— Три тысячи въ годъ.

— А сколько стоитъ кольцо, которое я купилъ тебѣ недѣлю тому назадъ? Двѣ тысячи... Не такъ ли? Да вчерашнее платье пятьсотъ... Дача двѣ тысячи... Хе-хе-хе! Вчера твой папа выклячилъ у меня тысячу..

— Но, Пьеръ, побочные доходы вѣдь...

— Лошади... Домашній докторъ... Счеты отъ модистокъ. Третьяго-дня ты проиграла въ ступолку сто рублей..

Мужъ приподнялся, подперъ голову кулаками и прочелъ цѣлый обвинительный актъ. Подойдя къ письменному столу, онъ показалъ женѣ нѣсколько вещественныхъ доказательствъ...

— Теперь ты видишь, матушка, что твой фонтан-Трамбъ—ерунда, карманный ворюшка сравнительно со мной... Adieu! Иди и впродѣ не осуждай!

Я кончилъ. Быть-можетъ, читатель еще спроситъ:

— И она ушла отъ мужа?

Да, ушла... въ другую комнату.

1883.

НА ГВОЗДЬ.

По Невскому плелась со службы компанія коллежскихъ регистраторовъ и губернскихъ секретарей. Ихъ вель къ себѣ на именины именинникъ Стручковъ.

— Да и пожремъ же мы сейчасъ, братцы! — мечталъ вслухъ именинникъ. — Страсть, какъ пожремъ! Жѣнка пирога приготовила. Самъ вчера вечеромъ за мѣдой бѣгалъ. Коньякъ есть... воронцовская... Жена, небось, заждалась!

Стручковъ обиталъ у чорта на куличкахъ. Шли, шли къ нему и наконецъ пришли. Вошли въ переднюю. Носы почувствовали запахъ пирога и жаренаго гуся.

— Чувствуете? — спросилъ Стручковъ и захихикалъ отъ удовольствія. — Раздѣвайтесь, господа! Кладите шубы на сундукъ! А гдѣ Катя? Эй, Катя! Сборъ всѣхъ частей прикатилъ! Акулина, поди помоги господамъ раздѣться!

— А это что такое? — спросилъ одинъ изъ компаніи, указывая на стѣну.

На стѣнѣ торчалъ большой гвоздь, а на гвоздѣ висѣла новая фуражка съ сіяющимъ козырькомъ и кокардой. Чиновники поглядѣли другъ на друга и поблѣднѣли.

— Это его фуражка! — прошептали они. — Опъ... здѣсь!?!

— Да, онъ здѣсь, — пробормоталъ Стручковъ. — У Кати... Выйдемте, господа! Посидимъ гдѣ-нибудь въ трактирѣ, подождемъ, пока онъ уйдетъ.

Компанія застегнула шубы, вышла и лѣниво поплелась къ трактиру.

— Гусемъ у тебя пахнетъ, потому что гусь у тебя сидитъ! — слиберальничалъ помощникъ архивариуса. — Черти его принесли! Онъ скоро уйдетъ?

— Скоро. Больше двухъ часовъ никогда не сидить. Ёсть хочется! Перво-наперво мы водки выпьемъ и килечкой закусимъ... Потомъ повторимъ, братцы... Послѣ второй сейчасъ же пироги. Иначе аппетитъ пропадетъ... Моя жена хорошо пироги дѣлаетъ. Щи будутъ...

— А сардинъ кушль?

— Двѣ коробки. Колбаса четырехъ сортовъ... Женѣ, должно-быть, тоже ёсть хочется... Ввалился чортъ!

Часа полтора посидѣли въ трактирѣ, выпили для близиру по стакану чаю и опять пошли къ Стручкову. Вошли въ переднюю. Пахло сильнѣй прежняго. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидѣли гуся и чашку съ огурцами. Агулина что-то вынимала изъ печи.

— Опять неблагополучно, братцы!

— Чтò такое?

Чиновные желудки сжались отъ горя. Голодъ не тетка, а на подломъ гвоздѣ висѣла кунья шапка.

— Это Прокатилова шапка, — сказала Стручковъ. — Выйдемте, господа! Переждемъ гдѣ-нибудь... Этогъ недолго сидить...

— И у этакого сквернавца такая хорошенькая жена! — послышался сильный басъ изъ гостиной.

— Дуракамъ счастье, ваше превосходительство! — аккомпанировалъ женскій голосъ.

— Выйдемте! — простоналъ Стручковъ.

Пошли опять въ трактиръ. Потребовали пива.

— Прокатиловъ — сила! — начала компанію утѣшать Стручкова. — Часъ у твоей посидить, да зато тебѣ.. десять лѣтъ блаженства. Фортуна, братъ! Зачѣмъ огорчаться? Огорчаться не надо.

— Я и безъ васъ знаю, что не надо. Не въ томъ дѣло! Мнѣ обидно, что ёсть хочется!

Черезъ полтора часа опять пошли къ Стручкову. Кунья шапка продолжала еще висѣть на гвоздѣ. Пришлось опять ретироваться.

Только въ восьмомъ часу вечера гвоздь былъ свободенъ отъ постоя и можно было пристаться за пироги! Пирогъ былъ сухъ, щи теплы, гусь пережаренъ — все перепортила карьера Стручкова! Ёли, впрочемъ, съ аппетитомъ.

БЛАГОДАРНЫЙ.

(Психологическій этюдъ).

— Вотъ тебѣ триста рублей! — сказала Иванъ Петровичъ, подавая пачку кредитокъ своему секретарю и дальнему родственнику Мишѣ Бобову. — Такъ и быть, возьми... Не хотѣлъ давать, но... что дѣлать? Бери... Въ послѣдній разъ... Мою жену благодари. Если бы не она, я тебѣ не далъ бы... Упросила.

Миша взялъ деньги и замигалъ глазками. Онъ не находилъ словъ для благодарности. Глаза его покраснѣли и подернулись влагой. Онъ обнялъ бы Ивана Петровича, но... начальниковъ обнимать такъ не ловко!

— Жену благодари, — сказалъ еще разъ Иванъ Петровичъ — Она упросила... Ты ее такъ разжалобилъ своей слезливой рожицей... Ее и благодари.

Миша попятился назадъ и вышелъ изъ кабинета. Онъ пошелъ благодарить свою дальнюю родственницу, супругу Ивана Петровича. Она, маленькая, хорошенькая блондиночка, сидѣла у себя въ кабинетѣ на маленькой кушеточкѣ и читала романъ. Миша остановился передъ ней и произнесъ:

— Не знаю, какъ и благодарить васъ!

Она снисходительно улыбнулась, бросила книжку и милостиво указала ему на мѣсто около себя. Миша сѣлъ.

— Какъ мнѣ благодарить васъ? Какъ? Чѣмъ? Научите меня! Марья Семеновна! Вы мнѣ сдѣлали болѣе чѣмъ благодареніе! Вѣдь на эти деньги я справлю свою свадьбу съ моею милой, дорогой Катей!

Но Мишиной щекѣ поползла слеза. Голосъ его дрожалъ.

— О, благодарю васъ!

Онъ нагнулся и чмокнулъ въ пухленькую ручку Марьи Семснновны.

— Вы такъ добры! А какъ добръ вашъ Иванъ Петровичъ! Какъ онъ добръ, снисходителенъ! У него золотое сердце! Вы должны благодарить небо за то, что оно послало вамъ такого мужа! Моя дорогая, любите его! Умоляю васъ, любите его!

Миша нагнулся и чмокнулъ въ обѣ ручки разомъ. Слезы поползли и по другой щекѣ. Одинъ глазъ сталъ меньше.

— Онъ старъ, некрасивъ, но зато какая у него душа! Найдите мнѣ гдѣ-нибудь другую такую душу! Не найдете! Любите же его! Вы, молодья жены, такъ легкомысленны! Вы въ мужчинѣ ищите прежде всего виѣшности... эффекта... Умоляю васъ!

Миша схватилъ ея локти и судорожно сжалъ ихъ между своими ладонями. Въ голосѣ его слышались рыданія.

— Не измѣняйте ему! Измѣнять этому человѣку—значитъ измѣнить ангелу! Оцѣните его, полюбите! Любить такого чуднаго человѣка, принадлежать ему... да вѣдь это блаженство! Вы, женщины, не хотите понимать многое... многое... Я васъ люблю страшно, бѣшено за то, что вы принадлежите ему! Цѣлую святыню, принадлежащую ему... Это святой поцѣлуй... Не бойтесь, я же нихъ... Ничего...

Миша, трепещущій, захлебывающійся, потянулся отъ ея уха къ щецкѣ и прикоснулся къ ней своими усами.

— Не измѣняйте ему, моя дорогая! Вѣдь вы его любите? Да? Любите?

— Да.

— О, чудная!

Минуту Миша восторженно и умиленно глядѣлъ въ ея глаза. Въ нихъ онъ прочелъ благородную душу...

— Чудная вы... — продолжалъ онъ, протянувъ руку къ ея талии. — Вы его любите... Этого чуднаго... ангела... Это золотое сердце... сердце...

Она хотѣла освободить свою талию отъ его руки, завертѣлась, но еще болѣе завязла... Головка ея—неудобно сидѣть на этихъ кушеткахъ! — нечаянно упала на Мишину грудь.

— Его душа... сердце... Гдѣ найти другого такого человѣка? Любить его... Слышать бѣненіе его сердца...

Ити съ нимъ рука объ руку... Страдать... дѣлить радости... Поймите меня! Поймите меня!..

Изъ Мишиныхъ глазъ брызнули слезы... Голова судорожно замоталась и склонилась къ ея груди. Онъ зарыдалъ и сжалъ Марью Семеновну въ своихъ объятіяхъ...

Ужасно неудобно сидѣть на этихъ кушеткахъ! Она хотѣла освободиться изъ его объятій, утѣшить его, успокоить... Онъ такъ нервень! Она поблагодарить его за то, что онъ такъ расположенъ къ ея мужу... Но никакъ не встанешь!

— Любите его... Не измѣняйте ему... Умоляю васъ! Вы... женщины... такъ легкомысленны... не понимаете...

Миша не сказалъ болѣе ни слова... Языкъ его заболтался и замеръ...

Черезъ пять минутъ въ ея кабинетъ зачѣмъ-то вошелъ Иванъ Петровичъ... Несчастный! Зачѣмъ онъ не пришелъ ранѣе? Когда они увидѣли багровое лицо начальника, его сжатые кулаки, когда слышали его глухой, задушенный голосъ, они вскочили...

— Что съ тобой? — спросила блѣдная Марья Семеновна.

Спросила, потому что надо же было говорить!

— Но... но вѣдь я искренно, ваше превосходительство! — пробормоталъ Миша. — Честное слово, искренно!

1883.

СОВѢТЬ.

Дверь самая обыкновенная, комнатная. Сдѣлана она изъ дерева, выкрашена обыкновенной бѣлой краской, виситъ на простыхъ крючьяхъ, но... отчего она такъ внушительна? Такъ и дышитъ олимпійствомъ! По ту сторону двери сидитъ... впрочемъ, это не наше дѣло.

По сю сторону стоятъ два человѣка и разсуждаютъ:

— Мерси-съ!

— Это вамъ-съ, дѣтишкамъ на молочинку. За труды ваши, Максимъ Иванычъ. Вѣдь дѣло три года тянется, не шутка... Извините, что мало... Старайтесь только, батюшка! (Пауза). Хочетъ мнѣ, благодѣтель, благодарить Порфирія Семеныча... Они мой главный благодѣтель, и отъ нихъ всего больше мое дѣло зависить... Поднести бы имъ въ презентъ не мѣшало... сотенки двѣ-три...

— Ему... сотенки?! Что вы? Да вы угорѣли, родной! Перекреститесь! Порфирій Семенычъ не таковский, чтобъ...

— Не берутъ? Жаль-съ... Я вѣдь отъ души, Максимъ Иванычъ... Это не какая-нибудь взятка... Это приношеніе отъ чистоты души... за труды непосильные... Я вѣдь не безчувственный, понимаю ихъ трудъ... Кто нонче изъ-за одного жалованья такую тяготу на себя беретъ? Гм... Такъ-то-съ... Это не взятка-съ, а законное, такъ сказать, взятіе...

— Нѣтъ, это невозможно! Онъ такой человѣкъ... такой человѣкъ!

— Знаю я ихъ, Максимъ Иванычъ! Прекрасный они человѣкъ! И сердце у нихъ предоброе, душа филантропная... гуманическая... Ласковость такая... Глядитъ на тебя и всю твою психологію воротитъ... Молось за нихъ

денно и ночью... Только дѣло вотъ слишкомъ долго тянется! Ну, да это ничего... И за всѣ добродѣтели эти хочется мнѣ благодарить ихъ... Рубликовъ триста, примѣрно...

— Не возьметъ... Натура у него другая! Строгость! И не суйтесь къ нему... Трудится, беспокоится, ночей не спитъ, а касательно благодарности или чего прочаго — ни-ни... Правила такія. И то сказать, на что ему ваши деньги? Самъ миллионщикъ!

— Жалость какая... А мнѣ такъ хотѣлось обнаружить имъ свои чувства! (Тихо) Да и дѣло бы мое подвинулось... Вѣдь три года тянется, батюшка! Три года! (Громко) Не знаю, какъ и поступить... Въ уныніе впалъ я, благодѣтель мой... Выручьте, батюшка! (Пауза). Сотни три я могу... Это точно. Хоть сію минуту...

— Гм... Да-съ... Какъ же быть? (Пауза). Я вамъ вотъ чтò посоветую. Коли ужъ желаете благодарить его за благодѣянія и беспокойства, то... извольте, я ему скажу... Доложу... Я ему посоветовать могу.

— Пожалуйста, батюшка! (Продолжительная пауза).

— Мерси-съ... Онъ уважить... Только вы не триста рублей... Съ этими паршивыми деньгами и не суйтесь... Для него это нуль, ничтожество... газъ... Вы ему тысячу...

— Двѣ тысячи! — говоритъ кто-то по ту сторону двери. Занавѣсъ падаетъ. Да не подумаетъ о семъ кто-либо худо!

БАРАНЪ И БАРЫШНЯ.

(Эпизодикъ изъ жизни „милостивыхъ государей“).

На сытой, лоснящейся физиономіи милостиваго государя была написана смертельноѣдшая скука. Опъ только-что вышелъ изъ объятій послѣобѣденнаго морфея и не зналъ, что ему дѣлать. Не хотѣлось ни думать ни зѣвать... Читать надоѣло еще въ незапамятныя времена, въ театрѣ еще рано, кататься лѣвъ ѣхать... Что дѣлать? Чѣмъ бы развлечься?

— Барышня какая-то пришла! — доложилъ Егоръ. — Васъ спрашиваетъ!

— Барышня? Гм... Кто же это? Все одно, впрочемъ, проси...

Въ кабинетъ тихо вошла хорошенькая брюнетка, одѣтая просто... даже очень просто. Она вошла и поклонилась.

— Извините, — начала она дрожащимъ дискантомъ. — Я, знаете ли... Мнѣ сказали, что васъ... васъ можно застать только въ шесть часовъ... Я... я... дочь надворнаго совѣтника Пальцева...

— Очень пріятно! Ссадитесь! Чѣмъ могу быть полезенъ? Садитесь, не стѣсняйтесь!

— Я пришла къ вамъ съ просьбой... — продолжала барышня, неловко садясь и теребя дрожащими руками свои пуговицы. — Я пришла... попросить у васъ билетъ для бесплатнаго проѣзда на родину. Вы, я слышала, даете... Я хочу ѣхать, а у меня... я небогата... Мнѣ отъ Петербурга до Курска...

— Гм... Такъ-съ... А для чего вамъ въ Курскъ ѣхать? Здѣсь нешто не нравится?

— Нѣтъ, здѣсь нравится, но, знаете ли... родители. Я къ родителямъ. Давно ужъ у нихъ не была... Мама, пишутъ, больна...

— Гм... Вы здѣсь служите или учитесь?

Барышня рассказала, гдѣ и у кого она служила, сколько получала жалованья, много ли было работы...

— Тэкъ... Служили... Да-съ, нельзя сказать, чтобъ ваше жалованье было велико.. Нельзя сказать... Негуманно было бы не давать вамъ бесплатнаго билета... Гм... Къ родителямъ ѣдете, значить... Ну, а небось въ Курскѣ и амурчикъ есть, а? Амурашка? Хе-хе-хе... Женишокъ? Покраснѣли? Ну что жъ! Дѣло хорошее. Ъзжайте себѣ. Вамъ ужъ пора замужъ... А кто онъ?

— Въ чиновникахъ...

— Дѣло хорошее... Ъзжайте въ Курскъ... Говорятъ, что уже въ ста верстахъ отъ Курска пахнетъ щами и ползаютъ тараканы... Хе-хе-хе... Небось, скука въ этомъ Курскѣ? Да вы скидайте шляпу! Вотъ такъ, не стѣсняйтесь! Егоръ, дай намъ чаю! Небось, скучно въ этомъ... ммм... какъ его... Курскѣ?

Барышня, не ожидавшая такого ласковаго пріема, просіяла и описала милостивому государю все курскія развлеченія... Она рассказала, что у нея есть братъ чиновникъ, дядя учитель, кузены гимназисты... Егоръ подаль чай... Барышня робко потянулась за стаканомъ и, боясь чамкать, начала безшумно глотать... Милостивый государь глядѣлъ на нее и ухмылялся... Онъ ужъ не чувствовалъ скуки...

— Вашъ жепихъ хорошъ собой?—спросилъ онъ. — А какъ вы съ нимъ сошлись?

Барышня конфузливо отвѣтила на оба вопроса. Она довѣрчиво подвинулась къ милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, какъ здѣсь, въ Питерѣ, сватались къ ней женихи, и какъ она имъ отказала... Говорила она долго. Кончила тѣмъ, что вынула изъ кармана письмо отъ родителей и прочла его милостивому государю. Пробыло восемь часовъ.

— А у вашего отца не плохой почеркъ... Съ какими онъ закорючками пишетъ! Хе-хе... Но однако мнѣ пора... Въ театрѣ ужъ началось... Прощайте, Марья Ефимовна!

— Такъ я могу надѣяться? — спросила барышня, поднимаясь.

— На что-съ? <http://rcin.org.pl>

— На то, что вы мнѣ дадите бесплатный билетъ...

— Билетъ? Гм... У меня нѣтъ билетовъ! Вы, должно-быть, ошиблись, сударыня... Хе-хе-хе... Вы не туда попали, не на тотъ подъѣздъ... рядомъ со мной, подлинно, живетъ какой-то желѣзнодорожникъ, а я въ банкѣ служу-съ! Егоръ, вели заложить! Прощайте, ma chère Марья Семеновна! Очень радъ... радъ очень...

Барышня одѣлась и вышла... У другого подъѣзда ей сказали, что онъ уѣхалъ въ половинѣ восьмого въ Москву.

1883.

РАЗМАЗНЯ.

На-дняхъ я пригласилъ къ себѣ въ кабинетъ гувернантку моихъ дѣтей, Юлію Васильевну. Нужно было посчитаться...

— Садитесь, Юлія Васильевна!—сказалъ я ей.—Давайте посчитаемся. Вамъ навѣрное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите... Ну-съ... Договорились мы съ вами по тридцати рублей въ мѣсяць...

— По сорока...

— Нѣтъ, по тридцати... У меня записано... Я всегда платилъ гувернанткамъ по тридцати. Ну-съ, прожили вы два мѣсяца...

— Два мѣсяца и пять дней...

— Ровно два мѣсяца... У меня такъ записано. Слѣдуетъ вамъ, значитъ, шестьдесятъ рублей... Вычестъ девять воскресеній... Вы вѣдь не занимались съ Колей по воскресеньямъ, а гуляли только... Да три праздника...

Юлія Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку. но... ни слова!..

— Три праздника... Долой, слѣдовательно, двѣнадцать рублей... Четыре дня Коля былъ боленъ и не было занятій... Вы занимались съ одной только Варей... Три дня у васъ болѣли зубы, и моя жена позволила вамъ не заниматься послѣ обѣда... Двѣнадцать и семь — девятна-

дцать. Вычестъ... останется... гм... сорокъ одинъ рубль... Вѣрно?

Лѣвый глазъ Юліи Васильевны покраснѣлъ и наполнился влагой. Подбородокъ ея задрожалъ. Она нервно закашляла, засморкалась, но ни слова!

— Подъ Новый годъ вы разбили чайную чашку съ блюдечкомъ. Долой два рубля... Чашка стоитъ дороже, она фамилльная, но... Богъ съ вами! Гдѣ наше не пропадало! Потомъ-съ, по вашему недосмотру Коля полѣзъ на дерево и порвалъ себѣ сюртучокъ... Долой десять... Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всемъ смотрѣть. Вы жалованье получаете. Итакъ, значитъ, долой еще пять... Десятаго января вы взяли у меня десять рублей...

— Я не брала! — шепнула Юлія Васильевна.

— Но у меня записано!

— Ну, пусть... хорошо.

— Изъ сорока одного вычестъ двадцать семь — останется четырнадцать...

Оба глаза наполнились слезами... На длинномъ хорошенькомъ носикѣ выступилъ потъ. Бѣдная дѣвочка!

— Я разъ только брала, — сказала она дрожащимъ голосомъ. — Я у вашей супруги взяла три рубля... Больше я не брала...

— Да? Ишь, вѣдь, а у меня и не записано! Долой изъ четырнадцати три, останется одиннадцать... Вотъ вамъ ваши деньги, милѣйшая! Три... три, три... одинъ и одинъ... Получите-съ!

И я подаль ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками сунула ихъ въ карманъ.

— Merci, — прошептала она.

Я вскочилъ и заходилъ по комнатѣ. Меня охватила злость.

— За что же merci? — спросилъ я.

— За деньги...

— Но вѣдь я же васъ обобралъ, чортъ возьми, ограбилъ! Вѣдь я укралъ у васъ! За что же merci?

— Въ другихъ мѣстахъ мнѣ и вовсе не давали...

— Не давали? И немудрено! Я пошутилъ надъ вами, жестокий урокъ далъ вамъ... Я отдамъ вамъ все ваши восемьдесятъ! Вонъ они въ конвертѣ для васъ приготовлены! Но развѣ можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Развѣ можно на этомъ

свѣтъ не быть зубастой? Развѣ можно быть такой размазней?

Она криво улыбнулась, и я прочелъ на ея лицѣ: «можно!».

Я попросилъ у нея прощенія за жестокий урокъ и отдать ей, къ великому ея удивленію, всѣ восемьдесятъ. Она робко замерсикала и вышла... Я поглядѣлъ ей вслѣдъ и подумалъ: легко на этомъ свѣтѣ быть сильнымъ!

1883.

ВЪ НАШЪ ПРАКТИЧЕСКІЙ ВѢКЪ. КОГДА И Т. Д.

Человѣкъ съ сизымъ носомъ подошелъ къ колоколу и нехотя позвонилъ. Публяка, дотолѣ покойная, безпокойно забѣгала, засуетилась... По платформѣ затарахтѣли телѣжки съ багажомъ. Надъ вагонами начали съ шумомъ протягивать веревку... Локомотивъ засвистѣлъ и подкатилъ къ вагонамъ. Его прицѣпили. Кто-то, гдѣ-то, суетяся, разбилъ бутылку... Послышались прощанія, громкія всхлипыванія, женскіе голоса...

Около одного изъ вагоновъ второго класса стояли молодой человѣкъ и молодая дѣвушка. Оба прощались и плакали.

— Прощай, моя прелесть! — говорилъ молодой человѣкъ, цѣлуя дѣвицу въ бѣлокурую головку. — Прощай! Я такъ несчастливъ! Ты оставляешь меня на цѣлую недѣлю! Для любящаго сердца вѣдь это цѣлая вѣчность! Про...щай... Утри свои слезки... Не плачь...

Изъ глазъ дѣвушки брызнули слезы; одна слезинка упала на губу молодого человѣка.

— Прощай, Варя! Кланяйся всѣмъ... Ахъ, да! Кстати... Если увидишь тамъ Мракова, то отдай ему вотъ эти... вотъ эти... Не плачь, душечка... Отдай ему вотъ эти двадцать пять рублей...

Молодой человѣкъ вынулъ изъ кармана четвертную и подалъ ее Варѣ.

— Потрудись отдать... Я ему долженъ... Ахъ, какъ тяжело!

— Не плачь, Петя. Въ субботу я непременно... приѣду... Ты же не забывай меня...

Вѣлокурая головка склонилась на грудь Пети.

— Тебя? Тебя забыть?! Развѣ это возможно?

Ударилъ второй звонокъ. Петя сжалъ въ своихъ объятіяхъ Варю, замигалъ глазами и заревѣлъ, какъ мальчишка. Варя повисла на его шеѣ и застонала. Вошли въ вагонъ.

— Прощай! Милая! Прелесть! Черезъ недѣлю!

Молодой человѣкъ въ послѣдній разъ поцѣловалъ Варю и вышелъ изъ вагона. Онъ сталъ у окна и вынулъ изъ кармана платокъ, чтобы начать махать... Варя впиалась въ его лицо своими мокрыми глазами...

— Ваайдите въ вагонъ!—скомандовалъ кондукторъ.— Третій звонокъ! Праашу васъ!

Ударилъ третій звонокъ. Петя замахалъ платкомъ. Но вдругъ лицо его вытянулось... Онъ ударилъ себя по лбу и какъ сумасшедшій вбѣжалъ въ вагонъ.

— Варя! — сказалъ онъ, задыхаясь. — Я далъ тебѣ для Мракова двадцать пять рублей... Голубчикъ... Расписочку дай! Скорѣй! Расписочку, милая! И какъ это я забылъ?

— Поздно, Петя! Ахъ! Поѣздъ тронулся!

Поѣздъ тронулся. Молодой человѣкъ выскочилъ изъ вагона, горько заплакалъ и замахалъ платкомъ.

— Пришли хоть по почтѣ расписочку! — крикнулъ онъ кивавшей ему бѣлокурой головкѣ.

«Вѣдь этакій я дуракъ! — подумалъ онъ, когда поѣздъ исчезъ изъ вида. — Даю деньги безъ расписки! А? Какая оплошность, мальчишество! (Вздохъ)... Къ станціи, должно-быть, подѣзжаетъ теперь... Голубушка!»

РАЗСКАЗЪ, КОТОРОМУ ТРУДНО ПОДОБРАТЬ НАЗВАНІЕ.

Былъ праздничный полдень. Мы, въ количествѣ двадцати человѣкъ, сидѣли за большимъ столомъ и наслаждались жизнью. Наши пьяненькіе глазки покоились на прекрасной икрѣ, свѣжихъ омарахъ, чудной семгѣ и на массѣ бутылокъ, стоявшихъ рядами почти во всю длину стола. Въ желудкахъ было жарко, или, выражаясь по-арабски, всходили солнца. Ъли и повторяли. Разговоры вели либеральные... Говорили мы о... Могу я, читатель, поручиться за вашу скромность? Говорили не о клубникѣ, не о лошадяхъ... нѣтъ! Мы рѣшали вопросы. Говорили о мужикѣ, урядникѣ, рублѣ... (не выдайте, голубчикъ!). Одинъ вынулъ изъ кармана бумажечку и прочелъ стихи, въ которыхъ юмористически совѣтуется брать съ обывателей за смотрѣніе двумя глазами десять рублей, а за смотрѣніе однимъ — пять рублей, со слѣпыхъ же ничего не брать. Любостяжаевъ (Федоръ Андреевъ), человѣкъ обыкновенно смирный и почтительный, на этотъ разъ поддался общему теченію. Онъ сказалъ: «Его превосходительство Ивапъ Прохорычъ такая дылда... такая дылда!» Послѣ каждой фразы мы восклицали: «reheat!». Совратили съ пути истины и официантовъ, заставивъ ихъ выпить за фратерните... Тосты были шипучіе, забористые, самые возмутительные! Я, на-примѣръ, провозгласилъ тостъ за процвѣтаніе ест...—могу я поручиться за вашу скромность?.. естественныхъ наукъ.

Когда подали шампанское, мы попросили губернскаго секретаря Оттягаева, нашего Ренана и Спинозу, сказать

рѣчь. Поломавшись малость, онъ согласился и, оглянувшись на дверь, сказалъ:

— Товарищи! Между нами нѣтъ ни старшихъ ни младшихъ! Я, на примѣръ, губернской секретарь, не чувствую ни малѣйшаго поползновенія показывать свою власть надъ сидящими здѣсь коллежскими регистраторами, и въ то же время, надѣюсь, здѣсь сидящіе титулярные и надворные не глядятъ на меня, какъ на какую-нибудь чепуху. Позвольте же мнѣ... Ммм... Нѣтъ, позвольте... Поглядите вокругъ! Что мы видимъ?

Мы поглядѣли вокругъ и увидѣли почтительно улыбающіяся холуйскія физіи.

— Мы видимъ, — продолжалъ ораторъ, оглянувшись на дверь: — муки, страданія... Кругомъ кражи, хищенія, воровства, грабительства, лихоимства... Круговое пьянство... Притѣсненія на каждомъ шагѣ... Сколько слезъ! Сколько страдальцевъ! Пожалѣемъ ихъ, за...заплачемъ... (Ораторъ начинаетъ слезоточить). Заплачемъ и выпьемъ за...

Въ это время скрипнула дверь. Кто то вошелъ. Мы оглянулись и увидѣли маленькаго человѣчка съ большой лысиной и съ менторской улыбочкой на губахъ. Этотъ человѣчекъ такъ знакомъ намъ! Онъ вошелъ и остановился, чтобы дослушать тостъ.

— ...заплачемъ и выпьемъ, — продолжалъ ораторъ, возвысивъ голосъ: — за здоровье нашего пачальника, покровителя и благодѣтеля, Ивана Прохорыча Халчадаева! Ураааа!

— Урраааа! — загорлачили все двадцать горлъ, и по всемъ двадцати сладкой струйкой потекло шампанское...

Старичокъ подошелъ къ столу и ласково закивалъ намъ головой. Онъ, видимо, былъ въ восторгѣ.

БРАТЕЦЪ.

У окна стояла молодая дѣвушка и задумчиво глядѣла на грязную мостовую. Сзади нея стоялъ молодой человекъ въ чиновничьемъ вицмундирѣ. Онъ теребилъ свои усики и говорилъ дрожащимъ голосомъ:

— Опомнись, сестра! Еще не поздно! Сдѣлай такую милость! Откажи ты этому пузатому лабазнику, кацану этому! Плюнь ты на эту анаѹему толстомордую, чтобъ ему ни дна ни покрывки! Ну, сдѣлай ты такую милость!

— Не могу, братецъ! Я ему слово дала.

— Умоляю! Пожалѣй ты нашу фамилію! Ты благородная, личная дворянка, съ образованіемъ, а вѣдь онъ квасникъ, мужикъ, хамъ! Хамъ! Пойми ты это, неразумная! Воиучимъ квасомъ да тухлыми селедками торгуетъ! Жукликъ вѣдь! Ты ему вчера слово дала, а онъ сегодня же утромъ нашу кухарку на пятакъ обсчиталъ! Жилы тянетъ съ бѣднаго народа! Ну, а гдѣ твои мечтанія? А? Боже ты мой, Господи! А? Ты же вѣдь, послушай, нашего департаментскаго Мишку Треххвостова любишь, о немъ мечтаешь! И онъ тебя любитъ...

Сестра вспыхнула. Подбородокъ ея задрожалъ, глаза наполнились слезами. Видно было, что братецъ попалъ въ самую чувствительную «центру».

— И себя губишь и Мишку губишь... Запилъ малый! Эхъ, сестра, сестра! Польстилась ты на хамскіе капиталы, на сережечки да браслетки. Выходишь по расчету за дурмана какого-то... за свинство... За невѣжду выходишь... Фамиліи путемъ подписать не умѣеть! «Митрій Неколаевъ». «Не»... слышишь?... Неколаевъ... Ссскатина! Старъ, грубый, сиволапый... Ну, сдѣлай ты милость!

Голосъ братца дрогнулъ и засипѣлъ. Братецъ закашлялся и вытеръ глаза. И его подбородокъ запрыгаль.

— Слово дала, братецъ... Да и бѣдность наша опротивѣла...

— Скажу, коли ужъ на то пошло! Не хотѣлъ пачкать себя въ твоёмъ мѣстѣ, а скажу... Лучше реюме потерять, чѣмъ сестру родную въ погибели видѣть... Послушай, Катя, я про твоего лабазника тайну одну знаю. Если ты узнаешь эту тайну, то сразу отъ него откажешься... Вотъ какая тайна... Ты знаешь, въ какомъ пакостномъ мѣстѣ я однажды съ нимъ встрѣтился? Знаешь? А?

— Въ какомъ?

Братецъ раскрылъ ротъ, чтобы отвѣтить, но ему помѣшали. Въ комнату вошелъ парень въ поддевки, грязныхъ сапогахъ и съ большимъ кулькомъ въ рукахъ. Онъ перекрестился и сталъ у двери.

— Кланялся вамъ Митрій Терентичъ,—обратился онъ къ братцу: — и велѣли васъ съ воскреснымъ днемъ поздравить-съ... А вотъ это самое-съ въ собственные руки-съ.

Братецъ нахмурился, взялъ кулекъ, взглянулъ въ него и презрительно усмѣхнулся.

— Чтò тутъ? Ченуха, должно-быть... Гм... Голова сахару какая-то...

Братецъ вытащилъ изъ кулька голову сахару, снялъ съ нея колпакъ и пощелкалъ по сахару пальцемъ.

— Гм... Чьей фабрики сахаръ? Бобринскаго? То-то... А это чай? Воняетъ чѣмъ-то... Сардины какія-то... Помада ни къ селу ни къ городу... изюмъ съ соромъ... Задобритъ хочеть, подлизывается... Нѣ-ѣтъ-съ, милый дружокъ! Насъ не задобришь! А для чего это онъ цикорнаго кофею всунулъ? Я не пью. Кофей вредно пить... На нервы дѣйствуетъ... Хорошо, ступай! Кланяйся тамъ!

Парень вышелъ. Сестра подскочила къ брату, схватила его за руку... Братъ сильно подѣйствовалъ на нее своими словами. Еще бы слово и... не одобровать бы лабазнику!

— Говори же! Говори! Гдѣ ты его видѣлъ?

— Нигдѣ. Я пошутить... Дѣлай, какъ знаешь! — сказалъ братецъ и еще разъ постучалъ пальцемъ по сахару.

ЖЕНЩИНА БЕЗЪ ПРЕДРАЗСУДКОВЪ.

(Романъ).

Максимъ Кузьмичъ Салютовъ высокъ, широкоплечъ, осанистъ. Тѣлосложеніе его смѣло можно назвать атлетическимъ. Сила его чрезвычайна. Онъ гнетъ двугривенные, вырываетъ съ корнемъ молодяя деревца, поднимаетъ зубами гири и клянется, что нѣтъ на землѣ человѣка, который осмѣлился бы побороться съ нимъ. Онъ храбръ и смѣлъ. Напротивъ, его самого боятся и блѣднѣютъ передъ нимъ, когда онъ бываетъ сердитъ. Мужчины и женщины визжатъ и краснѣютъ, когда онъ пожимаетъ ихъ руки: больно!! Его прекрасный баритонъ невозможно слушать, потому что онъ заглушаетъ... Сила-человѣкъ! Другого подобнаго я не знаю.

И эта чудовищная, нечеловѣческая, воловья сила походила на ничто, на раздавленную крысу, когда Максимъ Кузьмичъ объяснялся въ любви Еленѣ Гавриловнѣ! Максимъ Кузьмичъ блѣднѣлъ, краснѣлъ, дрожалъ и не былъ въ состояніи поднять стула, когда ему приходилось выжимать изъ своего большого рта: «я васъ люблю!» Сила ступшевывалась, и большое тѣло обращалось въ большой пустопорожній сосудъ.

Онъ объяснялся въ любви на каткѣ. Она порхала по льду съ легкостью перышка, а онъ, гоняясь за ней, дрожалъ, млѣлъ и шепталъ. На лицѣ его были написаны страданія... Ловкія, поворотливыя ноги подгибались и путались, когда приходилось вырѣзывать на льду какой-нибудь прихотливый вензель... Вы думаете, онъ боялся отказа? Нѣтъ. Елена Гавриловна любила его и жаждала предложенія руки и сердца... Она, маленькая, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую минуту сгорѣть отъ нетерпѣнія... Ему уже тридцать, чинъ его не великъ, денегъ у него не особенно много, но зато онъ такъ кра-

сивъ, остроумень, ловокъ! Онъ отлично пляшетъ, прекрасно стрѣляетъ... Лучше его никто не ѣздитъ верхомъ. Разъ онъ, гуляя съ нею, перепрыгнулъ черезъ такую канаву, перепрыгнуть черезъ которую затруднился бы любой англійскій скакунъ!..

Нельзя не любить такого человѣка!

И онъ самъ зналъ, что его любятъ. Онъ былъ увѣренъ въ этомъ. Страдалъ же онъ отъ одной мысли... Эта мысль душила его мозгъ, заставляла его бѣсноваться, плакать, не давала ему пить, ѣсть, спать... Она отравляла его жизнь. Онъ клялся въ любви, а она въ это время копошилась въ его мозгу и стучала въ его виски.

— Будьте моей женой! — говорилъ онъ Еленѣ Гавриловнѣ. — Я васъ люблю! Бѣшено, страшно!!

И самъ въ то же время думалъ:

«Имѣю ли я право быть ея мужемъ? Нѣтъ, не имѣю! Если бы она знала, какого я происхожденія, если бы кто-нибудь рассказалъ ей мое прошлое, она дала бы мнѣ пощечину! Позорное, несчастное прошлое! Она, знатная, богатая, образованная, плюнула бы на меня, если бы знала, что я за птица!»

Когда Елена Гавриловна бросилась ему на шею и поклялась ему въ любви, онъ не чувствовалъ себя счастливымъ.

Мысль отравила все... Возвращаясь съ катка домой, онъ кусалъ себѣ губы и думалъ:

«Подлецъ я! Если бы я былъ честнымъ человѣкомъ, я рассказалъ бы ей все... все! Я долженъ былъ, прежде чѣмъ объяснить въ любви, посвятить ее въ свою тайну! Но я этого не сдѣлалъ и я, значить, негодяй, подлецъ!»

Родители Елены Гавриловны согласились на бракъ ея съ Максимомъ Кузьмичемъ. Атлетъ правился имъ: онъ былъ почителемъ и, какъ чиновникъ, подавалъ большія надежды. Елена Гавриловна чувствовала себя на эмпиреяхъ. Она была счастлива. Зато бѣдный атлетъ былъ далеко не счастливъ! До самой свадьбы его терзала та же мысль, что и во время объясненія...

Терзалъ его и одинъ пріятель, который, какъ свои пять пальцевъ, зналъ его прошлое... Приходилось отдавать пріятелю почти все свое жалованье.

— Угости обѣдомъ въ Эрмитажѣ! — говорилъ пріятель. — А то всемъ расскажу... Да двадцать пять рублей дай займы!

РЕВНИТЕЛЬ.

Двадцать лѣтъ собирался директоръ З.-Б.-Х. желѣзной дороги сѣсть за свой письменный столъ и наконецъ два дня тому назадъ собрался. Полжизни мысль, жгучая, острая, безнокойная, вертѣлась у него въ головѣ, выливалась въ благоприличную форму, округлялась, детализировалась, росла и наконецъ выросла до величины грандіознѣйшаго проекта... Онъ сѣлъ за столъ, взялъ въ руки перо и... вступилъ на тернистый путь авторства.

Утро было тихое, свѣтлое, морозное... Въ комнатахъ было тепло, уютно... На столѣ стоялъ стаканъ чаю и слегка дымилъ... Не стучали, не кричали, не лѣзли съ разговорами... Отлично писать при такой обстановкѣ! Бери перо въ руки—да и валяй себѣ!

Директору не нужно было много думать, чтобы начать... Въ головѣ у него давно уже было все начато и окончено: знай себѣ, списывай съ мозговъ на бумагу!

Онъ нахмурился, стиснулъ губы, потянулъ въ себя струю воздуха и написалъ заглавіе: «Нѣсколько словъ въ защиту печати». Директоръ любилъ печать. Онъ былъ преданъ ей всей душой, всѣмъ сердцемъ и всѣми своими помышленіями. Написать въ защиту «ея» свое слово, сказать это слово громко, во всеуслышаніе, было для него любимѣйшей двадцатилѣтней мечтой! Онъ «ей» обязанъ весьма многимъ: своимъ развитіемъ, открытіемъ злоупотребленій, мѣстомъ... многимъ! Нужно отблагодарить ее... Да и авторомъ хочется побыть хоть денекъ... Писателей хоть и ругаютъ, а все-таки почитаютъ... Въ особенности женщины... Гм...

Написавъ заглавіе, директоръ выпустилъ струю воздуха и въ минуту написалъ четырнадцать строкъ. Хорошо вышло, гладко... Онъ началъ вообще о печати и, исписавъ полъ-листа, заговорилъ о свободѣ печати... Онъ

потребовалъ... Протесты, историческія дашныя, цитаты, изреченія, упреки, насмѣшки такъ и посыпались изъ-подъ его остраго пера.

«Мы либералы, — писалъ онъ... — Смѣйтесь надъ этимъ терминомъ! Скальте зубы! Но мы гордимся и будемъ гордиться этимъ прозвищемъ, покедова...»

— Газеты принесли! — доложилъ лакей...

Въ десять часовъ директоръ обыкновенно читалъ газеты. И на этотъ разъ онъ не измѣнилъ своей привычкѣ. Оставивъ писаніе, онъ всталъ, потянулся, разлегся на кушеткѣ и принялся за газеты. Взявъ въ руки «Новое Время», онъ презрительно усмѣхнулся, пробѣжалъ глазами по передовой и, не дочитавъ до конца, бросилъ.

— «Краса Демидрона»... — проворчалъ онъ... — Я вамъ пррропшу!

Швырнувъ на кресло «Новое Время», директоръ взялся за «Голосъ». Глазки его затеплились хорошимъ чувствомъ, на щекахъ заигралъ румянецъ. Онъ любилъ «Голосъ» и самъ когда-то въ него понисывалъ.

Прочиталъ передовую и мелкія извѣстія... Пробѣжалъ фельетонъ... Чѣмъ болѣе онъ читалъ, тѣмъ маслянистѣе дѣлались его глазки. Прочиталъ «среди газетъ и журналовъ»... Перевалился на третью страницу...

— Да, да. Такъ... И я объ этомъ упомянулъ... Вѣрно, совершенно вѣрно!.. Гм. А это о чемъ?

Директоръ прищурилъ глаза...

«На З.-Б.-Х. желѣзной дорогѣ, — началъ онъ читать: — приступлено на-дняхъ къ разработкѣ одного довольно страннаго проекта... Творецъ этого проекта самъ директоръ дороги, бывший...»

Черезъ полчаса послѣ чтенія «Голоса» директоръ, красный, потный, дрожащій, сидѣлъ за своимъ письменнымъ столомъ и писалъ. Писалъ онъ «приказъ по линіи»... Въ этомъ приказѣ рекомендовалось не выписывать «нѣкоторыхъ» газетъ и журналовъ...

Возлѣ сердитаго директора лежали бумажные клочки. Эти клочки полчаса тому назадъ составляли собой «нѣсколько словъ въ защиту печати»...

Sic transit gloria mundi.

НА МАГНИТИЧЕСКОМЪ СЕАНСѢ.

Большая зала свѣтилась огнями и кишѣла народомъ. Въ ней царилъ магнетизеръ. Онъ, несмотря на свою физическую мизерность и несолидность, сіялъ, блисталъ и сверкалъ. Ему улыбались, аплодировали, повиновались... Передъ нимъ блѣднѣли.

Дѣлалъ онъ буквально чудеса. Одного усыпилъ, другого окоченилъ, третьяго положилъ затылкомъ на одинъ стулъ, а пятками на другой... Одного, тонкаго и высокаго журналиста, согнулъ въ спираль. Дѣлалъ, однимъ словомъ, чортъ знаетъ что. Особенно сильное вліяніе имѣлъ онъ на дамъ.

Онѣ падали отъ его взгляда, какъ мухи. О, женскіе нервы! Не будь ихъ, скучно жилось бы на этомъ свѣтѣ!

Испытавъ свое чертовское искусство на всѣхъ, магнетизеръ подошелъ и ко мнѣ.

— Мнѣ кажется, что у васъ очень податливая натура, — сказалъ онъ мнѣ. — Вы такъ нервны, экспрессивны... Не угодно ли вамъ уснуть?

Отчего не уснуть? Изволь, любезный, пробуй. Я сѣлъ на стулъ среди залы. Магнетизеръ сѣлъ на стулъ *vis-à-vis*, взялъ меня за руки и своими страшными змѣиными глазами впился въ мои бѣдные глаза.

Насъ окружила публика.

— Тесс... Господа! Тесс... Тише!

Утихомирились... Сидимъ, смотримъ въ зрачки другъ друга... Проходитъ минута, двѣ... Мурашки забѣгали по спинѣ, сердце застучало, но спать не хотѣлось...

Сидимъ... Проходитъ пять минутъ, семь...

— Онъ не поддается! — сказалъ кто-то. — Bravo! Молодецъ мужчина!

Сидимъ, смотримъ... спать не хочется и даже не дре-

млется... Отъ думскаго или земскаго протокола я давно бы уже спалъ... Публика начинаетъ шептаться, хихикать... Магнитизеръ конфузится и начинаетъ мигать глазами... Бѣдняжка! Кому пріятно потерѣть фіаско? Спасите его, духи, пошлите на мои вѣки морфея!

— Не поддается! — говоритъ тотъ же голосъ. — Довольно, бросьте! Говорилъ же я, что все это фокусы!

И вотъ въ то время, когда я, внявъ голосу пріятеля, сдѣлалъ движеніе, чтобы подняться, моя рука нащупала на своей ладони посторонній предметъ... Пустивъ въ ходъ осязаніе, я узналъ въ этомъ предметѣ бумажку. Мой папаша былъ докторомъ, а доктора однимъ осязаніемъ узнають качество бумажки. По теоріи Дарвина, я со многими другими способностями унаслѣдовалъ отъ папашы и эту милую способность. Въ бумажкѣ узналъ я пятирублевку. Узнавъ, я моментально уснулъ.

— Bravo, магнитизеръ!

Доктора, бывшіе въ залѣ, подошли ко мнѣ, повертѣлись, понюхали и сказали:

— Н-да... усыпленъ...

Магнитизеръ, довольный успѣхомъ, помахалъ надъ моею головою руками — и я, спящій, зашагалъ по залѣ.

— Тетанируйте его руку! — предложилъ кто-то. — Можете? Пусть его рука очоченѣтъ...

Магнитизеръ (не робкій человѣкъ!) вытянулъ мою правую руку и началъ производить на ней свои манипуляціи: погреть, подуесть, похлопаетъ. Моя рука не повиновалась. Она болталась, какъ тряпка, и не думала коченѣть.

— Нѣтъ тетануса! Разбудите его, а то вѣдь вредно... Онъ слабенькій, нервный...

Тогда моя лѣвая рука почувствовала на своей ладони пятирублевку... Раздраженіе путемъ рефлекса передалось съ лѣвой на правую, и моментально очоченѣла рука.

— Bravo! Поглядите, какая твердая и холодная! Какъ у мертвеца!

— Полная анестезія, пониженіе температуры и ослабленіе пульса, — доложилъ магнитизеръ.

Доктора начали щупать мою руку.

— Да, пульсъ слабѣе, — замѣтилъ одинъ изъ нихъ.

— Полный тетанусъ. Температура много ниже.

— Чѣмъ же это объяснить? — спросила одна изъ дамочекъ.

Докторъ значительно пожалъ плечами, вздохнулъ и сказалъ:

— Мы имѣемъ только факты! Объясненій — увы! — нѣтъ...

Вы имѣете факты, а я двѣ пятирублевки. Мои дороже... Спасибо магнитизму и за это, а объясненій мнѣ не нужно...

Бѣдный магнитизеръ! И зачѣмъ ты со мной, съ аспидомъ связался?

Р. S. Ну не проклятiе ли? Не свинство ли?

Сейчасъ только узналъ, что пятирублевки вкладывалъ въ мой кулакъ не магнитизеръ, а Петръ Федорычъ, мой начальникъ...

— Это, говорить, я тебѣ для того сдѣлалъ, чтобы узнать твою честность...

Ахъ, чортъ возьми!

— Стыдно, братъ... Нехорошо... Не ожидалъ...

— Но вѣдь у меня дѣти, ваше превосходительство... Жена... Мать... При пынѣшней дороговизнѣ...

— Нехорошо... А еще тоже газету свою издавать хочешь... Плачешь, когда на обѣдахъ рѣчи читаешь... Стыдно... Думалъ, что ты честный человекъ, а выходитъ, что ты... хапень зи гевезень...

Пришлось возвратить ему двѣ пятирублевки. Чтò жъ дѣлать? Реноме дороже денегъ.

— На тебя я не сержусь! — говорить начальникъ. — Чортъ съ тобой, натура ужъ у тебя такая... Но она! Она! У-ди-вительно! Она кротость, невинность, бланманже и прочее! А? Вѣдь и она польстилась на деньги! Тоже уснула!

Подъ словомъ она мой начальникъ подразумѣваетъ свою супругу, Матрешу Николаевну...

ПАТРІОТЪ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА.

Маленькій нѣмецкій городокъ. Имя этого городка носитъ одна изъ извѣстнѣйшихъ цѣлебныхъ водъ. Въ немъ больше отелей, чѣмъ домовъ, и больше иностранцевъ, чѣмъ нѣмцевъ.

Хорошее пиво, хорошенькихъ служанокъ и чудный видъ вы можете пайти въ отелъ, стоящемъ на краю (лѣвомъ) города, на высокой горѣ, въ тѣни прелестнѣйшаго сада.

Въ одинъ прекрасный вечеръ на террасѣ этого отеля за бѣлымъ мраморнымъ столикомъ сидѣло двое русскихъ. Они пили пиво и играли въ шашки. Оба старательно лѣзли «въ дамки» и бесѣдовали объ успѣхахъ лѣченія. Оба пріѣхали сюда лѣчиться отъ большого живота и ожирѣнія печени.

Сквозь листву пахучихъ лигъ глядѣла на нихъ нѣмецкая лупа... Маленькій кокетливый вѣтерокъ нѣжно терблялъ россійскіе усы и бороды и вдувалъ въ уши русскихъ толстячковъ чуднѣйшіе звуки.

У подножія горы играла музыка. Нѣмцы праздновали годовщину какого-то нѣмецкаго событія. Мотивы не доносились до вершины горы — далеко!

Доносилась одна только мелодія... Мелодія меланхолическая, самая разнѣмецкая, плакучая, тягучая... Слушаешь ее — и сладко пыть хочется...

Русскіе лѣзли «въ дамки» и задумчиво внимали. Оба были въ блаженнѣйшемъ настроеніи духа. Шопотъ лигъ, кокетливый вѣтерокъ, мелодія со своей меланхоліей — все это, вмѣстѣ взятое, развезло ихъ русскія души.

— При такой обстановкѣ, Тарасъ Ивановичъ, хорошо тово... любить, — сказалъ одинъ изъ нихъ.

— Влюбиться въ какую-нибудь, да по темной аллеякѣ пройтись...

— М-да...

И наши русскіе завели рѣчь о любви, о дружбѣ... Сладкія мгновенія! Кончилось тѣмъ, что оба незаметно, безсознательно оставили въ покоѣ шашки, подперли свои русскія головы кулаками и задумались.

Мелодія становилась все слышнѣе и слышнѣе. Скоро она уступила свое мѣсто мотиву. Стали слышны не только трубы и контрабасы, но и скрипки.

Русскіе поглядѣли внизъ и увидѣли факельную процессію. Процессія двигалась вверхъ. Скоро сквозь липы блеснули красные огни факеловъ, послышалось стройное пѣніе, и музыка загремѣла надъ самыми ушами русскихъ. Молодые дѣвушки, женщины, солдаты, бурши, старцы въ мгновеніе наполнили длинную, стройную аллею, освѣтили весь садъ и страшно загладѣли... Сзади несли боченки съ пивомъ и виномъ. Сыпали цвѣты и жгли разноцвѣтные бенгальскіе огни.

Русскіе умилились духомъ. И имъ захотѣлось участвовать въ процессіи. Они взяли свои бутылки и смѣшались съ толпой. Процессія остановилась на полянкѣ за отелемъ. Вышелъ на средину какой-то старичокъ и сказалъ что-то. Ему аллодировали. Какой-то буршъ взобрался на столъ и произнесъ трескучую рѣчь. За нимъ— другой, третій, четвертый... Говорили, взвизгивали, махали руками...

Петръ Ѳомичъ умилился. Въ груди его стало свѣтло, тепло, уютно. При видѣ говорящей толпы, самому хочется говорить. Рѣчь заразительна. Петръ Ѳомичъ протискался сквозь толпу и остановился около стола. Помахавъ руками, онъ пробрался сквозь толпу и остановился около стола. Помахавъ руками, онъ взобрался на столъ. Еще разъ помахавъ руками. Лицо его побагровѣло. Онъ покачнулся и закричалъ коснѣющимъ, пьянымъ языкомъ: «Ребята! Нѣ...нѣмцевъ бить!»

Счастье его, что нѣмцы не понимаютъ по-русски!

ХИТРЕЦЪ.

Шли два пріятеля вечернею порою и дѣльный разговоръ вели между собой. Шли они по Невскому. Солнце уже зашло, но не совсѣмъ... Кое-гдѣ золотились еще домовыя трубы и сверкали церковныя кресты... Въ слегка морозномъ воздухѣ пахло весной...

— Весна близко! — говорилъ одинъ пріятель другому, стараясь взять его подъ руку. — Пакостница эта весна! Грязь вездѣ, нездоровье, расходовъ много... Дачу нанимай, то да се... Ты, Павелъ Ивановичъ, провинціалъ и не поймешь этого... Тебѣ не понять. У васъ въ провинціи, какъ выразился однажды какой-то писатель, благодушіе одно только... Ни горя ни печалей. Ъдите, пьете, спите и никакихъ вопросовъ не знаете... Не то, что мы... Подмерзать начало... замѣчасшь? Впрочемъ, и у васъ не безъ горя... И у васъ весной своя печаль. Хе-хе-хе. Теперь у васъ, провинціаловъ, начинаетъ кровь играть... страсти бушуютъ. Мы, столичныя — люди каменные, лдяныя, нѣтъ въ насъ пламени, и страстей мы не знаемъ, а вы вулканы, везувіи! Пш! пш! Дышитъ! Хе-хе-хе... Ой, обожгусь! А признайся-ка, Павелъ Ивановичъ, сильно кровь играетъ?

— Не къ чему ей играть... — угрюмо отвѣтилъ Павелъ Ивановичъ.

— Да ну, полно, оставь! Ты холостой, не старый человекъ, отчего же ей и не поиграть? Пусть себѣ играетъ, коли хочетъ!.. И напрасно ты конфузишься... Ничего тутъ конфузнаго нѣтъ... Такъ только! (Пауза). А какую, братъ, я недавно дѣвочку видѣлъ, какую дѣвочку! Пальчики оближешь! Губами сто разъ чмокнешь, когда увидишь! Огонь! Формы! Честное слово... Хочешь, познакомлю? Полячка... Созей зовутъ... Хочешь, сведу къ ней?

— Гм... Извини, Семень Петровиць, а я тебѣ скажу, что такъ дворянамъ не надлежитъ поступать! Не надлежитъ!! Это бабье дѣло, кабацкое, а не твое, не дворянское!

— Что такое? Да ты... чего? — струсилъ Семень Петровиць.

— Стыдно, братъ! Твой отецъ-покойникъ предводителемъ у насъ былъ, матушка въ уваженіи... Стыдно! Я у тебя уже мѣсяць гощу и одну за тобой черту замѣтилъ... Нѣтъ у тебя того знакомаго, нѣтъ того встрѣчнаго и поперечнаго, которому бы ты дѣвочки не предлагалъ!.. То тому, то другому... И разговора у тебя другого нѣту... Подсватываньемъ занимаешься. А еще тоже женатый, почтенный, въ дѣйствительные скоро полѣзешь, въ превосходительные... Стыдъ, срамъ!.. Мѣсяць живу у тебя, а ты мнѣ ужъ десятую предлагаешь... Сваха!..

Семень Петровиць сконфузился, завертѣлся, точно его на карманномъ воровствѣ поймали.

— Да я ничего... — залепеталъ онъ. — Я это такъ только... Хе-хе-хе... Какой же ты...

Прошли шаговъ двадцать молча.

— Несчастный я человѣкъ! — застоналъ вдругъ Семень Петровиць, багровѣя и мигая глазками. — Несчастный я! Это ты вѣрно, что я сваха! Вѣрно! И былъ такимъ и до самой гробовой доски такимъ буду, ежели хочешь знать! Въ аду за это самое горѣть буду!

Семень Петровиць отчаянно махнулъ правой рукой, а лѣвой провелъ по глазамъ. Цилиндръ его сползъ на затылокъ, калоши сильнѣе заскребли по тротуару. Кончикъ носа налился кровью...

— Пропадомъ пропаду за свое поведеніе! И умру не своей смертью! Погибну! Чувствую, братъ, свой порокъ и понимаю, но ничего я съ собой не подѣлаю. Вѣдь для чего я всѣхъ женскимъ поломъ пичкаю? Поневолѣ, братъ! Ей-ей, поневолѣ! Ревнивъ я, какъ собака! Каюсь тебѣ, какъ другу моему... Ревность меня одолѣла! Женился я, самъ знаешь, на молоден кой, на красавицѣ... Каждый за ней ухаживаетъ, т.-е., можетъ-быть, на нее никто и глядѣть не хочетъ, но мнѣ все кажется... Слѣпой курицѣ, знаешь, все пшевица. Всякаго шага боюсь... Намедни ты послѣ обѣда ей руку пожалъ только, а мнѣ ужъ все показалось... ножомъ вырнуть тебя захотѣлось... Всего боюсь! Ну, и приходится поневолѣ хитрость упо-

треблять. Какъ только замѣчу, что кто-нибудь начинаетъ увиваться около, я сейчасъ и подѣзжаю съ дѣвочкой, — не хочешь ли, моль? Отводъ, хитрость военная... Дуракъ я! Чтò я дѣлаю! Стыдъ, срамъ! Каждый день по Певскому бѣгаю, вербую для пріятелей этихъ шлепохвостыхъ тварей... Вотъ этихъ подлянокъ! А сколько у меня на нихъ денегъ сходить, ежели бы ты зналъ! Нѣкоторые, пріятели-то, поняли мою слабость и пользуются... На мой счетъ пробавляются, подлецы... Ахъ!

Семень Петровичъ взвизнулъ и поблѣднѣлъ. По Певскому мимо пріятелей прокатила коляска. Въ ней сидѣла молодая дамочка; *vis-à-vis* дамочки сидѣлъ мужчина.

— Видишь, видишь?! Жена ѣдетъ. Ну, какъ тутъ не ревновать? А? Вѣдь это онъ ужъ третій разъ съ ней катается! Недаромъ! Недаромъ, шельмецъ! Видалъ, какъ онъ на нее поглядываетъ? Прощай... Побѣгу... Такъ не хочешь Созю? Нѣтъ? Не хочешь! Прощай... Такъ я ему се... Созю-то...

Семень Петровичъ нахлобучилъ поглубже шляпу и, стуча палкой, побѣжалъ, стараясь не потерять изъ виду коляски.

— Отецъ предводителемъ былъ, — вздохнулъ Павелъ Иванычъ. — Матушка въ уваженіи... И фамилія знатная, столбовая... А-а-ахъ! Измельчалъ народъ!

1883.

БЛАГОДѢТЕЛИ.

Зала и гостиная т-ме Тюриковой были полны народа. Особы обоого пола сидѣли на мягкихъ креслахъ, кушали фрукты и, отъ-печего-дѣлать, подъ шумокъ жеванья, бранили докторовъ. Бранили на чемъ свѣтъ стоитъ, не жалѣя ни словъ ни выражений. Было сказано много чепухи, но много и дѣльнаго, такъ много, что даже самъ Шарко почувствовалъ бы угрызенія совѣсти, если бы сталъ за дверью и подслушалъ. Порѣшили, что, пока существуютъ во вселенной доктора, безсмертіе невозможно...

— Впрочемъ, госнода, иногда... впрочемъ... — заговорила въ концѣ концовъ маленькая, тпедущная блондиночка, кушая дюшеску и краснѣя. — Иногда доктора бываютъ полезны... Нельзя отрицать ихъ пользы въ нѣкоторыхъ случаяхъ... Въ семейной жизни, напримѣръ. Представьте себѣ, что жена... Мужа моего нѣтъ здѣсь?

Блондиночка окинула взоромъ собесѣдниковъ и, убѣдясь, что въ гостиной нѣтъ ея мужа, продолжала:

— Представьте себѣ, что жена въ силу какихъ бы тамъ ни было причинъ... не желаетъ, чтобы, положимъ, онъ... не смѣлъ и подходить къ ней... Представьте, что она не можетъ, однимъ словомъ... любить мужа, потому что... однимъ словомъ, отдалась другому... любимому существу. Ну, что ей прикажете дѣлать? Она отправляется къ доктору и проситъ его, чтобы онъ... нашель причины... Докторъ идетъ къ мужу и говоритъ ему, что если... У Писемскаго даже есть кое-что въ этомъ родѣ... Докторъ приходитъ къ мужу и во имя здоровья жены приказываетъ ему отказаться отъ своихъ супружескихъ обязанностей... Vous comprenez?

— А я такъ ничего не имѣю противъ господъ докторовъ, — сказалъ сидящій въ сторонѣ на креслѣ старичокъ, губернской секретарь Арахринъ. — Милѣйшій и, могу вамъ присокупить, умнѣйшій народъ! Благодарители наши они, ежели вникнуть... Разсудите сами, сударыни мои... Вы вотъ, мадамъ, сейчасъ насчетъ супружескихъ обязанностей говорили, а я вамъ скажу насчетъ нашихъ обязанностей... Мы тоже вѣдь любимъ спокойствіе и возделѣніе душевное этакое... чтобъ все хорошо было. Службу свою я знаю, но ежели, ваше, положимъ, превосходительство, вы изволите требовать что поверхъ службы, то извините-съ... мерси-съ... атанде... Намъ нашъ покой тоже дорогъ... Вы знаете нашего? Душа человѣкъ! Великодушіе! Всѣ поступки, можно сказать, душевные... И не обидитъ тебя, руку тебѣ подастъ, насчетъ семейства разспроситъ... Начальникъ, а равнаго съ тобой поведенія... Шуточки этакъ, прибауточки всякія, консуме... Какъ отецъ... Вы вѣдь знаете его... Но раза три въ годъ въ этомъ великомъ человѣкѣ переворотъ бываетъ. Мѣняется! Совсѣмъ другимъ дѣлается и... не дай тебѣ, Господи! Любить, знаете ли, реформы проводить... Это его струна, идея, какъ говорятъ социалисты... И когда вотъ онъ — раза три въ годъ съ нимъ это случается — начнетъ реформы проводить, не подходи къ нему тогда! Словомъ зарѣжетъ, убьетъ! Какъ тигръ или левъ какой-нибудь. Красный ходитъ такой, потный, дрожитъ, обижается, говоритъ, что у него людей нѣтъ, а все одно только свинство дармоѣдное... «Петрова удалить, Макарова перевести, Арахрину напстрожайшій выговоръ!»... Страсть! Ходимъ всѣ блѣдные и помираемъ отъ ужаса. Всѣхъ раскассируетъ! — «Клопы, говоритъ, вы, и васъ раздавить надо. Клопы. — вотъ вамъ цѣна ваша!» Гм... Клопы-то клопы... а ты... хе-хе-хе... тараканъ надутый... И держитъ насъ на службѣ до поздней ночи... Пишемъ, бѣгаемъ, архивъ роемъ, справки... и не дай Богъ! И злему татарину этого не желаю. Въ аду кромѣшномъ лучше... А наемдн плакалъ, что его не понимаютъ, что помощниковъ настоящихъ у него нѣтъ... Плакалъ-съ!!! А нешто намъ пріятно видѣть, какъ начальникъ плачетъ?

Арахринъ умолкъ и отвернулся, чтобы не показать слезъ, заблестѣвшихъ на его глазахъ.

— При чемъ же тутъ доктора? — спросила блондиночка.

— А вотъ при чемъ-съ... Пойдите-съ... Какъ только

мы запримѣтимъ, стало-быть, что начинается этотъ самый переворотъ, мы сейчасъ къ доктору: «Иванъ Матвѣичъ, голубчикъ! Вели казнить, но дай слово вымолвить! Сдѣлай божескую милость, спровадь ты его за границу! Жить не даетъ! Въ петлю лѣземъ!» Ну-съ... Докторъ-то старичокъ славный такой. Извѣстно, самъ въ подчиненіи былъ и всю сладость вкусилъ. Идетъ къ нашему, свидѣтельствуеть. «Печенки, говорить, не того... Что-то въ нихъ такъ не того, ваше превосходительство. Вамъ бы въ заграницу, водами пользоваться»... Ну, напугаетъ печенками, а тотъ, извѣстно, трусь, болѣзней страшится... Сейчасъ въ заграницу, а реформы — тютю! Хе-хе-хе... Мѣсяца полтора ѣздитъ, а мы... Хе-хе-хе... Вотъ-съ!

— А вотъ ежели присяжнымъ завсегдателемъ, положимъ... — началъ купецъ Бурлыкинъ. — Къ кому итти, ежели...

Послѣ купца стала говорить м-ше Ежикова, сынъ которой недавно чуть-было не пошелъ на военную службу.

И ругань уступила свое мѣсто похвальбѣ.

1883.

РЫЦАРИ БЕЗЪ СТРАХА И УПРЕКА.

На станціи «Разбейся», въ апартаментахъ г. начальника станціи застѣдало большое общество. Тутъ были начальники станціи, начальники дистанцій, магазиновъ, депо и проч., отставные и не отставные, старые и молодые. Между форменными путейскими сюртуками видѣлись цвѣта женскихъ *modes et robes*, попадались и дѣтскія мордочки... Компанія пила чай, играла въ карты, музицировала и услаждала себя бесѣдою. Говорили о случаяхъ, случайно случившихся на той или другой линіи. Разказано было много, не написать всего. Одинъ г. Укусиловъ говорилъ два часа... Извольте-ка написать! Буду по обычаю кратокъ.

— Три вагона разбило! — кончилъ свою двухчасовую рѣчь г. Укусиловъ. — Двое убитыхъ, пять раненыхъ, а что паче сего, то отъ лукаваго: неофициально, то-есть... Хе-хе-хмы... Изъ одной артели было шесть раненыхъ... Призываю ихъ... «Ежели!.. Да кто-нибудь! Да кому-нибудь! Говори, что ушибся!» Двумъ солдатикамъ по трешкѣ дадено было для уснокоенія: молчи и не распространяйся! Предостереженій много принято было, а между тѣмъ не обошлось безъ худа. Съ мѣста меня пугнули и судомъ пригрозили. Ты-де, молъ, спалъ и телеграммы не далъ. Начальнику станціи, выходить, и спать нельзя... Народъ безсовѣстный... Изъ-за пустяковъ семейнаго человѣка мѣста лишили. Въ одномъ изъ вагоновъ начальнику движенія изъ его усадьбы свѣжихъ раковъ везли, да при суматохѣ растеряли. Начальникъ мечталъ въ этотъ вечеръ раки а ла борделезъ кушать. Воспитанія нѣжнаго... И не будь этихъ самыхъ раковъ подлыхъ—не приле-

тѣло бы ко мнѣ на станцію слѣдствіе и не потерялъ бы я мѣста...

— Вы и теперь безъ мѣста? — спросила поповна изъ сосѣдняго села (она пріѣхала на станцію попросить «по знакомству» для мамы безплатнаго проѣзда къ тетѣ).

— Какое! Черезъ недѣлю я служилъ ужъ на другой дорогѣ, хоть и подъ судомъ числился.

— А вотъ-съ... тоже случай, — началъ г. Гарцуновъ, наливая себѣ водки. — Вы, конечно, знаете Ивана Михайлыча, что оберъ-кондукторомъ ѣздилъ. Бестія, я вамъ скажу! Честнѣйшій человекъ, благороднѣйшій, но мерзавецъ въ своемъ родѣ, архаровецъ... То-есть не мерзавецъ, а такъ себѣ... геній въ своемъ родѣ, коршунъ... Приходитъ онъ однажды на «Живодерово» съ поѣздомъ... Съ товарнымъ онъ ѣздилъ. Въ пассажирскіе его не производили, потому что женщины онъ не могъ видѣть равнодушно: припадокъ съ нимъ дѣлался. Приходитъ онъ съ поѣздомъ... А на ту пору на платформѣ человекъ тридцать косарей стояло. Время рабочее, знаете ли, лѣтнее...

«— Куда идете, косарики? — спрашиваетъ. — Давайте, говоритъ, я васъ въ товарномъ поѣздѣ до слѣдующей станціи доведу. По гривеннику, говоритъ, возьму съ человека, только...

«Тѣмъ это на руку, разумѣется, того только и нужно. Получилъ съ нихъ Иванъ Михайлычъ по гривеннику и засадилъ всѣхъ въ служебный вагонъ. Поѣхали наши косари... Отъ восторга пѣсню заѣли. Па-а-а-а! На ту пору я въ вагонѣ ѣхалъ, поспѣть на крестины хотѣлъ, къ Ильѣ, вотъ, Петровичу... Олечку ихнюю крестили...

«— Зачѣмъ вы, говорю, Иванъ Михайлычъ, ихъ насажали? Вѣдь на станціи контролеръ!

«— Ну те?

«— Сейчасъ помереть...

«Иванъ Михайлычъ задумался. Извѣстно, не хотѣлось оконфузиться. Оно-то ничего, знаете, всѣ даромъ возятъ и всѣмъ это великолѣпно извѣстно, но неловко какъ-то, знаете. Да и контролеры разные бываютъ. Иной чортъ такой попадется, что жизни не радъ будешь. Бываетъ! По злобѣ больше доносятъ, или отличиться передъ начальствомъ кто хочетъ.

«— Поѣздъ не остановишь, — говоритъ Иванъ Михайлычъ: — а сеадить ихъ, чертей, надо... какъ быть?

«А тутъ еще поѣздъ намъ встрѣтился, съ тремя фона-

рями на служебномъ вагонѣ. У нихъ, у кондукторовъ, знакъ такой: ежели на служебномъ вагонѣ три фонаря, положимъ, два флага или что-нибудь другое условное, то на станціи, значитъ, контролеръ. Мои слова подтвердились. Иванъ Михайлычъ думалъ и надумалъ. Патѣха! Отворяетъ въ вагонѣ дверь, беретъ господь косарей за шиворотъ и на всемъ ходу — маршъ! Прыгай! Запрыгали косари... Хе-хе-хе... Какъ снопы повалились.

«— Прыгай! — кричить. — Прыгай напередъ и ничего тебѣ не будетъ! Прыгай, такой, сякой! Чортъ, дьяволь!

«Мы глядимъ и со смѣху помираемъ... Всѣ соскочили. Одинъ только ногу себѣ сломалъ, а остальные всѣ благополучно. Такъ и пропали ихніе гривенники... Хе-хе-хе... Черезъ недѣлю какъ-то узнали объ этомъ скандалѣ, выцарапали откуда-то косаря со сломанной ногой... Донесъ кто-то, шутъ возьми... Злоба людская... Косарю дали пять рублей, а Ивана Михайлыча съ мѣста долой...»

— И онъ безъ мѣста теперь?

— Въ оперу, слышалъ, поступаетъ. Баритонъ у него славный. Ъдетъ, бывало, въ поѣздѣ, нальется и давай пѣть. Звѣри заслушивались, птицы плакали! Талантливый человекъ, и говорить нечего...

1883.

ЯДОВИТЫЙ СЛУЧАЙ.

Какъ опасно иногда выписывать газеты, свидѣтельствуемъ слѣдующій случай, имѣвшій мѣсто не такъ давно въ одной изъ московскихъ редакцій.

Фельетонистъ С. М., въ ожиданіи редактора, къ которому онъ явился за полученіемъ гонорара, сидѣлъ въ конторѣ, зѣвалъ и отъ-нечего-дѣлать перелистывалъ конторскія книги. Возлѣ него сидѣлъ секретарь и водилъ тупымъ карандашомъ по столу. А вы видѣли когда-нибудь редакціонные столы? Интересные столы! Они всѣ испараны, запачканы, исписаны каракульками, рожицами, подписями. Попадаются нерѣдко подписи извѣстныхъ людей... Эти каракульки знаменательны: ояъ свидѣтель-

ствують, какъ долго ожидается гонораръ и какъ скучно его полученіе... Повозившись съ книгами, С. М. машинально взялъ изъ рукъ секретаря карандашъ и началъ имъ водить по «Донской Пчелѣ»... Скука! Отъ карандаша онъ перешелъ къ полочкѣ съ адресами. Это обыкновенныя полочки, на которыхъ лежатъ маленькія пачечки. Каждая пачечка состоитъ изъ бумажекъ, на каждой бумажкѣ начертанъ адресъ подписчика. С. М. началъ лѣниво разсматривать пачечки... Ельцы, Бердянски, Орлы, Скуратовы... Ивановы, Петровы, Сидоровы... Скучно!

«Гм... Какая же это Елена Петровна Пьявкина? Гм... Въ Ростовѣ-на-Дону... Чортъ возьми! Это она!»

С. М. повертѣлъ въ рукахъ адресъ Пьявкиной и еще разъ прочелъ его.

«Да, это она! — порѣшилъ онъ. — Пять лѣтъ тому назадъ она бѣжала отъ меня и утѣшила тысячу рублей... Гм... Пять лѣтъ я искалъ ее и не находилъ... Очень радъ! Надо принять мѣры».

Фельетонистъ записалъ адресъ Елены Петровны, улыбнулся и, ликующей, зашагалъ по конторѣ.

— Я васъ угощаю сегодня обѣдомъ! — обратился онъ къ секретарю. — Съ меня могорычъ!

На другой день С. М. былъ у своего адвоката. Бѣдная Елена Петровна!

1883.

В Е Р Б А .

Кто ѣздилъ по почтовому тракту между Б. и Т.? Кто ѣздилъ, тотъ, конечно, помнить и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу рѣчки Козявки. Мельница маленькая, въ два постава... Ей больше ста лѣтъ, давно уже она не была въ работѣ, и немудрено поэтому, что она напоминаетъ собой маленькую, сгорбленную, обрванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она не облакачивалась о старую, широкую вербу. Верба широкая, не обхватить ея и двоимъ. Ея лосиящаяся листва спускается на крышу, на плотину; нижнія вѣтви купаются въ водѣ и стелются по землѣ. Она тоже стара и сгорблена. Ея горбатый стволъ обезображенъ большимъ темнымъ дупломъ. Всуньте руку въ дупло, и ваша рука увязнетъ въ черномъ меду. Дикія пчелы зажужжать около вашей головы и жалятъ. Сколько ей лѣтъ? Архипъ, ея пріятель, говоритъ, что она была старой еще и тогда, когда онъ служилъ у барина въ «французахъ», а потомъ у барыни въ «неграхъ», а это было слишкомъ давно.

Верба подираетъ и другую развалину — старика Архипа, который, сидя у ея корня, отъ зари до зари удить рыбку. Онъ старъ, горбатъ, какъ верба, и беззубый ротъ его похожъ на дупло. Днемъ онъ удить, а ночью сидитъ у корня и думаетъ. Оба, старуха-верба и Архипъ, день и ночь шепчуть... Оба на своемъ вѣку, видывали виды. Послушайте ихъ...

Лѣтъ 30 тому назадъ, въ Вербное воскресенье, въ день именинъ старухи-вербы, старикъ сядетъ на своемъ мѣстѣ,

глядѣлъ на весну и удиль. Кругомъ было тихо, какъ всегда... Слышался только шопотъ стариковъ, да изрѣдка всплескивала гуляющая рыба. Старикъ удиль и ждалъ полдня. Въ полдень онъ начиналъ варить уху. Когда тѣмъ вербы начинала отходить отъ того берега, наступалъ полдень. Время Архипъ узнавалъ еще и по почтовымъ звонкамъ. Ровно въ полдень черезъ плотину проѣзжала Т — я почта.

И въ это воскресенье Архипу послышались звонки. Онъ оставилъ удочку и сталъ глядѣть на плотину. Тройка перевалила черезъ бугоръ, спустилась внизъ и шагомъ поѣхала къ плотинѣ. Почтальонъ спалъ. Въѣхавъ на плотину, тройка почему-то остановилась. Давно уже не удивлялся Архипъ, но на этотъ разъ пришлось ему сильно удивиться. Случилось нѣчто необыкновенное. Ямщикъ оглянулся, безпокойно задвигался, сдернулъ съ лица почтальона платокъ и взмахнулъ кистенемъ. Почтальонъ не пошевелился. На его бѣлокурой головѣ зазіяло багровое пятно. Ямщикъ соскочилъ съ телѣги и, размахнувшись, нанеся другой ударъ. Черезъ минуту Архипъ услышалъ возлѣ себя шаги: съ берега спускался ямщикъ и шелъ прямо на него. Его загорѣвшее лицо было блѣдно, глаза тупо глядѣли Богъ знаетъ куда. Трясаясь всѣмъ тѣломъ, онъ подбѣжалъ къ вербѣ и, не замѣчая Архипа, сунулъ въ дуло почтовую сумку; потомъ побѣжалъ вверхъ, вскочилъ на телѣгу и, странно показалось Архипу, нанеся себѣ по виску ударъ. Окровавивъ себѣ лицо, онъ ударилъ по лошадамъ.

— Караулъ! Рѣжутъ! — кричалъ онъ.

Ему повторило эхо, и долго Архипъ слышалъ это «караулъ». Дней черезъ шесть на мельницу пріѣхало слѣдствіе. Сняли планъ мельницы и плотины, измѣрили для чего-то глубину рѣки и, пообѣдавъ подъ вербой, уѣхали, а Архипъ во все время слѣдствія сидѣлъ подъ колесомъ, дрожалъ и глядѣлъ въ сумку. Тамъ видѣлъ онъ конверты съ пятью печатями. День и ночь глядѣлъ онъ на эти печати и думалъ, а старуха-верба днемъ молчала, а ночью плакала.

«Дура!» — думалъ Архипъ, прислушиваясь къ ея плачу. Черезъ недѣлю Архипъ шелъ уже съ сумкой въ городъ.

— Гдѣ здѣсь присутственное мѣсто? — спросилъ онъ, войдя за заставу.

Ему указали на большой желтый домъ съ полосатой

будкой у двери. Онъ вошелъ и въ передней увидѣлъ барина со свѣтлыми пуговицами. Баринъ курилъ трубку и бранилъ за что-то сторожа. Архипъ подошелъ къ нему и, дрожа всѣмъ тѣломъ, разсказалъ про эпизодъ со старухой-вербой. Чиновникъ взялъ въ руки сумку, разстегнулъ ремешки, поблѣднѣлъ, покраснѣлъ.

— Сейчасъ!—сказалъ онъ и побѣжалъ въ присутствіе.

Тамъ окружили его чиновники... Забѣгали, засуетились, зашептали... Черезъ десять минутъ чиновникъ вынесъ Архипу сумку и сказалъ:

— Ты не туда, братецъ, пришелъ. Ты иди на Нижнюю улицу, тамъ тебѣ укажутъ, а здѣсь казначейство, милый мой! Ты иди въ полицію.

Архипъ взялъ сумку и вышелъ.

«А сумка полегче стала!—подумалъ онъ. — Наполовину меньше стала!»

На Нижней улицѣ ему указали на другой желтый домъ съ двумя будками. Архипъ вошелъ. Передней тутъ не было, и присутствіе начиналось прямо съ лѣстницы. Старикъ подошелъ къ одному изъ столовъ и разсказалъ писцамъ исторію сумки. Тѣ вырвали у него изъ рукъ сумку, покричали на него и послали за старшимъ. Явился толстый усачъ. Послѣ короткаго допроса онъ взялъ сумку и заперся съ ней въ другой комнатѣ.

— А деньги же гдѣ?—послышалось черезъ минуту изъ этой комнаты.—Сумка пуста! Скажите, впрочемъ, старику, что онъ можетъ идти! Или задержать его! Отведите его къ Ивану Марковичу! Нѣтъ, впрочемъ, пусть идетъ!

Архипъ поклонился и вышелъ. Черезъ день караси и окуни опять уже видѣли его съдую бороду...

Дѣло было глубокою осенью. Старикъ сидѣлъ и удилъ. Лицо его было такъ же мрачно, какъ и пожелтѣвшая верба: онъ не любилъ осени. Лицо его стало еще мрачнѣй, когда онъ увидѣлъ возлѣ себя ямщика. Ямщикъ, не замѣчая его, подошелъ къ вербѣ и сунулъ въ дупло руку. Пчелы, мокрая и лѣнивая, поползли по его рукаву. Пошаривъ немного, онъ поблѣднѣлъ, а черезъ часъ сидѣлъ надъ рѣкой и бессмысленно глядѣлъ въ воду.

— Гдѣ она?—спрашивалъ онъ Архипа.

Архипъ сначала молчалъ и угрюмо сторонился убійцы, но скоро сожалѣлся надъ нимъ.

— Я къ начальству свезу, — сказалъ онъ. — Но ты,

дурень, не бойся. Я сказалъ тамъ, что подъ вербой нашель...

Ямщикъ вскочилъ, взревѣлъ и набросился на Архипа. Долго онъ билъ его. Избилъ его старое лицо, повалилъ на землю, топталъ ногами. Побивши старика, онъ не ушелъ отъ него, а остался жить при мельницѣ вмѣстѣ съ Архипомъ. Днемъ онъ спалъ и молчалъ, а ночью ходилъ по плотинѣ. По плотинѣ гуляла тѣнь почтальона, и онъ бесѣдовалъ съ ней. Наступила весна, а ямщикъ продолжалъ еще молчать и гулять. Однажды ночью подошелъ къ нему старикъ.

— Будеть тебѣ, дурень, слоняться! — сказалъ онъ ему, искоса поглядывая на почтальона. — Уходи.

И почтальонъ то же самое сказалъ... И верба прошептала то же...

— Не могу! — сказалъ ямщикъ. — Попелъ бы, да ноги болятъ, душа болитъ!

Старикъ взялъ подъ руку ямщика и повелъ его въ городъ. Онъ повелъ его на Нижнюю улицу, въ то самое присутствіе, куда отдалъ сумку. Ямщикъ упалъ передъ «старикомъ» на колѣни и покаялся. Усачъ удивился.

— Чего на себя клепаешь, дуракъ! — сказалъ онъ. — Пьянъ? Хочешь, чтобъ я тебя въ холодную засадилъ? Перебѣсились всѣ, мерзавцы! Только путаютъ дѣло... Преступникъ не найденъ, — ну, и шабашъ! Чтò жъ тебѣ еще нужно? Убирайся!

Когда старикъ напомнилъ про сумку, усачъ захохоталъ, а писцы удивились. Память, видно, у нихъ плоха... Не нашель ямщикъ искупленія на Нижней улицѣ. Пришлось возвращаться къ вербѣ...

И пришлось бѣжать отъ совѣсти въ воду, возмутить то именно мѣсто, гдѣ плаваютъ поплавки Архипа. Утопился ямщикъ. На плотинѣ видятъ теперь старикъ и старуха двѣ тѣни... Не съ ними ли они шепчутся?

1883.

В О Р Ъ.

Пробило двѣнадцать. Ѳедоръ Степанычъ накинулъ на себя шубу и вышелъ на дворъ. Его охватило сыростью ночи... Дулъ сырой, холодный вѣтеръ, съ темнаго неба моросилъ мелкій дождь. Ѳедоръ Степанычъ перешагнулъ черезъ полуразрушенный заборъ и тихо пошелъ вдоль по улицѣ. А улица широкая, чгѣ твоя площадь; рѣдки въ Европейской Россіи такія улицы. Ни освѣщенія ни тротуаровъ; даже намековъ нѣтъ на эту роскошь. У заборовъ и стѣнъ мелькали темные силуэты горожанъ, спѣшившихъ въ церковь. Впереди Ѳедора Степаныча шлепали по грязи двѣ фигуры. Въ одной изъ нихъ, маленькой и сгорбленной, онъ узналъ здѣшняго доктора, единственнаго на весь уѣздъ «образованнаго человѣка». Старикъ-докторъ не брезговалъ знакомствомъ съ нимъ и всегда дружелюбно вздыхалъ, когда глядѣлъ на него. На этотъ разъ старикъ былъ въ форменной, старомодной треуголкѣ, и голова его походила на двѣ утинья головы, склеенныя затылками. Изъ-подъ фалды его шубенки болталась шпага. Рядомъ съ нимъ двигался высокій и худой человѣкъ, тоже въ треуголкѣ.

— Христось воскресъ, Гурій Иванычъ! — остановилъ доктора Ѳедоръ Степанычъ.

Докторъ молча пожалъ ему руку и отпахнулъ кусочекъ шубы, чтобы похвастать передъ ссыльнымъ петличкой, въ которой болтался Станиславъ.

— А я, докторъ, послѣ заутрени хочу къ вамъ обратиться, — сказалъ Ѳедоръ Степанычъ. — Вы ужъ позвольте мнѣ у васъ разговѣться... Прошу васъ... Я, бывало, тамъ въ эту ночь всегда въ семьѣ разговлялся. Воспоминаніемъ будетъ...

— Едва ли это будетъ удобно... — сконфузился докторъ. — У меня семейство, знаете ли... жена... Вы хотя

и того... но все-таки не того... Все-таки предубѣждение!
Я, впрочемъ, ничего... Всѣ понче воруютъ... Я ничего...
Кгм... Кашель...

— А Барабаевъ? — проговорилъ Ѳедоръ Степанычъ, кривя ротъ и желчно ухмыляясь. — Барабаева со мной вмѣстѣ судили, вмѣстѣ насъ выслали, а между тѣмъ онъ у васъ каждый день обѣдаетъ и чай пьетъ. Онъ больше украль, вотъ что!

— Вы все скучаете! — усмѣхнулась высокая фигура. — Вотъ ежели бы васъ сюда побольше нассылали, такъ мы бы здѣсь клубъ соорудили... Пра-аво! Здѣсь такъ мало благороднаго народу!

Ѳедоръ Степанычъ останоуился и прислонился къ мокрому забору: пусть пройдутъ. Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направленію.

«Крестный ходъ, — подумалъ ссыльный. — Какъ и тамъ, у насъ...»

Отъ огоньковъ несея звонъ. Колокола-тенора заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно снѣжили куда-нибудь.

«Первая Пасха здѣсь, въ этомъ холодѣ, — подумалъ Ѳедоръ Степанычъ: — и... не послѣдняя. Скверно! А тамъ теперь, небось...»

И онъ задумался о «тамъ»... Тамъ теперь подъ ногами не грязный снѣгъ, не холодныя лужи, а молодая зелень; тамъ вѣтеръ не бьетъ по лицу, какъ мокрая тряпка, а несетъ дыханіе весны... Небо тамъ темное, но звѣздное, съ бѣлой полосой на востокъ... Вмѣсто этого грязнаго забора зеленый палисадникъ и его домикъ съ тремя окнами. За окнами свѣтлыя, теплыя комнаты. Въ одной изъ нихъ столъ, покрытый бѣлой скатертью, съ куличами, закусками, водками...

«Хорошо бы теперь хватить тамошней водки! Здѣсь дрянная водка, пить нельзя...»

На утро глубокій, хорошій сонъ, за спомъ визиты, выпивка... Вспомнилъ онъ, разумеется, и Олю съ ея кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спитъ, должно-быть, и не снится онъ ей. Эти женщины скоро утѣшаются. Не будь Оли, не былъ бы онъ здѣсь. Она подкузьмила его, глупца. Ей нужны были деньги, нужны ужасно, до болѣзни, какъ и всякой модницѣ! Безъ денегъ она не могла ни жить, ни любить, ни страдать...

— А если меня въ Сибирь сошлютъ? — спросилъ онъ ее. — Пойдешь со мной?

— Разумѣется! Хоть на край свѣта!

Онъ укралъ, попался и пошелъ въ эту Сибирь, а Оля смалодушествовала, не пошла, разумѣется. Теперь ея глупая головка утопаетъ въ мягкой кружевной подушкѣ, а ноги далеко отъ грязнаго снѣга!

«На судъ разодѣтая явилась и ни разу не взглянула даже... Смѣялась, когда защитникъ острилъ... Убить мало...»

И эти воспоминанія сильно утомили Ѳедора Степаныча. Онъ утомился, заболѣлъ, точно всѣмъ тѣломъ думалъ. Ноги его ослабѣли, подогнулись, и не хватило силъ итти въ церковь, къ родной заутренѣ... Онъ воротился домой и, не снимая шубы и сапогъ, повалился на постель.

Надъ его кроватью висѣла клѣтка съ птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, съ длиннымъ носомъ, тощая, ему неизвѣстная. Крылья у нея подрѣзаны, на головѣ повывраны перья. Кормятъ ее какой-то кислятиной, отъ которой воняетъ на всю комнату. Птица безпокойно возилась въ клѣткѣ, стучала носомъ о жестянку съ водой и пѣла то скворцомъ, то иволгой...

«Спать не даетъ! — подумалъ Ѳедоръ Степанычъ. — Чортъ...»

Онъ поднялся и потрясъ рукой клѣтку. Птица замолчала. Ссылный легъ и о край кровати стащилъ съ себя сапоги. Черезъ минуту птица опять завозилась. Кусочекъ кислятины упалъ на его голову и повисъ въ волосахъ.

— Ты не перестанешь? Не замолчишь? Тебя еще не доставало!

Ѳедоръ Степанычъ вскочилъ, рванулъ съ остервенѣніемъ клѣтку и швырнулъ ее въ уголъ. Птица замолчала.

Но минутъ черезъ десять она, показалось ссыльному, вышла изъ угла на средину комнаты и завертѣла носомъ въ глиняномъ полу... Носъ, какъ буравчикъ... Вертѣла, вертѣла, и нѣтъ жонца ея носу. Захлопали крылья, и ссыльному показалось, что онъ лежитъ на полу, и что по его вискамъ хлопаютъ крылья... Носъ наконецъ поломался, и все ушло въ перья... Ссылный забылся...

— Ты за что это тварь убилъ, душегубецъ? — услышалъ онъ подь утро

Федоръ Степанычъ раскрылъ глаза и увидѣлъ предъ собою хозяина-раскольника, юродиваго старца. Лицо хозяина дрожало отъ гнѣва и было покрыто слезами.

— За что ты, окаянный, убилъ мою пташку? Пѣвунью-то мою за что ты убилъ, сатана чортова? А? Кого это ты? За что такое? Глаза твои безстыжіе, песь лютый! Уходи изъ моего дома, и чтобъ духу твоего здѣсь не было! Сею минутою уходи! Сейчасъ!

Федоръ Степанычъ надѣлъ шубу и вышелъ на улицу. Утро было сѣрое, пасмурное... Глядя на свинцовое небо, не вѣрилось, чтобы высоко за нимъ могло сіять солнце. Дождь продолжалъ еще моросить...

— Бон-журъ! Съ праздникомъ, мон-шеръ! — услышалъ ссыльный, выйдя за ворота.

Мимо воротъ, на новенькой пролеткѣ катилъ его землякъ Барабаевъ. Землякъ былъ въ цилиндръ и подъ зонтикомъ.

«Визиты дѣлаеть! — подумалъ Федоръ Степанычъ. — И тутъ, скотина, сумѣлъ примазаться... Знакомыхъ имѣеть... Было бъ и мнѣ побольше украсть!»

Подходя къ церкви, Федоръ Степанычъ услышалъ другой голосъ, на этотъ разъ женскій. Павстрѣчу ему ѣхалъ почтовый тарантасъ, набитый чемоданами. Изъ-за чемодановъ выглядывала женская головка.

— Гдѣ здѣсь... Батюшки, Федоръ Степанычъ! Вы ли это? — запищала головка.

Ссыльный подбѣжалъ къ тарантасу, впился глазами въ головку, узналъ, схватилъ за руку...

— Неужели я не сплю?! Что такое? Ко мнѣ?! Надумала, Оля?

— Гдѣ здѣсь Барабаевъ живетъ?

— А на что тебѣ Барабаевъ?

— Онъ меня вышсалъ... Двѣ тысячи, вообрази, прислалъ... По триста въ мѣсяць, кромѣ того, буду получать. Есть здѣсь театры?..

До самаго вечера шатался ссыльный по городу и искалъ квартиры. Дождь лилъ весь день и не показывалось солнце.

«Неужели эти звѣри могутъ жить безъ солнца? — думалъ онъ, мѣся ногами жидкій снѣгъ. — Веселы, довольны безъ солнца! Впрочемъ, у нихъ свой вкусъ».

СЛОВА, СЛОВА И СЛОВА.

На большомъ номерномъ диванѣ лежалъ телеграфистъ Груздевъ. Подперевъ кулаками свою бѣлокурую голову, онъ разсматривалъ маленькую рыжеволосую дѣвушку и вздыхалъ.

— Катя, что заставило тебя такъ пасть? Скажи мнѣ! — вздохнулъ между прочимъ Груздевъ. — Какъ ты озыбла однако!

На дворѣ былъ одинъ изъ самыхъ скверныхъ мартовскихъ вечеровъ. Тусклые фонарные огни едва освѣщали грязный, разжиженный снѣгъ. Все было мокро, грязно, сѣро... Вѣтеръ напѣвалъ тихо, робко, точно боялся, чтобы ему не запретили пѣть... Слышалось шлепанье по грязи... Тошнило природу!

— Катя, что заставило тебя такъ пасть? — спросилъ еще разъ Груздевъ.

Катя робко поглядѣла въ глаза Груздеву. Глаза честные, теплые, искренніе — такъ показалось ей. А эти падшія созданія такъ и лѣзутъ на честные глаза, лѣзутъ и палятся, какъ мотыльки на огонь. Кашей ихъ не корми, а только взгляни на нихъ потеплѣй. Катя, тербя бахрому отъ скатерти, конфузливо рассказала Груздеву свою жалкую повѣсть. Повѣсть самая обыкновенная, подлая: онъ, обѣщаніе, надувательство и проч.

— Какой же онъ подлецъ! — проворчалъ Груздевъ, негодуя. — Есть же такіе мерзавцы, чортъ бы ихъ взялъ совѣмъ! Богатъ онъ, что ли?

— Да, богатъ...

— Такъ и зналъ... И вы-то хороши. печего сказать. Зачѣмъ вы, бабы, деньги такъ любите! На что онѣ вамъ?

— Онъ побожился, что на всю жизнь обезпечить, —

прошентала Катя. — А развѣ это плохо? Я и польстилась... У меня мать старуха.

— Гм... Несчастныя вы, несчастныя! А все по глупости, изъ пустотѣ... Малодушны все вы, бабы!.. Несчастныя, жалкія... Послушай, Катя! Не мое это дѣло, не люблю вмѣшиваться въ чужія дѣла, но лицо у тебя такое несчастное, что нѣтъ силъ не вмѣшаться! Катя, отчего ты не исправишься? Какъ тебѣ не стыдно? По всему вѣдь видно, что ты еще не совсѣмъ погибла, что возвратъ еще возможенъ... Отчего ты не постарайшься стать на путь истинный? Могла бы, Катя! Лицо у тебя такое хорошее, глаза добрые, грустные... И улыбаешься ты какъ-то особенно симпатично...

Груздевъ взялъ Катю за обѣ руки и, заглядывая ей сквозь глаза въ самую душу, сказалъ много хорошихъ словъ. Говорилъ онъ тихо, дрожащимъ теноромъ, со слезами на глазахъ... Его горячее дыханіе обдавало все ея лицо, шею...

— Можно исправиться, Катя! Ты такъ молода еще... Попробуй!

— Я уже пробовала, но... ничего не вышло. Все было... Разъ пошла даже въ горничныя, хоть... и дворянка я! Думалось исправиться. Лучше самый грязный трудъ, чѣмъ наше дѣло. Я къ концу поступила... Жила цѣлый мѣсяцъ, и ничего, можно жить... Но хозяйка приревновала къ хозяину, хотя я и вниманія на него не обращала, приревновала, прогнала, мѣста нѣтъ—и... опять пошло сначала... Опять!

Катя сдѣлала большіе глаза, поблѣднѣла и вдругъ взвизгнула. Въ сосѣднемъ номерѣ кто-то уронилъ что-то: испугался, должно-быть. Мелкій, истерическій плачь понесся сквозь все топкія номерныя перегородки. Груздевъ бросился за водой. Черезъ десять минутъ Катя лежала на диванѣ и рыдала:

— Подлая я, гадкая! Хуже всехъ на свѣтѣ! Никогда я не исправлюсь, никогда не сдѣлаюсь порядочною! Развѣ я могу? Пошлая! Стыдно тебѣ, больно? Такъ тебѣ и слѣдуетъ, мерзкая!

Катя сказала немного, меньше Груздева, но понять можно было многое. Она хотѣла прочесть цѣлую деповѣдь, такъ хорошо знакомую каждому «честному развратнику», но не получилось изъ ея рѣчи ничего, кромѣ нравственныхъ самоощечинъ. Всю душу себѣ исцарапала!

— Пробовала уже, но ничего не выходит! Ничего! Все одно погибать! — кончила она со вздохомъ и поправила свои волосы.

Молодой человекъ взглянулъ на часы.

— Не быть изъ меня толку! А вамъ спасибо... Я первый разъ въ жизни слышу такія ласковыя слова. Вы одинъ только обошлись со мной по-человѣчески, хоть я и безпорядочная, гадкая...

И Катя вдругъ остановилась говорить. Сквозь ея мозгъ молніей пробѣжалъ одинъ маленькій романъ, который она читала когда-то, гдѣ-то... Герой этого романа ведетъ къ себѣ падшую и, наговоривъ ей съ три короба, обращаетъ ее на путь истины, обративъ же, дѣлаетъ ее своей подругой... Катя задумалась. Не герой ли подобнаго романа этотъ бѣлокурый Груздевъ? Что-то похоже. Даже очень похоже. Она со стучащимъ сердцемъ стала смотрѣть на его лицо. Слезы ни къ селу ни къ городу опять полились изъ ея глазъ.

— Ну, полно, Катя, утѣшься! — вздохнулъ Груздевъ, взглянувъ на часы. — Исправилъ, Богъ дастъ, коли захочешь.

Плачущая Катя медленно разстегнула три верхнія пуговицы шубки. Романъ съ краснорѣчивымъ героемъ стучевался изъ ея головы...

Въ вентиляцію отчаянно взвизгнулъ вѣтеръ, точно онъ первый разъ въ жизни видѣлъ насиліе, которое можетъ совершать иногда насущный кусокъ хлѣба. Наверху, гдѣ-то далеко за потолокомъ, забряंचали на плохой гитарѣ. Пошлая музыка!

1883.

ЛИСТЪ.

(Кое-что пасхальное).

Передняя. Въ углу ломберный столикъ. На столикѣ листъ сѣрой казенной бумаги, чернильница съ перомъ и песочница. Изъ угла въ уголъ шагаетъ швейцаръ, алчущій и жаждущій. На сытомъ рылѣ его написано корыстолюбіе, въ карманахъ позваниваютъ плоды лихоимства. Въ десять часовъ начинается вползать съ улицы въ переднюю маленькій человѣчекъ, или, какъ изволятъ называть его — ство, «субъектъ». Субъектъ вползаетъ, подходит на цыпочкахъ къ столу, робко беретъ въ дрожавшую руку перо и выводитъ на сѣромъ листѣ свою негромкую фамилію. Выводитъ онъ долго, съ чувствомъ, съ толкомъ, точно чистописанію учится... Набираетъ чернилъ на перо чуть-чуть, немножечко, разъ пять: капнуть боится. Сдѣлай онъ кляксу и... все погнбло! (Быль однажды такой случай... Впрочемъ, некогда...) Росчерка онъ не подмахиваетъ: ни-ни... И «ерь» вырисовываетъ. Кончивъ чистописаііе, онъ долго глядитъ на свою каллиграфію, ищетъ ошибки и, не найдя таковой, вытираетъ на лбу потъ.

— Христось воскресъ! — обращается онъ къ швейцару.

Нафабранные усы приходятъ въ троекратное соприкосновеніе съ колючими усами... Раздаются звуки поцѣлуя, и въ карманъ цербера съ пріятнымъ звономъ падаетъ новая «малая толика». За первымъ субъектомъ вползаетъ другой, за этимъ третій... и такъ до часу. Листъ со всѣхъ сторонъ покрывается подписями. Въ четвертомъ часу церберъ несетъ его въ апартаменты. Старичокъ беретъ его въ руки и начинаетъ считать.

— Всѣ... Но однако что это значитъ? Пс! Тутъ, ээ... я не вижу ни одного знакомаго почерка! Тутъ одинъ чей-то почеркъ! Какой-то каллиграфъ писалъ! Наняли каллиграфа, тотъ и подписался за нихъ! Хороши, нечего сказать! Трудно имъ было самимъ прійти и поздра-

вить! А-ахъ! Чтò я имъ худого сдѣлалъ? За что они меня такъ не уважають? (Пауза). Эээ... Максимъ! Побѣжай, братецъ, къ экзекутору и т. д...

Одиннадцать часовъ. Молодой человѣкъ съ кокардой на днѣ фуражки вспотѣлъ, тяжело дышитъ, красенъ... Онъ взбирается по безконечной лѣстницѣ на пятый этажъ... Взобравшись, онъ съ остервенѣніемъ дергаетъ за звонокъ. Ему отворяетъ молодая женщина.

— Вашъ Иванъ Капитонычъ дома? — спрашиваетъ молодой человѣкъ, задыхаясь отъ усталости. — Охъ! Скажите ему, чтобы онъ какъ можно скорѣй бѣжалъ къ его — ству опять расписываться! Украли тотъ листъ! Охъ... Нужно теперь новый листъ... Скорѣй!!

— Кто же это укралъ? Кому онъ нуженъ?

— Его чертовка... эта... ффф... Его экономка стянула! Бумагу собираетъ, на пуды продаетъ... Сквалыжная баба, чтобъ ей ни дна ни покрывки! Однако мнѣ къ восьмерымъ еще бѣжать нужно... Прощайте!

Еще передняя... Столъ и листъ. Въ углу на табуретѣ сидитъ швейцаръ, старый, какъ «Сынъ Отечества», и худой, какъ щепка... Въ одиннадцать часовъ открывается дверь изъ апартаментовъ. Высовывается лысая голова.

— Чтò, еще никого не было, Ефимушка? — спрашиваетъ голова.

— Никого-съ, ваше — ство...

Въ первомъ часу высовывается та же голова.

— Чтò, еще никого не было, Ефимушка?

— Ни единой души, ваше — ство!

— Гм... Ишь ты... Гм...

Во второмъ часу то же, въ третьемъ — то же... Въ четвертомъ — изъ апартаментовъ высовывается все туловище, съ ногами и руками. Старичекъ подходитъ къ столу и долго глядитъ на пустой листъ. На лицѣ его написана великая скорбь.

— Гм... не то, чтò въ прошлые годы, Ефимушка! — говоритъ онъ, вздыхая. — Такъ... Гм... И на лбу, значить, роковыя слова: «въ отставку»!! У Некрасова, кажется, такъ... Чтòбъ моя старуха не смѣялась надо мной, давай хоть мы распишемся за нихъ!.. Бери перо...

ЗАКУСКА.

(Пріятное воспоминаніе).

Былъ пасхальный канунъ. За часъ до заутрени зашли за мной мои пріятели. Они были во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ.

— Очень кстати, господа!—сказалъ я.—Вы поможете мнѣ убрать столъ... Я человѣкъ холостой, бабенціи у меня не полагается, а посему... помощь дружеская. Плумбовъ, давай столъ отодвинемъ!

Пріятели двинулись къ столу, и черезъ какія-нибудь пять минутъ мой столъ уже изображалъ собой аппетитнѣйшую картину. Окорокъ, колбасы, водки, вина, заливной поросенокъ... Убравъ столъ, мы взяли за цилиндры: пора! Но не тутъ-то было... Кто-то позвонилъ...

— Дома? — услышали мы чей-то хриплый голосъ. — Входи, Илья, не бойся!

Вошелъ Прекрасновкусовъ. За нимъ робко шагала маленькій, чахлый человѣчекъ. У обоихъ подъ мышками были портфели...

— Тсс... — сказалъ я пріятелямъ. — Языкъ за зубами!

— Рекомендую! — сказалъ Прекрасновкусовъ, указывая на чахлаго человѣчка. — Илья Дробискуловъ! На дняхъ къ намъ поступилъ, къ нашему лику причислился... Да ты не конфузься, Илюша! Пора привыкнуть! А мы, знаете ли, шли, шли, взяли да и зашли. Дай, думаю, зайдёмъ, праздничныя возьмемъ, чтобъ завтра не безпокоить...

Я сунулъ обоимъ по синенькой. Дробискуловъ сконфузился.

— Такъ-съ, — продолжалъ Прекрасновкусовъ, загля

нубъ себѣ въ кулакъ. — Вы ужъ уходите? А не рано ли? Давайте-ка, посидимъ минуту... отдохнемъ. Садись, Илья, не бойся! Привыкай! Закусокъ-то сколько, закусокъ! А? Закусокъ-то! Мнѣ окорокъ напоминаетъ одинъ анекдотъ...

И Прекрасновкусовъ, пожирая глазами мои закуски, рассказалъ намъ похабный анекдотъ. Прошло четверть часа. Чтобы выжить гостей, я послалъ своего Андриюшку на улицу прокричать «караулъ». Андриюшка вышелъ и кричалъ минутъ пять, но гости мои — ни гугу... И вниманія не обратили, какъ будто бы «караулъ» не ихъ дѣло...

— А долго еще ждать разговѣнья! — сказалъ Прекрасновкусовъ. — Теперь еще грѣшно, а то бы мы, Илюша, того... по единой... А что, господа, не пропустить ли намъ по одной? Вѣдь водка постная! А? Давайте-ка!

Идея пришла въ моимъ пріятелямъ по вкусу. Подошли къ столу, налили и выпили. Закусили селедочкой, а на скоромное только взглянули. Прекрасновкусовъ похвалилъ водку и, желая узнать, какого она завода, выпилъ другую. Илюша сконфузился и тоже пожелалъ узнать... Выпили, но не узнали.

— Славная водка! — сказалъ Прекрасновкусовъ. — У моего дяди свой винокуренный заводъ былъ. Такъ вотъ у него, у дяди-то, была, такъ сказать...

И гость рассказалъ намъ, какъ онъ съ дядиной «обже» на каланчѣ свиданіе имѣлъ. Мои пріатели окружили его и попросили рассказать еще что-нибудь... Еще разъ выпили. Дробискуловъ очень ловко захватилъ рукавомъ кусочекъ колбасы, взялъ его въ носовой платокъ и, сморкаясь, незамѣтно положилъ въ ротъ. Прекрасновкусовъ съѣлъ кусокъ пасхи изъ творога.

— А я и забылъ, что она скоромная! — сказалъ онъ, глотая. — Надо ее запить...

Говорятъ, что въ полночь звонили къ заутренѣ, но мы не слышали этого звона. Въ полночь мы ходили вокругъ стола и спрашивали себя: что бы еще вышить... этакое? Дробискуловъ сидѣлъ въ углу и, конфузясь, глодалъ заливного поросенка. Прекрасновкусовъ билъ кулакомъ по своему портфелю и говорилъ:

— Вы меня не любите, а я вотъ васъ... люблю! Честное и блаародное слово, люблю! Я куроцапъ, волкъ, коршунъ, птица хищная, но во мнѣ все-таки есть па-

столько чувствъ и ума, чтобъ понимать, что меня не слѣдуетъ любить. Я, напимѣрь, вотъ взялъ праздничныя... Вѣдь взялъ? А завтра я приду и скажу, что не бралъ... Развѣ можно любить меня послѣ этого?

Дробискуловъ, покончивъ съ поросенкомъ, побѣдилъ свою робость и сказалъ:

— А я? Меня еще можно любить... Я образованный человѣкъ... Я вѣдь не своимъ дѣломъ занялся. Не мое это дѣло! Я къ нему и призванія никакого не имѣю... Такъ только, пуръ манже! Я... стихотворецъ... Нда... Въ пьяномъ видѣ протоколы въ стихахъ составляю. Я и гласность люблю. Не нравятся мнѣ газеты только за то, что въ нихъ пристрастія много. Я не разбиралъ бы тамъ, кто консерваторъ, кто либераль. Безпристрастіе—первое дѣло! Консерваторъ нагадилъ—бей въ морду; либераль нанакостилъ—лупи въ харю! Всѣхъ лупи! Моя мечта—газету издавать. Хе-хе... Сидѣлъ бы я себѣ въ редакціи, морду бы надувалъ да конвертики распечатывалъ. А въ конвертикахъ всякое бываетъ... всякое... Хе-хе-хе... Я распечаталъ бы, прочелъ бы да и... цанъ его, сотрудника-то! Нешто не любопытно?

Въ три часа гости взяли свои портфели и ушли въ трактиръ безпорядковъ искать. Отъ закуски моей остались одни только ножи, вилки да двѣ ложки. Остальныя шесть ложекъ исчезли...

1883.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ.

(Выписки изъ дневника).

2-го того же мѣс. Пообѣдавъ, размышлялъ о плачевномъ состояніи западно-европейскихъ финансовъ. Пригласилъ въ экономки.

18-го іюня. Бунтовала за обѣдомъ. Переживаетъ, по видимому, душевный переворотъ. Боюсь, чтобъ не амуры. Читалъ въ «Голосѣ» передовую статью... Нельзя-съ!!!

4-го декабря. Всю ночь хлопала калиткой. Въ пять часовъ утра видѣлъ канцеляриста Карямова выходящимъ изъ моего двора. На мой вопросъ, зачѣмъ онъ здѣсь, Карямовъ смутился. На что-то покуситься хотѣлъ, шельма. Надо будетъ уволить.

28-го того же мѣс. Бунтовала весь день. Кой чортъ это шляется? Поймалъ въ дѣлѣ № 1302 мышъ. Убилъ.

Новый годъ. Принималъ поздравленія. Преподнесъ ей для назиданія душеполезную книгу. Весь день бунтовала. Находясь въ уныніи, писалъ сочиненіе: «О нападеніи печенѣговъ на Уфимскую губернію». Видѣлъ видѣніе.

4-го того же мѣс. Разорвала и книгу и мое сочиненіе. Приказала воротить Карямова. Исполню, душенька! Вечеромъ бунтовала, рвала мои бумаги, падала въ истерику и объявила, что на-дняхъ уѣзжаетъ въ Самарскую губ. лѣчиться отъ груди. Не пущу!!!

6-го февраля. Уѣхала!! Лежалъ цѣлый день на ея кровати, плакалъ и такъ разсуждалъ: «Она здорова, слѣдовательно не лѣчиться поѣхала. Тутъ другая статья: амуры. Подозрѣваю, что увлечена однимъ изъ моихъ молкососовъ канцелярскихъ. Но съ кѣмъ и какъ? Узнаю

завтра, ибо виновникъ попросится въ отпускъ, дабы къ ней поѣхать. Онъ, шельма, подаетъ мнѣ прошеніе объ отпускѣ, а я его... цапъ!! Ночью не хлопали калиткой, а все-таки спать плохо. Несмотря на уныніе, размышлялъ о бѣдственномъ состояніи Франціи. Видѣлъ два видѣнія сразу. Господи, прости насъ грѣшныхъ!

7-го февраля. Подано двадцать шесть прошеній объ отпускѣ. Всѣ!!! Постой же... Просятъ въ Кронштадтъ. Такъ вотъ она гдѣ, эта Самарская губ.! Постой же...

8-го того же мѣс. Не менѣе скорблю. Пребываю въ уныніи. Разнесъ всѣхъ и вся. Вся канцелярія вспотѣла — не до любви ей теперь. Видѣлъ во снѣ Кронштадтъ.

14-го того же мѣс. Вчера, въ воскресенье, Карявовъ ѣздилъ куда-то за городъ, сегодня же ходитъ по канцелярії и саркастически улыбається... Уволю.

25-го того же мѣс. Получилъ отъ нея письмо. Приказываетъ прислать денегъ и снова принять на службу Карявова. Исполню, душевка! Дождайся! Вчера еще трое ѣздили за городъ... Чьей-то калиткой хлопаютъ они теперь?

1883.

ТЕЩА-АДВОКАТЪ.

Это произошло въ одно прекрасное утро, ровно черезъ мѣсяць послѣ свадьбы Мишеля Пузырева съ Лизой Мамуниной. Когда Мишель выпилъ свой утренній кофе и сталъ искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на службу, къ нему въ кабинетъ вошла теща.

— Я задержу васъ, Мишель, минутъ на пять, — сказала она. — Не хмурьтесь, мой другъ... Я знаю, что зятья не любятъ говорить съ тещами, но мы, кажется... сошлись съ вами, Мишель. Мы не зять и не теща, а умные люди... У насъ много общаго... Вѣдь да?

Теща и зять усѣлись на диванѣ.

— Чѣмъ могу быть полезенъ, муттерхенъ?

— Вы умный человѣкъ, Мишель, очень умный; я тоже... не глупа... Мы поймемъ другъ друга, надѣюсь. Я давно уже собираюсь поговорить съ вами, mon petit... Скажите мнѣ откровенно, ради... ради всего святого, что вы хотите сдѣлать съ моей дочерью?

Зять сдѣлалъ большіе глаза.

— Я, знаете ли, согласна... Пусть! Почему же? Наука вещь хорошая, безъ литературы нельзя... Поэзія вѣдь! Я понимаю! Приятно, если женщина образована... Я сама воспитывалась, понимаю... Но для чего, mon ange, крайности?

— То-есть? Я не совѣмъ васъ понимаю...

— Я не понимаю вашихъ отношеній къ моей Лизѣ! Вы женились на ней, но развѣ она вамъ жена, подруга? Она ваша жертва! Науки, книги тамъ, теоріи разныя... Все это очень хорошія вещи, но, мой другъ, вы не забывайте, что она моя дочь! Я не позволю! Она моя плоть и кровь! Вы убиваете ее! Не прошло и мѣсяца со дня вашей свадьбы, а она уже похожа у васъ на

щепку! Цѣлый день сидитъ она у васъ за книгой, читаетъ эти глупые журналы! Бумаги какія-то переписываютъ! Развѣ это женское дѣло? Вы не вывозите ея, не даете ей жить! Она у васъ не видитъ общества, не танцуетъ! Невѣроятю даже! Ни разу за все время не была на балу! Ни ра-зу!

— Ни разу не была на балу, потому что сама не хотѣла. Потолкуйте-ка съ ней самой... Вы узнаете, какого она мнѣнія о вашихъ балахъ и танцахъ. Нѣтъ, ма сѣге! Ей противно ваше бездѣлье! Если она сидитъ по цѣлымъ днямъ за книгой или за работой, то, вѣрьте, въ этомъ никто не насилуетъ ея убѣжденій... За это-то я ее и люблю... А засимъ честь имѣю кланяться и прошу впредь въ наши отношенія не вмѣшиваться. Лиза сама скажетъ, если ей понадобится что-нибудь сказать...

— Вы думаете? Неужели вы не видите, какъ она кротка и нѣма? Любовь связала ей языкъ! Не будь меня, вы бы на нее хомуть надѣли, милостивый государь! Да-съ! Вы тиранъ, деспотъ! Извольте сегодня же измѣнить ваше поведеніе!

— И слушать не хочу...

— Не хотите? И не нужно! Не велика честь! Я и говорить бы съ вами не стала, если бы не Лиза! Миѣ ея жаль! Она умолила меня поговорить съ вами!

— Ну, ужъ это вы можете... Это ужъ ложь, сознайтесь...

— Ложь? Такъ взгляди же, грубая душа!

Теща вскочила и рванула за дверную ручку. Дверь распахнулась, и Мишель увидѣлъ свою Лизу. Она стояла на порогѣ, ломала себѣ руки и всхлипывала. Ея хорошенькая мордочка была вся въ слезахъ. Мишель подскочилъ къ ней...

— Ты слышала? Такъ скажи же ей! Пусть пойметъ свою дочь!

— Мама... мама говоритъ правду,—заголосила Лиза.— Я не выпоню этой жизни... Я страдаю...

— Гм... Вотъ какъ! Странно... Но почему же ты сама со мной не поговоришь объ этомъ?

— Я... я... ты разсердишься...

— Но вѣдь ты же сама постоянно трактовала противъ бездѣлья! Ты говорила, что любишь меня только за мои убѣжденія, что тебѣ противна жизнь твоей среды! Я и

полюбилъ тебя за это! До свадьбы ты презирала, ненавидѣла эту суетную жизнь! Чѣмъ же объяснить такую переменѣну?

— Тогда я боялась, что ты на мнѣ не женишься... Милый Мишель! поѣдемъ сегодня на jour fixe къ Марьѣ Петровнѣ!..

И Лиза унала на грудь Мишеля.

— Ну, вотъ видите! Теперь убѣдились? — сказала теща и торжествующе вышла изъ кабинета...

— Ахъ, ты, дуракъ! — простоналъ Мишель.

— Кто дуракъ? — спросила Лиза.

— Тотъ, кто ошибся!..

1883.

ДУРАКЪ.

(Разсказ холостяка).

Прохоръ Петровичъ почесаль затылокъ, понюхаль табаку и продолжалъ:

— Двѣ бутылки хересу въ меня вылили. Сижу, пью и чувствую: ходять вокругъ меня, улыбки ехидныя строить и поздравляютъ. Около меня хозяйская дочка сидить, а я, пьяный дуракъ, чувствую, что мелю ерунду. Про семейную жизнь мелю, про уюги да горшки... Послѣ каждаго слова поцѣлуй горячій... Тьфу! И вспоминать тошно. Просыпаюсь на утро, головешка трещить, во рту хлѣвъ свиной, а чувствую и понимаю, что я уже не прохвость, не мелюзга, а женихъ, самый настоящій — съ кольцомъ на пальцѣ! Иду къ отцу покойнику: такъ и такъ, молъ, папаша милый, слово даль... вѣнчаться хочю. Отецъ — извѣстно, въ смѣхъ... Не вѣрить.

— Куда, говоритъ, тебѣ, молокоосу, жениться? Вѣдь тебѣ и двадцати лѣтъ еще пѣтъ!

А подлиийно молодъ я тогда былъ. Моложе снѣга перваго... На головѣ кудри русые, въ груди сердце пыльное, замѣсто живота этого шаровиднаго — талія тоненькая, женственная...

— Поживи еще, да тогда и женись, — говоритъ отецъ. Я на дыбы... Извѣстно, своя воля, балованный былъ. На своемъ стою.

— На комъ же ты жениться хочешь? — спрашиваетъ.

— На Марьяшкѣ Крыткиной...

Отецъ въ ужасъ.

— На этой прощелыгѣ? Да ты съ ума сошелъ! Вѣдь ея отецъ мазурикъ, весь въ долгу, какъ въ шелку... Ду-

рачать тебя! Въ сѣти свои тебя замануть хотять! Дуракъ!

А дѣйствительно, что я дуракомъ былъ. Баранъ бараномъ... Бывало, постучишь себя по головѣ — въ другой комнатѣ слышно. Звонко! До тридцати лѣтъ ни одного умнаго слова не сказалъ. А дуракъ, какъ сами знаете, вѣчно въ бѣдѣ. Такъ и я... Никогда, бывало, изъ бѣды не выхожу: то одно, то другое... И подѣломъ, не будь дуракомъ... То бьютъ меня, то изъ домовъ и трактировъ гонять... Семь разъ изъ гимназій выгоняли... То женить... Ну-съ... Отецъ бранится, кричитъ, чуть не дерется, а я на своемъ стою...

— Жениться хочу, да и шабашъ! Кому какое дѣло? Никакой отецъ не можетъ мнѣ препятствовать, ежели у меня свое умозрѣніе есть! Не маленькій!

Прибѣжала матушка покойница. Ушамъ своимъ не вѣрить, въ обморокъ падаетъ... Я на своемъ стою. Можно ли, думаю, мнѣ не жениться, ежели я желаю свое семейство имѣть? А вѣдь Марьяша, думаю, красавица... Она-то не красавица, да мнѣ ужъ такъ казалось. Хотѣлось, чтобы такъ казалось, въ голову себѣ вбилъ дурацкую идею... Она горбатенькая, косенькая, худенькая... Да и дура вдобавокъ... Чучело заморское, однимъ словомъ. Крыткины отъ моей женитьбы интересъ видѣли. Они бѣдняки были, ну а я со средствами. У моего отца большое состояніе было. Пошелъ отецъ къ начальству:

— Батюшка, ваше превосходительство! Не велите вы моему аспиду въ бракъ вступать! Сдѣлайте божескую милость! Погиблетъ мальчикъ!

На мое несчастье, начальникъ мой съ душкомъ былъ. Мода тогда либеральная пошла только-что, духъ этотъ...

— Не могу, говоритъ, вмѣшиваться во внутреннюю жизнь моихъ подчиненныхъ. И вамъ не совѣтую посягать на свободу сына...

— Да вѣдь онъ дуракъ, ваше превосходительство!

Начальство стукъ кулакомъ по столу!

— Кто бы онъ ни былъ, милостивый государь, а онъ имѣетъ право располагать собой, какъ ему угодно! Онъ свободный человѣкъ, милостивый государь! Когда вы, варвары, научитесь понимать жизнь?! Пришлите ко мнѣ вашего сына!

Зовутъ меня. Я застегиваюсь на всѣ пуговицы и иду.

— Чего изволите-съ?

— Вотъ что, молодой человѣкъ! Ваши родители препятствуютъ вамъ поступить согласно влеченіямъ вашего сердца. Это жестоко и гнусно съ ихъ стороны. Вѣрьте, молодой человѣкъ, что симпатіи порядочныхъ людей всегда будутъ на вашей сторонѣ. Если любите, то идите туда, куда влечетъ васъ ваше сердце. А ежели ваши родители по невѣжеству будутъ препятствовать вамъ, то скажите мнѣ. Я поступлю съ ними по-своему... Я... Я имъ покажу!

И, чтобы показать, что въ немъ сидитъ самый настоящій духъ этотъ, онъ добавилъ:

— Буду у васъ на свадьбѣ. Даже отцомъ посаженымъ могу быть. Завтра же поѣду вашу невѣсту посмотрѣть.

Кланяюсь и, ликуя, выхожу. Отецъ стоитъ тутъ же, чуть не плачетъ, а я ему изъ кармана кукишъ пока зываю.

На другой день поѣхалъ онъ невѣсту смотрѣть. По-правилась.

— Худа, говорить, но симпатія есть на лицѣ. Доброта, говорить, какая-то на лицѣ написана. Граціи много. Вы счастливы, молодой человѣкъ!

Черезъ три дня повезъ невѣстѣ подарки.

— Примите, говорить, отъ старика, желающаго вамъ счастья.

И прослезился даже... На пятый день сговоръ былъ. На сговорѣ онъ пуншъ пилъ и два бокала шампанскаго выкушалъ. Доброта!

— Славная, говорить, у тебя бабенка! Худая, косая, а что-то французистое въ ней есть! Огонь какой-то!

За три дня до свадьбы прихожу къ невѣстѣ. Съ букетомъ, знаете ли...

— Гдѣ Марьяша?

— Дома нѣту...

— А гдѣ она?

Тесть мой будущій молчитъ и ухмыляется. Теща тутъ же сидитъ и кофій въ накладку пьетъ. (Раньше всегда въ прикуску пила).

— Да гдѣ же она? Чего вы молчите?

— А ты что за допросчикъ такой? Ступай туда, откуда пришла! Вороти оглобли.

Приглядываюсь и вижу: мой тестюшка, какъ зюзя... Налестался, сволочь...

— Нѣту!—говорить, а самъ ухмыляется.—Ищи себѣ

другую невѣсту, а Марьяшка... Въ гору пошла! Хе-хе-хе!
Къ благодѣтелю пошла!

— Къ какому?

— А къ тому самому... Къ твоему пузатому, превосходительству-то... Хе-хе-хе... Было бѣ не привозить!

Я такъ и ахнулъ...

Прохоръ Петровичъ громко высморкался, ухмыльнулся и добавилъ:

— Ахнулъ и съ той поры умнѣй сталъ...

1883.

ФИЛАНТРОПЪ.

Въ роскошномъ, затѣйливо убранномъ будуарѣ одной изъ извѣстнѣйшихъ московскихъ бонвиванокъ сидѣлъ докторъ. Былъ полдень. Она, хорошенькая хозяйка, только-что поднялась со своего ложа и, развалиясь на мягкой кушеткѣ, лѣниво потягивалась и вопросительно заглядывала въ глаза доктора. Докторъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати шести, сидѣлъ vis-à-vis ея въ задумчивой позѣ и хмурился. Полуденное солнце играло на его массивныхъ брелкахъ, жгло его большой бѣлый лобъ, заставляло щуриться его глаза, но онъ не замѣчалъ этого.

Не до физическихъ ощущеній было ему, когда другія, болѣе жгучія и болѣе чувствительныя болячки не давали ему покоя: у него болѣла душа.

Онъ бранилъ себя, презиралъ, ненавидѣлъ.... Онъ готовъ былъ растерзать свою особу.

Дѣло въ томъ, что она ждала отъ него слова... А что онъ ей скажетъ?

«Негодяй я! — размышлялъ онъ, искоса поглядывая на личико сидѣвшей противъ него хорошенькой женщины. — Тысячу разъ негодяй! Двѣ недѣли я бѣгалъ за ней, надоѣдалъ ей, вертѣлся передъ ней, какъ самый послѣднй фатъ, рисовался, какъ дуракъ какой-нибудь... И что же? Я добился того, что она полюбила меня... Не проходитъ дня, чтобы она раза четыре не присылала за мной... Я ставилъ ее полюбить себя, но... развѣ я способенъ платить ей тѣмъ же? Несчастная! А какъ жалобно она смотритъ! Съ какимъ итеррѣшемъ она ожидаетъ рѣшительнаго объясненія!»

Дѣйствительно, глаза, покоившіеся на докторскомъ лицѣ, были полны самой нѣжной любви, самой горячей, трескучей, бѣшеной страсти!

«И для чего я добивался ея любви? — продолжалъ размышлять докторъ. — Такъ... фатовства ради... Хотѣлось самолюбіе свое пощекотать. Фаты и дураки любятъ

побѣждать женщинъ. Для чего имъ эти побѣды, они не спрашиваютъ себя... Ну что я, напримѣръ, буду дѣлать съ этой куклой? Бѣдная!»

— И правую руку ломить! — перебила дамочка докторскія размышленія. — Всю ночь ломило. И голова болѣла ночью...

— Гм... Такъ-съ... А спали хорошо?

— Плохо... Шумъ въ головѣ какой-то...

— Сердцебиеніе? — спросилъ отъ-нечего-дѣлать докторъ.

— Да, и сердцебиеніе, — соврала дамочка. — Вообще нервы ужасно разстроены. Не знаю, что и дѣлать... Каждый день васъ безнокою, и т. д.

Прошло полчаса въ подобныхъ разспросахъ и отвѣтахъ. Наконецъ противно стало.

Докторъ поднялся и взялся за шляпу.

— Движенія нужно побольше, — сказалъ онъ. — Волненій избѣгайте... Лѣтомъ за границу, пожалуй, на Кавказъ... Завтра заѣду.

Дамочка тоже поднялась и, молча, сунула въ протянутую руку конвертъ. Онъ взялъ, не глядя на нее... Но онъ нечаянно взглянулъ въ зеркало и увидѣлъ тамъ... что маленькое, хорошенькое, капризное личико собиралось заплакать. Глазки, бѣдные голубые глазки усиленно мигали и подергивались влагой. Губки сжимались отъ злости и досады.

«Несчастливая!» — подумалъ докторъ, вздохнулъ и сжался надъ нею...

— Впрочемъ, вотъ что... — пробормоталъ онъ. — Попробуйте-ка принять эти пилюли... Сейчасъ я пропишу... Попробуйте...

Докторъ сѣлъ, вырѣзалъ изъ бѣлаго листа бумажку для рецепта и, послѣ рецептурнаго значка (Rp), написалъ:

«Быть сегодня въ восемь часовъ вечера на углу Кузнецкаго и Неглинной, около Даціаро. Буду ждать».

Докторъ надѣлъ перчатку, поклонился и вышелъ.

Въ восемь часовъ вечера... Впрочемъ, поставлю точку. Одну точку я всегда предпочиталъ многоточію, предпочту и теперь.

СЛУЧАЙ ИЗЪ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

(Уголовный разсказъ).

Дѣло происходило въ Н...скомъ окружномъ судѣ, въ одну изъ послѣднихъ его сессій.

Зала засѣданія, переднія и лѣстницы были полны публики; яблоку упасть негдѣ было.

На скамьѣ подсудимыхъ засѣдалъ Н...скій мѣщанинъ Сидоръ Шельмецовъ, малый лѣтъ тридцати, съ цыганскимъ подвижнымъ лицомъ и плутоватыми глазками. Обвиняли его: въ 1) кражѣ со взломомъ, 2) мошенничествѣ; 3) проживательствѣ по чужому виду. Послѣднее беззаконіе осложнилось присвоеніемъ непринадлежащихъ титуловъ. Обвинялъ товарищъ прокурора. Имя сему товарищу легіонъ. Особенныхъ примѣтъ и качествъ, дающихъ популярность и солидный гонорарій, онъ за собой вѣдать не вѣдаетъ: подобенъ себѣ подобнымъ. Говоритъ въ пось, буквы «к» не выговариваетъ, ежеминутно сморкается.

Впрочемъ, всѣ эти добродѣтели нисколько не умаляютъ достоинствъ его рѣчи.

Защицалъ же знаменитѣйшій и популярнѣйшій адвокатъ. Этому адвоката знаетъ весь свѣтъ. Чудныя рѣчи его цитируются, фамилія его произносится съ благоговѣніемъ...

Въ плохихъ романахъ, оканчивающихся полнымъ оправданіемъ героя и аплодисментами публики, онъ играетъ немалую роль. Въ этихъ романахъ фамилію его производятъ отъ грома, молніи и другихъ не менѣе внушительныхъ стихій.

Когда товарищъ прокурора сумѣлъ доказать, что Шельмецовъ виновенъ и не заслуживаетъ снисхожденія, когда онъ выясилъ, убѣдилъ и сказалъ: «я кончилъ», поднялся защитникъ. Всѣ наострили уши. Воцарилась тишина.

Адвокатъ заговорилъ и... пошли плясать нервы Н...ской публики! Онъ вытянулъ свою смугловатую шею, склонилъ набокъ голову, засверкалъ глазами, поднялъ вверхъ руку, и необъяснимая сладость полилась въ напряженные уши. Языкъ его заигралъ на нервахъ, какъ на балалайкѣ... Послѣ первыхъ же двухъ-трехъ фразъ его кто-то изъ публики громко ахнулъ и вынесли изъ залы засѣданія какую-то блѣдную даму. Черезъ три минуты предсѣдатель принужденъ былъ уже потянуться къ звонку и трижды позвонить. Судебный приставъ съ краснымъ носикомъ завертѣлся на своемъ стулѣ и сталъ угрожающе поглядывать на увлеченную публику. Всѣ зрачки расширились, лица поблѣднѣли отъ страстнаго ожиданія послѣдующихъ фразъ, они вытянулись... А что дѣлалось съ сердцами!? Что дѣлалось?! Они клокотали и барабанили...

— Мы—люди, господа присяжные засѣдатели, будемъ же и судить по-человѣчески!—сказалъ, между прочимъ, защитникъ.—Прежде чѣмъ предстать передъ вами, этотъ человѣкъ выстрадалъ шестимѣсячное предварительное заключеніе. Въ продолженіе шести мѣсяцевъ жепы лишена была горячо любимого супруга, глаза дѣтей не высыхали отъ слезъ при мысли, что около нихъ нѣтъ дорогого отца! О, если бы вы посмотрѣли на этихъ дѣтей! Они голодны, потому что ихъ некому кормить, они плачутъ, потому что они глубоко несчастны... Да поглядите же! Они протягиваютъ къ вамъ свои ручонки, прося васъ возвратить имъ ихъ отца! Ихъ здѣсь нѣтъ, но вы можете себѣ ихъ представить. (Пауза) Заключение... Гм... Его посадили рядомъ съ ворами и убійцами... Его! Жертву подозрѣнія! (Пауза) Надо только представить его нравственныя муки въ этомъ заключеніи, вдали отъ жены и дѣтей, чтобы... Да что говорить?!

Въ публикѣ слышались всхлипыванія... Заплакала какая-то дѣвушка съ большой брошкой на груди. Вслѣдъ за ней захныкала сосѣдка ея, старушонка.

Защитникъ говорилъ и говорилъ... Факты онъ миновалъ, а напиралъ больше на психологію. А психологія, сами знаете, чудно дѣйствуетъ: на любой струнѣ играетъ.

— Знать его душу, значитъ знать особый, отдѣльный міръ, полный движенія... Я изучилъ этотъ міръ... Изучая его, я, признаюсь, впервые изучилъ человѣка. Я понялъ

человѣка.. Каждое движеніе его души говорить за то, что въ своемъ клиентѣ я имѣю честь видѣть идеальнаго человѣка...

Судебный приставъ пересталъ глядѣть угрожающе и полѣзъ въ карманъ за платкомъ. Вынесли изъ залы еще двухъ дамъ. Предсѣдатель оставилъ въ покоѣ звонокъ и надѣлъ очки, чтобы не замѣтили слезинки, навернувшейся въ его правомъ глазу. Всѣ полѣзли за платками. Прокуроръ, этотъ камень, этотъ ледъ, безчувственнѣйшій изъ организмовъ, безпокойно завертѣлся на креслѣ, покраснѣлъ и сталъ глядѣть подъ столъ... Слезы за сверкали сквозь его очки.

«Было бъ мнѣ отказатья отъ обвиненія!—подумалъ онъ. — Вѣдь этакое фіаско потерпѣть! А?»

— Взгляните на его глаза!—продолжалъ защитникъ (подбородокъ его дрожалъ, голосъ дрожалъ и сквозь глаза глядѣла страдающая душа). Неужели эти кроткіе, нѣжные глаза могутъ равнодушно глядѣть на преступленіе? О, нѣтъ! Они, эти глаза, плачутъ! Подъ этими калмыцкими скулами скрываются тонкіе нервы! Подъ этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное сердце! И вы, люди, осмѣлитесь сказать, что онъ виноватъ?

Тутъ не вынесъ и самъ подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Онъ замигалъ глазами, заплакалъ и безпокойно задвигался...

— Виноватъ! — заговорилъ онъ, перебивая защитника. — Виноватъ! Сознаю свою вину! Укралъ и мошенства строилъ! Окаянный я человѣкъ! Деньги я изъ сундука взялъ, а шубу краденую велѣлъ свояченицѣ спрятать... Каюсь! Во всемъ виноватъ!

И подсудимый разсказалъ, какъ было дѣло. Его осудили.

По окончаніи дѣла толпа цѣнителей, любителей и почитателей окружила защитника. Посыпались всевозможныя изъявленія.

— Благодарю васъ, господа!—отвѣтилъ защитникъ на восторгъ.—Но вѣдь успѣхъ мой не полонъ! Впрочемъ, тутъ не моя ошибка... Если бы подсудимый не поспѣшилъ со своимъ сознаниемъ, его оправдали бы... Онъ далъ промахъ. Ему ничто не мѣшало бы сознаться и послѣ приговора... Глушь!

КОТЪ.

Варвара Петровна проснулась и стала прислушиваться. Лицо ея поблѣднѣло, большіе черные глаза стали еще больше и загорѣлись страхомъ, когда оказалось, что это не сонъ... Въ ужасѣ закрыла она руками лицо, приподнялась на локоть и стала будить своего мужа. Мужъ, свернувшись калачикомъ, тихо похрапывалъ и дышалъ на ея плечо.

— Алеша, голубчикъ... Проснись! Милый!.. Ахъ... это ужасно!

Алеша пересталъ храпѣть и вытянулъ ноги. Варвара Петровна дернула его за щеку. Онъ потянулся, глубоко вздохнулъ и проснулся.

— Алеша, голубчикъ... Проснись. Кто-то плачетъ...

— Кто плачетъ? Чтò ты выдумываешь?

— Прислушайся-ка. Слышишь? Стонетъ кто-то... Это, должно-быть, дитя къ намъ подкинули... Ахъ, не могу слышать!

Алеша приподнялся и сталъ слушать. Въ настѣжь открытое окно глядѣла сѣрая ночь. Вмѣстѣ съ запахомъ сирени и тихимъ шопотомъ липы слабый вѣтерокъ доносилъ до кровати странные звуки... Не разберешь сразу, чтò это за звуки: плачь ли то дѣтскій, пѣніе ли Даваря, вой ли... не разберешь! Одно только было ясно: звуки издавались подъ окномъ, и не однимъ горломъ, а нѣсколькими... Были тутъ дисканты, альты, тенора...

— да это, Варя, коты! — сказалъ Алеша. — Дурочка!

— Коты? Не можетъ быть! А басы же кто?

— Это свинья хрюкаетъ. Вѣдь мы, не забывай, на дачѣ... Слышишь? Такъ и есть, коты... Ну, успокойся; спи себѣ съ Богомъ.

Варя и Алеша легли и потянули къ себѣ одѣяло. Въ окно потянуло утренней свѣжестью, и стало слегка знобить. Супруги свернулись калачиками и закрыли глаза. Черезъ пять минутъ Алеша заворочался и повернулся на другой бокъ.

— Спать не даютъ, чортъ бы взялъ!.. Орутъ...

Кошачье пѣнье, между тѣмъ, шло *crescendo*. Къ пѣвцамъ присоединились, повидимому, новыя пѣвцы, новыя силы, и легкій шорохъ внизу подь окномъ постепенно обращался въ шумъ, гвалтъ, возню. Нѣжное, какъ студень, *piano* достигало степени *fortissimo*, и скоро воздухъ наполнился возмутительными звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки, другіе выводили заливчатскія трели, точно по нотамъ, съ восьмыми и шестнадцатыми, третьи тянули длинную, однообразную ноту... А одинъ котъ, должно-быть, самый старшій и пылкшій, пѣлъ какимъ-то неестественнымъ голосомъ, не кошачьимъ, то басомъ, то теноромъ:

— Мал... мал... Ту... ту... ту... каррряу...

Если бъ не пшиканье, то и подумать нельзя было бы, что это коты поютъ... Варя повернулась на другой бокъ и проворчала что-то... Алеша вскочилъ, послалъ въ воздухъ проклятіе и заперъ окно. Но окно не толстая вещь: пропускаетъ и звукъ, и свѣтъ, и электричество.

— Мнѣ въ восемь часовъ вставать надо, на службу ѣхать, — выругался Алеша: — а они ревуть, спать не даютъ, дьяволы... Да замолчи хоть ты, пожалуйста. Баба! Нюхать надъ самымъ ухомъ! Хныкаетъ тутъ! Чѣмъ же я виноватъ? Вѣдь они не мои!

— Прогони ихъ! Голубчикъ!

Мужъ выругался, прыгнулъ съ кровати и пошелъ къ окну... Ночь клонилась къ утру.

Поглядѣвъ на небо, Алеша увидѣлъ одну только звѣздочку, да и та мерцала точно въ туманѣ, еле-еле... Въ лиги заворчали воробы, испуганные шумомъ открывающагося окна. Алеша поглядѣлъ внизъ на землю и увидѣлъ штукъ десять котовъ. Вытянувъ хвосты, шипя и нѣжно ступая по травкѣ, они дромадерами ходили вокругъ хорошенькой кошечки, сидѣвшей на опрокинутой вверхъ дномъ лахани, и пѣли. Трудно было рѣшить, чего въ нихъ было больше: любви ли къ кошечкѣ, или собственнаго достоинства? За любовью ли они пришли, или только за тѣмъ, чтобы достоинство свое показать?

Въ отношеніяхъ другъ къ другу сквозила самая утонченная ненависть... По ту сторону палисадника терлась о рѣшетку свинья съ поросятами и просилась въ садикъ.

— Пшли! — шикнулъ Алеша. — Кшш! Вы, черти! Пш!.. Фюйтъ!

Но коты не обратили на него вниманія. Одна только кошечка поглядѣла въ его сторону, да и то мелькомъ, нехотя. Она была счастлива, и не до Алеши ей было...

— Нш... пш... анаемы! Тьфу, чортъ бы васъ взялъ совсѣмъ! Варя, дай-ка сюда графинъ! Мы ихъ окатимъ! Вотъ черти!

Варя прыгнула съ кровати и подала не графинъ, а кувшинъ изъ рукомойника. Алеша легъ грудью на подоконникъ и нагнулъ кувшинъ...

— Ахъ, господа, господа! — услышалъ онъ надъ своей головой чей-то голосъ. — Ахъ, молодежь, молодежь! Ну можно ли такъ дѣлать, а? Ахахаххх... Молодежь!!

И за симъ послѣдовалъ вздохъ. Алеша поднялъ вверхъ лицо и увидѣлъ плечи въ ситцевомъ халатѣ съ большими цвѣтами и сухіе, жилистые пальцы. На плечахъ торчала маленькая, сѣдовласая головка въ ночномъ колпакѣ, а пальцы грозили... Старецъ сидѣлъ у окна и не отрывалъ глазъ отъ котовъ. Его глазки свѣтились вожделѣніемъ и были полны масла, точно балетъ глядѣли.

Алеша разинулъ ротъ, поблѣднѣлъ и улыбнулся...

— Почивать изволите, ваше-ство? — спросилъ онъ ни къ селу ни къ городу.

— Нехорошо-съ, милостисдарь! Вы идете противъ природы, молодой человѣкъ! Вы подрываете... эээ... такъ сказать, законы природы! Нехорошо-съ! Какое вамъ дѣло? Вѣдь это... эээ... организмъ? Какъ по-вашему? Организмъ? Надо понимать! Не хвалю, милостисдарь!

Алеша струсилъ, пошелъ на цыночкахъ къ кровати и смиренно легъ. Варя прикурнула возлѣ него и притаила дыханіе.

— Это нашъ... — прошепталъ Алеша. — Самъ... И не спитъ. На котовъ любитъ. Вотъ дьяволь-то! Неприятно жить вмѣстѣ съ начальникомъ.

— Ммолодой человѣкъ! — услыпалъ черезъ минуту Алеша старческой голосъ. — Гдѣ вы? Пожалуйте сюда!

Алеша подошелъ къ окну и обратилъ свое лицо къ старцу.

— Видите вы этого бѣлаго кота? Какъ вы находите?

Это мой! Манера-то, манера! Поступь!.. Поглядите-ка! Мяу, мяу... Васька! Васюшка, шельма! Усищи-то какіе у паршака! Сибирскій, шельма! Изъ мѣсть отдаленныхъ... хе-хе-хе... А кошечкѣ быть... быть въ бѣдѣ! Хе-хе. Всегда мой котъ верхъ бралъ. Вы въ этомъ сейчасъ убѣдитесь! Манера-то, манера!

Алеша сказалъ, что ему очень правится шерсть. Старичокъ началъ описывать образъ жизни этого кота, его привычки, увлекся и рассказывалъ вплоть до солнечнаго восхода. Рассказывалъ со всѣми подробностями, причмокивая и облизывая свои жилистые пальцы... Такъ и не удалось соснуть!

Въ первомъ часу слѣдующей ночи коты опять затянули свою пѣсню и опять разбудили Варю. Гнать котовъ прочь Алеша не смѣлъ. Среди нихъ былъ котъ его превосходительства, его начальника. Алеша и Варя до утра прослушали кошачій концертъ.

1883.

БЕНЕФИСЪ СОЛОВЬЯ.

(Рецензія).

Мы запяли мѣста у берега рѣчки. Впереди насъ круто спускался коричневыи, глинистый берегъ, а за нашими спинами темѣла широкая роща. Расположились мы животами на молодой, мягкой травкѣ, головы подперли кулаками, а ногамъ дали полную волю—суйся, куда знаешь. Весеннія пальто мы сняли, но двугривенныхъ за храпеніе ихъ не платили, ибо около насъ, слава Богу, капельдинеровъ не было. Роща, небо и поле вплоть до самой глубокой дали были залиты луннымъ свѣтомъ, а вдали тихо мерцалъ красный огонекъ. Воздухъ былъ тихъ, прозраченъ, душистъ... Все благопріятствовало бенефицианту. Оставалось ему только не злоупотреблять нашимъ терпѣніемъ и поскорѣй начинать. Но онъ долго не начиналъ... Въ ожиданіи его мы, согласно программѣ, слушали другихъ исполнителей.

Вечеръ начался пѣніемъ кукушки. Она лѣниво закукукала гдѣ-то далеко въ рощѣ и, прокукувавъ разъ десять, умолкла. Тотчасъ же надъ нашими головами съ рѣзкимъ пискомъ пронеслись два кобчика. Запѣла затѣмъ контроальто иволга, пѣвица извѣстная, серьезно занимающаяся. Мы прослушали ее съ удовольствіемъ и слушали бы долго, если бы не грачи, летѣвшіе на почевку... Вдали показалась черная туча, двинулась къ намъ и съ карканьемъ опустилась на рощу. Долго не умолкала эта туча.

Когда кричали грачи, загалдѣли и лягушки, живущія въ камышахъ на казенныхъ квартирахъ, и цѣлые полчаса концертное пространство было полно разнообразныхъ звуковъ, слившихся скоро въ одинъ звукъ. Гдѣ-то закричалъ засыпающій дроздъ. Ему аккомпанировали рѣчная курочка и камышевка. Засимъ послѣдоваль антрактъ, наступила тишина, изрѣдка нарушаемая пѣніемъ сверчка, сидѣвшаго въ травѣ возлѣ публики. Въ антрактѣ наше терпѣніе достигло своего апогея: мы начинали уже ронтать на бенефицианта. Когда на землю спустилась ночь и луна остановилась среди неба надъ самой рощей, настала и его очередь. Онъ показался въ молодомъ кленовникѣ, порхнулъ въ терновникъ, повертѣлъ хвостомъ и сталъ неподвиженъ. На немъ сѣрый пиджакъ... вообще онъ игнорируетъ публику и является передъ ней въ костюмѣ мужика-воробья. (Стыдно, молодой человекъ! Не публика для васъ, а вы для публики!) Минуты три сидѣлъ онъ молча, не двигаясь... Но вотъ зашумѣли верхушки деревьевъ, задулъ вѣтерокъ, затрещалъ громче сверчокъ, и подъ аккомпанементъ этого оркестра бенефициантъ исполнилъ свою первую трель. Онъ запѣлъ. Не берусь описывать это пѣніе, скажу только, что самъ оркестръ умолкъ отъ волненія и замеръ, когда артистъ, слегка приподнявъ свой клювъ, засвиеталъ и осыпалъ рощу щелканьемъ и дробью... И сила и нѣга въ его голосѣ... Впрочемъ, не стану отбивать хлѣбъ у поэтовъ, пусть они пишутъ. Онъ пѣлъ, а кругомъ царила внимающая тишина. Разъ только сердито заворчали деревья и зашикалъ вѣтеръ, когда вздумала запѣть сова, желавшая заглушить артиста...

Когда засѣрѣло небо, потухли звѣзды, и голосъ пѣвца сталъ слабѣе и нѣжнѣе, на опушкѣ рощи показался поваръ помѣщика-графа. Согнувшись и придерживая дѣ-

вой рукой шапку, онъ тихо крался. Въ правой рукѣ его было лукошко. Онъ замелькалъ между деревьями и скоро исчезъ въ чащѣ. Пѣвецъ попѣлъ еще немного и вдругъ умолкъ. Мы собрались уходить.

— Вотъ онъ, шельма! — услышали мы чей-то голосъ и скоро увидѣли повара.

Графскій поваръ шелъ къ намъ и, весело смѣясь, показывалъ намъ свой кулакъ. Изъ его кулака торчали головка и хвостъ только-что пойманнаго имъ бенефицианта. Вѣдный артистъ! Избавь Богъ всякаго отъ подобнаго сбора!

— Зачѣмъ вы его поймали? — спросили мы повара.

— А въ клѣтку!

Навстрѣчу утра жалобно закричалъ коростель, и зашумѣла роща, потерявшая пѣвца. Поваръ сунулъ любовника розы въ лукошко и весело побѣждалъ къ деревнѣ. Мы тоже разошлись.

1883.

МОЯ НАНА.

Это было тогда, когда я еще не былъ неизвѣстнымъ литераторомъ и мои колючіе усы не были еще даже чуть замѣтными полосками...

Былъ хорошій, весеній вечеръ. Я воротился съ дачнаго «круга», на которомъ мы учиняли плясъ, какъ угорѣлый. Въ моемъ юношескомъ организмѣ, выражаясь образно, камня на камнѣ не было, возсталъ языкъ на языкъ, царство на царство. Въ моей отчаянной душѣ раскалялась и бурлила наиотчаяннѣйшая любовь. Любовь была жгучая, острая, духъ захватывающая — первая, однимъ словомъ. Влюбился я въ высокую, статную барыньку, лѣтъ двадцати трехъ, съ глупенькимъ, но хорошенькимъ личикомъ, съ чудными ямочками на щекахъ. Влюбился я и въ эти ямочки, и въ бѣлокурые волосы, которые кудряшками падали на красивыя плечи изъ-подъ широкополой соломенной шляпки... Ахъ, однимъ словомъ! Воротясь съ круга, я повалился на свое ложе

и застоналъ, какъ пришибленный. Черезъ часъ я сидѣлъ за столомъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ, измаравъ цѣлую дѣсть бумаги, сочинялъ письмо слѣдующаго содержанія:

«Валерія Андреевна! Я знакомъ съ вами очень мало, почти незнакомъ, но это не можетъ послужить мнѣ препятствіемъ на пути къ достиженію намѣченныхъ мною цѣлей. Минуя громкія фразы, я прямо приступаю къ цѣли: я люблю васъ! Да, я люблю васъ и люблю больше жизни! Это не гипербола. Я честенъ, тружусь (слѣдуетъ длиннѣйшее описаніе моихъ доблестей)... Жизнь моя мнѣ недорогоа. Не сегодня — такъ завтра, не завтра — такъ черезъ годъ... не все ли равно? На моемъ столѣ, въ двухъ футахъ отъ моей груди, лежитъ револьверъ (шестистволка). Я въ вашихъ рукахъ. Если вамъ дорога жизнь страстно любящаго васъ человѣка, то отвѣчайте. Жду отвѣта. Ваша Палаша знаетъ меня. Можете черезъ нее отвѣтить. Вашъ вчерашній vis-à-vis (такой-то, имя рекъ)...

«P. S. Сжальтесь!»

Запечатавъ это письмо, я положилъ передъ собой на столъ револьверъ — для «фантазіи» больше, чѣмъ для самоубійства — и пошелъ между дачъ искать почтоваго ящика. Ящикъ былъ найденъ, и письмо опущено.

Вотъ что произошло, какъ рассказывала мнѣ потомъ Палаша, съ моимъ письмомъ. На другой день утромъ, часовъ въ одиннадцать, Палаша послѣ прихода почтальона положила мое письмо на серебряный подносъ и понесла его въ спальню хозяйки. Валерія Андреевна лежала подъ воздушнымъ шелковымъ одѣяломъ и лѣниво потягивалась. Она только-что проснулась и выкуривала первую папироску. Глазки ея капризно щурились отъ луча, который сквозь окно назойливо билъ въ ея лицо. Увидѣвъ мое письмо, она состроила кислую гримасу.

— Отъ кого это? — спросила она. — Прочти сама, Палаша! Я не люблю читать этихъ писемъ. Глупости все...

Палаша распечатала мое письмо и принялась за чтеніе. Чѣмъ больше углублялась она въ чтеніе моего сочиненія, тѣмъ круглѣе и шире дѣлались глаза ея госпожи. Когда она дочитала до револьвера, Валерія Андреевна раскрыла ротъ и съ ужасомъ поглядѣла на Палашу.

— Что это значить? — спросила она, недоумѣвая.

Палаша прочла еще разъ. Валерія Андреевна заморгала глазками.

— Кто же это? Кто онъ? Ну, зачѣмъ онъ такъ пить? — заговорила она плаксиво. — Кто онъ?

Палаша припомнила и описала меня.

— Ахъ! Да зачѣмъ онъ это пишетъ? Ну, развѣ такъ можно? Что же я могу сдѣлать? Не могу же я, Палаша! Онъ богатъ, что ли?

Палаша, которой я отдавалъ на чай почти все свои дивиденды, подумала и сказала, что я, вѣроятно, богатъ.

— Не могу же я! Сегодня, вотъ, у меня Алексѣй Матвѣичъ будетъ, завтра баронъ... Въ четвергъ Ромбъ будетъ... Когда же я могу его принять? Днемъ развѣ?

— Григорій Григорьевичъ обѣщались у васъ быть нынче днемъ...

— Ну, вотъ видишь! Развѣ я могу? Ну, скажи ему... Пусть... Пусть хоть чай придетъ сегодня пить... Больше я не могу...

Валерія Андреевна готова была заплакать. Первый разъ въ жизни она узнала, что за штука револьверъ, и узнала изъ моего сочиненія! Вечеромъ я былъ у нея и пилъ чай. Выпилъ четыре стакана, хоть и страдалъ... На мое счастье былъ дождь, и не пріѣхалъ къ Валеріи ея Алексѣй Матвѣичъ. Въ концѣ концовъ я ликовалъ.

1883.

ДЕПУТАТЪ, ИЛИ ПОВѢСТЬ О ТОМЪ, КАКЪ У ДЕЗДЕМОНОВА 25 РУБЛЕЙ ПРОПАЛО.

(Посвящается Л. И. Пальмину).

— Тссс... Пойдемте въ швейцарскую, здѣсь неудобно...
Услышеть...

Оправились въ швейцарскую. Швейцара Макара, чтобъ онъ не подслушалъ и не донесъ, поспѣшили услатъ въ казначейство. Макаръ взялъ разсыльную книгу, надѣлъ шапку, но въ казначейство не пошелъ, а спрятался подъ лѣстницей: онъ зналъ, что бунтъ будетъ... Первый заговорилъ Кашалотовъ, за нимъ Дездемоновъ, послѣ Дездемонова Зрачковъ... забушевали опасныя страсти! По краснымъ лицамъ забѣгали судороги, по грудямъ застучали кулаки...

— Мы живемъ во второй половинѣ XIX столѣтія, а не чортъ знаетъ когда, не въ допотопное время! — заговорилъ Кашалотовъ. — Чтѣ позволялось этимъ толстопузамъ прежде, того не позволять теперь! Намъ надоѣло наконецъ! Прошло уже то время, когда... И т. д...

Дездемоновъ прогремѣлъ приблизительно то же самое. Зрачковъ даже выругался неприлично... Всѣ загалдѣли! Нашелся, впрочемъ, одинъ благоразумный. Этотъ благоразумный соорилъ озабоченное лицо, вытерся засморканнымъ платочкомъ и проговорилъ:

— Ну, стѣить ли? Ахъ... Ну, положимъ, пусть... это правда; но съ какой стати? Какою мѣрою мѣрите, такую и вамъ возмѣрится: и противъ васъ бунтовать будутъ, когда вы будете начальниками. Вѣрьте слову! Губите только себя.

Но не послушали благоразумнаго. Ему не дали договорить и оттиснули его къ двери. Видя, что благора-

зүміемъ ничего не возьмешь, онъ стать неблагоразумнымъ и самъ забурлилъ.

— Пора же наконецъ дать ему понять, что мы такіе же люди, какъ и онъ! — сказалъ Дездемоновъ. — Мы, повторяю, не холоуи, не плебен! Мы не гладіаторы! Издѣваться надъ собой мы не позволимъ! Онъ тыкаетъ на насъ, не отвѣчаетъ на поклоны, морду воротить, когда докладъ дѣлаешь, бранится... Нынче и на лакеевъ тыкать нельзя, а не то что на благородныхъ людей! Такъ и сказать ему!

— А наемни обращается ко мнѣ и спрашиваетъ: «Въ чемъ это у тебя рыло? Поди къ Макару, пусть онъ тебѣ шваброй вымоетъ!» Хороши шутки! А то однажды...

— Иду я съ женой однажды, — перебилъ Зрачковъ: — встрѣчается онъ... «А ты, говорить, губастый, вѣчно съ дѣвками шляешься! Среди бѣла дня даже!»—Это, говорю, моя жена, ваше-ство...—И не извинился, а только губами чмокнулъ! Жена отъ этого самага оскорбленія три дня ревмя-ревѣла. Она не дѣвка, а напротивъ... сами знаете...

— Однимъ словомъ, господа, жить такъ долѣе невозможно! Или мы, или онъ, а вмѣстѣ служить намъ ни въ какомъ случаѣ не возможно! Пусть или онъ уйдетъ, или мы уйдемъ! Лучше безъ должности жить, чѣмъ реноме свое въ ничтожествѣ имѣть! Теперь XIX столѣтіе. У всякаго свое самолюбіе есть! Я хоть и маленькій человекъ, а все-таки не субъектъ какой-нибудь, и у меня въ душѣ своей жандръ есть! Не позволю! Такъ и сказать ему! Пусть одинъ изъ насъ пойдетъ и скажетъ ему, что такъ невозможно! Отъ нашего имени! Ступай! Кто пойдетъ? Такъ-таки прямо и сказать! Не бойтесь, ничего не будетъ! Кто пойдетъ? Тьфу, чортъ... охрипъ совсѣмъ...

Стали выбирать депутата. Послѣ долгихъ споровъ и пререканій самымъ умнымъ, краснорѣчивымъ и самымъ смѣлымъ признанъ былъ Дездемоновъ. Въ библіотекѣ записать, пишетъ прекрасно, съ барышнями образованными знакомъ, — значитъ, уменъ, найдется, что и какъ сказать. А о смѣлости и толковать нечего. Всѣмъ извѣстно, какъ онъ однажды потребовалъ у квартальнаго извиненія, когда тотъ въ клубѣ принялъ его за «человѣка»; не успѣлъ квартальный нахмуриться на это требованіе, какъ молва о смѣлости расплылась уже по міру и заняла умы...

— Ступай, Сеня! Не бойся! Такъ и скажи ему! На-ка-ся выкуси, молъ! Не на тѣхъ наскочилъ, молъ, ваше-ство! Шалишь! Ищи себѣ другихъ холуевъ, а мы сами съ усами, сами, ваше-ство, умѣемъ фертикулясы выкидывать. Нечего тѣнь наводить! Такъ-то... Ступай, Сеня... другъ... Причешись только... Такъ и скажи.

— Выпыльчивъ я, господа... Наговорю, чего добраго. Шель бы Зрачковъ лучше!

— Нѣтъ, Сеня, ты иди... Зрачковъ молодецъ только противъ овецъ, да и то въ пьяномъ видѣ... дуракъ онъ, а ты все-таки... Иди, душечка...

Дездемоновъ причесался, поправилъ жилетъ, кашлянулъ въ кулакъ и пошелъ... Всѣ притаили дыханіе. Войдя въ кабинетъ, Дездемоновъ остановился у двери и дрожащей рукою провелъ себя по губамъ: ну, какъ начать? Подъ ложечкой похолодѣло и перетянуло точно поясомъ, когда онъ увидѣлъ лысину съ знакомой черненькой бородавкой... По спинѣ загулялъ вѣтерокъ... Это не бѣда, впрочемъ; со всякимъ отъ непривычки случается, робѣть только не нужно... Смѣлѣй!

— Э-э-э... чего тебѣ?

Дездемоновъ сдѣлалъ шагъ впередъ, шевельнулъ языкомъ, но не издалъ ни одного звука: во рту что-то запуталось. Одновременно почувствовалъ депутатъ, что не въ одномъ только рту идетъ путаница: и во внутренностяхъ тоже... Изъ души храбрость пошла въ животъ, пробурчала тамъ, по бедрамъ ушла въ пятки и застряла въ сапогахъ... А сапоги порванные... Бѣда!

— Э-э-э... чего тебѣ? Не слышишь?

— Гм... Я ничего... Я только такъ. Я, ваше-ство, слышалъ... слышалъ...

Дездемоновъ придержалъ языкъ, но языкъ не слушался и продолжалъ:

— Я слышалъ, что ея — ство разыгрываютъ въ лотерею карету... Билетикъ, ваше-ство... Кгм... ваше-ство...

— Билетъ? Хорошо... У меня пять билетовъ осталось, только... Всѣ пять возьмешь?

— Нѣ... нѣ... нѣтъ, ваше-ство... Одинъ билетикъ... достаточно...

— Всѣ пять возьмешь, я тебя спрашиваю?

— Очень хорошо-съ, ваше-ство!

— По шести рублей... Но съ тебя можно по пяти... Распишись... Отъ души желаю тебѣ выиграть...

— Хе-хе-хе-съ... Мерси-съ, ваше-ство... Г'м... Очень приятно...

— Ссступай!

Черезъ минуту Дездемоновъ стоялъ среди швейцарской и красный, какъ ракъ, со слезами на глазахъ, просилъ у пріятелей 25 рублей взаймы.

— Отдашь ему, братцы, 25 рублей, а это не мои деньги! Это теща дала за квартиру заплатить... Дайте, господа! Прошу васъ!

— Чего же ты плачешь? Въ каретѣ ѣздить будешь...

— Въ каретѣ... Карета... Людей пугать я каретой буду, что ли? Я не духовное лицо! Да куда я ее поставлю, если выиграю? Куда я ее дѣну?

Говорили долго, а пока они говорили, Макаръ (онъ грамотенъ) записывалъ, записавъ же... и т. д. Длинно, господа! Во всякомъ случаѣ изъ сего проистекаетъ мораль: не бунтуй!

1883.

ГЕРОЙ-БАРЫНЯ.

Лидія Егоровна вышла на террасу пить утренній кофе. Время уже было близко къ жаркому и душному полудню, однако это не помѣшало моей героинѣ нарядиться въ черное шелковое платье, застегнутое у самаго подбородка и тисками сжимавшее талію. Она знала, что этотъ черный цвѣтъ идетъ къ ея золотистымъ кудряшкамъ и строгому профилю, и разставалась съ нимъ только ночью. Когда она сдѣлала первый глотокъ изъ своей китайской чашечки, къ террасѣ подошелъ почтальонъ и подаль ей письмо. Письмо было отъ мужа: «Дядя не далъ ни гроша, и твое имѣніе продано. Ничего не подѣлалъ...» Лидія Егоровна поблѣднѣла, покачнулася на стулѣ и продолжала читать: «Уѣзжаю мѣсяца на два въ Одессу по важному дѣлу. Цѣлую».

— Разорены! На два мѣсяца въ Одессу... — простонала Лидія Егоровна. — Къ своей, значитъ, поѣхалъ... Боже мой!

Она подкатила глаза, зашаталась, ухватила рукой за перила и готова уже была упасть, какъ послышались вблизи голоса. На террасу взбирался ея сосѣдь по дачѣ и кузень, отставной генералъ Зазубринъ, старый, какъ анекдотъ о собакѣ Каквасѣ, и хилый, какъ поворожденный котенокъ. Онъ ступалъ еле-еле, осторожно, перебирая палкой ступени, словно боясь за ихъ прочность. За нимъ сѣменилъ маленькій, бритый старичокъ, отставной профессоръ Павелъ Ивановичъ Кнопка, въ большомъ стародавнемъ цилиндрѣ съ широкими приподнятыми полями. Генералъ, по обыкновенію, былъ весь въ пуху и крошкахъ, а профессоръ поражалъ бѣлизною своихъ одеждъ и гладкостью подбородка. Оба сіяли.

— А мы къ вамъ, шарманочка! — продребезжалъ генераль, довольный тѣмъ, что сумѣлъ по-своему передѣлать слово «charmantе». — Съ добрымъ утромъ, фея! Фея пьетъ кофѣя.

Генераль сострилъ глупо, но Кнопка и Лидія Егоровна расхохотались. Моя героиня отдернула отъ периль руку, вытянулась и, безконечно улыбаясь, протянула къ гостямъ обѣ руки. Тѣ облобызали и сѣли.

— Вы, кузень, вѣчно веселы! — начала кузина гостинный разговоръ. — Счастливыи характеръ!

— Какъ, бишь, я сказалъ? Ахъ, да! Фея пьетъ кофѣя... Ха-ха-ха. А мы съ герромъ профессоромъ ужъ купались, позавтракали и визиты дѣлаемъ... Бѣда мнѣ съ этимъ профессоромъ! Жалуюсь вамъ, фея! Бѣда! Собираюсь его подѣ судѣ отдать! Хе-хе-хе... Либераль! Вольтеръ, можно сказать!

— Чтѣ вы?! — улыбулась Лидія Егоровна и подумала: «Въ Одессу на два мѣсяца... къ той...»

— Честное слово! Такія идеи проповѣдуетъ... такія идеи! Совсѣмъ красный! А знаете ли вы, Павелъ Ивановичъ, другъ мой, кто красному радъ? Знаете, кто? Хххх... Отвѣтите-ка! Вотъ вамъ и запятая, либераламъ!

— Каковъ генераль? — захохоталъ Кнопка, кривя свой ученый подбородокъ. — И мы, ваше превосходительство, сумѣемъ вамъ, консерваторамъ, запятую поставить: одни только быки боятся краснаго! Ха-ха-ха... Чтѣ, сѣли-съ?

— Однако! Чтѣ вижу! У васъ цвѣтутъ олеандры! — послышался внизу террасы женскій голосъ, и черезъ минуту на террасу входила княгиня Дромадерова, сосѣдка по дачѣ. — Ахъ! У васъ мужчины, а я такая растрепка! Извините, пожалуйста! О чемъ вы тутъ? Продолжайте, генераль, я не помѣшаю...

— Мы о красномъ-съ! — продолжалъ Зазубринъ. — А вотъ-съ кстати о быкахъ... Вы это вѣрно, Павелъ Ивановичъ, насчетъ быковъ! Разъ въ Грузіи, гдѣ я батальономъ командовалъ, быкъ увидалъ мою красную подкладку, испугался и полетѣлъ на меня... рогами прямо... Саблю пришлось обнажить. Честное слово! Спасибо, казакъ близко былъ и пикой его, каналью, отогналъ... Чего вы смѣтесъ? Не вѣрите? Ей-Богу, отогналъ...

Лидія Егоровна изумилась, ахнула и подумала: «Въ Одессѣ теперь... развратчикъ!»

Кнопка заговорилъ о быкахъ и буйволахъ. Княгиня

Дромадерова заявила, что все это скучно. Заговорили о красной подкладкѣ.

— Касательно этой подкладки у меня въ памяти случай есть, — сказала Зазубринъ, обсасывая сухарикъ. — Былъ у меня въ батальонѣ полковничекъ, нѣкій Конвертовъ, Петръ Петровичъ... Старичокъ славный такой, добромъ его помянуть, простачокъ, басенникъ... Изъ простыхъ солдафоновъ въ высшіе чины вышелъ за заслуги особенныя... Въ бояхъ былъ... Любилъ я его, покойника. Прибауткамъ, феи, это онъ меня выучилъ... Лѣтъ ему семьдесятъ было, когда его въ полковники произвели, на лошадь ужъ не умѣлъ садиться, и подагрою его ломало во все корки. Вынетъ, бывало, на маневрахъ саблю изъ ноженъ, а вложить ее уже не можетъ, ординарецъ вкладываль... Разстегнется, извините, а застегнуться ужъ и не можетъ... И у этого разслабленника мечта въ головѣ была генераломъ быть. Старъ, слабъ, помирать собирается, а мечтаетъ... натура, значить, такая... воинъ! И въ отставку не хотѣлъ изъ-за генеральства... Прослужилъ лѣтъ пять въ полковникахъ, представили его... И что жъ вы думаете? А? Вотъ судьба! Трахъ его параличъ въ самый тотъ разъ, когда производство выпло... Отняло ему, сердягъ, лѣвую щеку и правую руку, да ноги поослабили сильно... Поневолѣ пришлось въ отставку выйти, и не довелось литыхъ погоновъ носить честолюбцу! Взять отставку и поѣхалъ со своей старухой въ Тифлисъ на покой. Бдетъ, плачетъ и смѣется, что его ямщикъ превосходительствомъ обзываетъ. Одна щека плачетъ и смѣется, а другая недвижима, какъ монументъ. Одно только утѣшеніе осталось ему: красная подкладка. Идетъ по Тифлису, растопыриваетъ фалды, какъ крылья, и показываетъ публикѣ красноту. Знай, молъ, кого видишь! Цѣлый день по городу шкандыляетъ и хвастаетъ подкладкой... Только и было у него, друга, радостей. Въ баню пойдетъ и разложить пальто на лавкѣ подкладкой вверхъ... Утѣшался, утѣшался, какъ малое дитѣ, да и ослѣпъ отъ старости. Напали ему человекъ по городу его водить и подкладку показывать... Идетъ слѣпенькій, сѣденькій, еле-еле телепкается, о воздухъ спотыкается, а у самого на лицѣ гордыня написана! Зима лютая, холодъ, а у него пальто нараспашку... Чудачокъ! Скоро затѣмъ померла у него старушка. Хоронить ее, ноеть, въ могилку къ ней просится и подкладку духовенству

показываетъ. Приставили къ нему другую особу, вдовицу какую-то, чтобъ поберегла... А вдовица, известное дѣло, знаетъ свою долю лучше хозяйской. Скопидомка... Сахарку припрячетъ, чайку тамъ, копеечку. Кругомъ его ощиала. Щипала-щипала, ёрзала-ёрзала подлая баба, да и дошла да апопееза! Взяла, стервоза, да и отпорола его красную подкладку себѣ на кофту, а вмѣсто красной подкладки сѣренькую сарпинку подшила. Идетъ мой Петръ Петровичъ, выворачиваетъ передъ публикой свое пальто, а самъ, слѣпенькій, и не видитъ, что у него вмѣсто генеральской подкладки сарпинка съ крапушками!..

Дромадерова нашла, что все это очень скучно, и заговорила о сынѣ-поручикѣ. Передъ обѣдомъ явились со-сѣдки — дѣвицы Клянчины съ тамап. Онѣ сѣли за рояль и запѣли любимую пѣсню Зазубрина. Сѣли обѣдать.

— Отличный редисъ! — замѣтилъ профессоръ. — Гдѣ вы такой покупаете?

— Онъ теперь въ Одессѣ... съ этой женщиной! — отвѣтила Лидія Егоровна.

— Что-съ?

— Ахъ... Я не о томъ! Не знаю, гдѣ поваръ беретъ... Что это со мной?

И Лидія Егоровна, закинувъ назадъ голову, захохотала надъ своей разсѣянностью. Послѣ обѣда пришла толстая профессорша съ дѣтьми. Сѣли за карты. Вечеромъ приѣзжали гости изъ города...

Только въ ночь, проводивъ послѣдняго гостя и простоявъ неподвижно, пока не перестали слышаться его шаги, Лидія Егоровна могла ухватиться одной рукой за тѣ же перила, покачнуться и зарыдать.

— Мало того, что прокутилъ! Ему мало этого! Онъ еще измѣнилъ!

Изъ глазъ вырвались на свободу горячія слезы, и блѣдное лицо исказилось отчаяніемъ. Ужъ не было нужды въ этикетѣ, и она могла рыдать!

Чортъ знаетъ, на что уходитъ ипогда силища!

О ТОМЪ. КАКЪ Я ВЪ ЗАКОННЫЙ БРАКЪ ВСТУПИЛЪ.

(Разсказецъ).

Когда пуншъ былъ выпить, родители пошептались и оставили насъ.

— Валяй! — шепнулъ мнѣ папаша, уходя. — Нарывай!

— Но могу ли я объясниться ей въ любви, — прошепталъ я: — ежели я ея не люблю?

— Не твое дѣло... Ты, дуракъ, ничего не понимаешь...

Сказавъ это, папаша измѣрилъ меня гнѣвнымъ взглядомъ и вышелъ изъ бесѣдки. Чья-то старушечья рука показала въ притворенной двери и утащила со стола свѣчку. Мы остались въ темнотѣ.

«Ну, чему быть, того не миновать!» — подумалъ я и, кашлянувъ, сказалъ бойко:

— Обстоятельства мнѣ благопріятствуютъ, Зоя Андреевна. Мы наконецъ одни, и темнота способствуетъ мнѣ, ибо она скрываетъ стыдъ лица моего... Стыдъ сей отъ чувствъ происходитъ, кои въ моя душа пылаютъ...

Но тутъ я остановился. Я услышалъ, какъ билось сердце Зои Желваковой и какъ стучали ея зубки. Во всемъ ея организмѣ происходило дрожаніе, которое было слышимо и чувствуемо черезъ дрожаніе скамьи. Бѣдная дѣвочка не любила меня. Она ненавидѣла меня, какъ собака палку, и презирала, ежели только можно допустить, что глупые презирать способны. Я теперь на орангуташку похожъ, безобразенъ, хоть и украшенъ чинами и орденами, тогда же я всеѣмъ звѣрямъ подобенъ былъ: толстомордый, угреватый, щетинистый... Отъ постоянного насморка и спиртуозовъ носъ имѣлъ красный, раздутый.

Ловкости моей не могли завидовать даже медвѣди. А касательно душевныхъ качествъ и говорить нечего. Съ нея же, съ Зои-то, когда еще моей невѣстой не была, неправедную взятку взялъ. Я остановился, потому что мнѣ жалко ея стало.

— Выйдемте въ садъ, — сказалъ я. — Здѣсь душно...

Вышли и пошли по аллеянкѣ. Родители, подслушивавшіе за дверью, при нашемъ появленіи порхнули въ кусты. По Зоиному лицу забѣгаль лунный свѣтъ. Глушь я былъ тогда, а сумѣлъ прочесть на этомъ лицѣ всю сладость неволи! Я вздохнулъ и продолжалъ:

— Соловей поетъ, женушку свою забавляетъ... А кого-то я, одинокій, могу позабавить?

Зоя покраснѣла и опустила глазки. Это ей было приказано такъ сактрисничать. Сѣли на скамью, лицомъ къ рѣчкѣ. За рѣчкой бѣлѣла церковь, а позади церкви возвышался господина графа Кулдарова домъ, въ которомъ жилъ конторщикъ Больницынъ, любимый Зоей человекъ. Зоя, какъ сѣла на скамью, такъ и вперила взглядъ свой въ этотъ домъ... Сердце у меня съежилось и поморщилось отъ жалости. Боже мой, Боже мой! Царство небесное нашимъ родителямъ, но... хоть бы недѣлку въ аду они посидѣли!

— Отъ одной особы все мое счастье зависитъ, — продолжалъ я. — Я питаю къ этой особѣ чувства... обоженія... Я люблю ее, и ежели она меня не любитъ, то я, значитъ, погибъ... померь... Эта особа есть вы. Можете вы меня любить? А? Любите?

— Люблю, — прошептала она.

Я, признаться, помертвѣлъ отъ этого ея слова. Думалъ я раньше, что она закандрится и откажетъ мнѣ, такъ какъ сильно другого любить. Надѣялся я на это страсть какъ, а вышло насупротивъ... Не хватило у нея силы противъ рожна итти.

— Люблю, — повторила она и заплакала.

— Не можетъ этого быть-съ! — заговорилъ я, самъ не зная, что говорю, и дрожа всѣмъ тѣломъ. — Развѣ это возможно? Зоя Андреевна, голубушка моя, не вѣрьте! Ей же Богу, не вѣрьте! Не люблю я васъ! Будь я трижды, анаѐма, проклять, ежели я люблю! И вы меня не любите! Все это чепуха одна только...

Я вскочилъ и забѣгаль около скамьи.

— Не надо! Все это одна только комедь! Женять насъ

насилно, Зоя Андреевна, ради имущественныхъ интересовъ; какая же тутъ любовь? Миѣ легче камень осельный на шею, чѣмъ васъ за себя взять, вотъ что! Какого же чорта! Какое они имѣютъ полное право? Что мы для нихъ? Крѣпостные? Собаки? Не женюсь! На зло! Дряни этакія! Довольно ужъ мы имъ поблажку дѣлали! Пойду сейчасъ и скажу, что не хочу жениться на васъ, вотъ и все!

Лицо Зои вдругъ перестало плакать и въ мгновеніе ока высохло.

— Пойду и скажу! — продолжалъ я. — И вы тоже скажете. Вы скажете имъ, что вовсе меня не любите, а что любите Больницына. И я буду руку Больницына держать... Миѣ извѣстно, какъ страстно вы его любите!

Зоя засмѣялась отъ счастья и заходила рядомъ со мной.

— Да вѣдь и вы любите другую, — сказала она, потирая руки. — Вы любите мадмуазель Дѣбе.

— Да, — говорю: — мадмуазель Дѣбе. Она хоть не православная и не богатая, а я ее люблю за умъ и душеспасительныя качества... Пусть проклинаятъ, а я женюсь на ней. Я люблю ее, можетъ-быть, больше, чѣмъ жизнь люблю! Я безъ нея жить не могу! Ежели я не женюсь на ней, то я и жить не захочу! Сейчасъ пойду... Пойдемте и скажемъ этимъ шутамъ... Спасибо вамъ, голубушка... Какъ вы меня утѣшили!

Въ душу мою хлынуло счастье, и сталъ я благодарить Зою, а Зоя меня. И оба мы, счастливые, благодарные, стали другъ другу руки цѣловать, благородными другъ друга называть... Я ей руки цѣлую, а она меня въ голову, въ мою щетину. И, кажется, даже обнялъ ее, этикетки забывъ. И, можно вамъ сказать, это объясненіе въ нелюбви было счастливѣе любого любовнаго объясненія. Пошли мы, радостные, розовые и трепещущіе, къ дому, волю нашимъ родителямъ объявить. Идемъ и другъ друга подбодряемъ.

— Пусть насъ поругаютъ, — говорю: — побьютъ, выгнать даже, да зато мы счастливы будемъ!

Входимъ въ домъ, а тамъ у дверей стоятъ родители и ждутъ. Глядятъ на насъ, видятъ, что мы счастливы, и давай махать лакею. Лакей подходитъ съ шампанскимъ. Я начинаю протестовать, махать руками, стучать... Зоя плачетъ, кричитъ... Шумъ поднялся, гвалтъ, и не удалось выпить шампанскаго.

Но пасъ все-таки поженили.

Сегодня мы празднуемъ нашу серебряную свадьбу. Четверть столѣтїя вмѣстѣ прожили! Сначала жутко приходилось. Бранилъ ее, лупцовалъ, принимался любить ее съ горя... Дѣтей имѣли съ горя... Потомъ... ничего себѣ... попривыкли... А въ настоящій моментъ стоитъ она, Зочка, за моею спиною и, положивъ ручки на мои плечи, цѣлуетъ меня въ лысину.

1883.

ВЕСЬ ВЪ ДѢДУШКУ.

Душная ночь съ блохами, съ открытыми настѣжь окнами... Жажда, какъ послѣ селедки... Я лежу на своей кровати, ворочаюсь съ боку на бокъ и всячески стараюсь уснуть. За стѣной, въ другой комнатѣ, не спитъ и ворочается мой дѣдушка, отставной генералъ, живущій у меня на хлѣбахъ. Обои насъ кусаютъ блохи, и оба мы ворчимъ. Дѣдушка кряхтитъ, сопить и шуршитъ своимъ накрахмаленнымъ колпакомъ.

— Дурракъ... — бормочетъ онъ: — мм...молокосось! Мало тебя пороли, стрекулиста...

— Кого это вы, дѣдушка?

— Извѣстно, кого... Поблажку вамъ даютъ, балуютъ... (Дѣдушка сопить, втягиваетъ въ себя воздухъ и раздражается старческимъ кашлемъ). Прогнать бы тебя сквозь строй разика три, такъ ты понялъ бы... Почему не купилъ персидскаго порошка? Почему, я тебя спрашиваю? Лѣность? Нерадѣние?

— Дѣдушка, вы не даете мнѣ спать! Замолчите!

— Не разсуждай! Понимай, съ кѣмъ разговариваешь! (Дѣдушка громко чешется и возвышаетъ голосъ). Ты какъ смѣешь, милостивый государь, за чужими женами бѣгать? А? Вчера полковникъ Дубоносовъ жаловался, э-э-э... недѣлю тому назадъ Прышкинъ... Ты у нихъ женъ поотбивалъ! Кто это тебѣ позволилъ? И какое ты имѣешь полное право?

Дѣдушка долго бранить меня и съ брани переходитъ на мораль: седьмая заповѣдь, брачныя основы и проч.

— Все это я понимаю лучше васъ, дѣдушка, — говорю я. — Каюсь, мучимъ совѣстью, но ничего съ собой не подѣлаю. Весь въ васъ! Съ кровью и плотью унаслѣдовалъ отъ васъ и всѣ ваши добродѣтели... Ничего не подѣлаешь!

— Я... я чужихъ женъ не трогалъ... Выдумываешь!

— Будто бы? А лѣтъ десять тому назадъ, когда вамъ было шестьдесятъ лѣтъ, припомните-ка, вы украли у ближняго — не жену, не соломенную вдову, а невѣсту! Припомните-ка Ниночку!

— Я того... вѣнчался...

— Еще бы! Ниночку воспитали, лелѣяли и готовили не для шестидесятилѣтняго старца. На этой умницѣ и красавицѣ женился бы любой добрый молодець, и у ней уже былъ подходящий женихъ, а вы пришли со своимъ чиномъ и деньгами, поугали родителей и забрали себѣ семнадцатилѣтнюю дѣвочку... Какъ она плакала, когда вѣнчалась съ вами! И съ пьяницей поручикомъ бѣжала затѣмъ только, чтобъ отъ васъ подалше... Гусь вы, дѣдушка!

— Постой... постой... Это не твое дѣло... Вотъ ежели бы тебя разиковъ пять сквозь строй прогнать, такъ ты бы не того... не ограбилъ бы сестру свою Дашу... Обидчикъ... За что ты у нея сто десятиныхъ оттягалъ?

— Съ васъ примѣръ взять. Весь въ васъ, дѣдушка! У васъ научился грабастать! Помните, какъ вы были въ Уфимской губерніи и...

Дѣдушка чмокаетъ губами и вздыхаетъ:

— Прекрасныя тамъ мѣста есть! Ох-ох-охъ! Блохи однако... Ты вотъ и того... того... въ газетахъ пишешь... Нешто это прилично дворянину?

— Вы любите сражаться съ непріателемъ, почему же и мнѣ не посражаться? Весь въ васъ!

И долго этакъ мы споримъ. Дѣдушка обвиняетъ меня въ двадцати преступленіяхъ, и всѣ двадцать я сваливаю на «родовое». Наконецъ дѣдушка хрипнетъ и начинаетъ отъ злости царапать стѣну.

— Вотъ что, дѣдушка, — говорю я. — Намъ долго такъ не уснуть. Давайте-ка выкупаемся и водочки выпьемъ. Отлично уснемъ!

Дѣдушка, сердито шамкая губами и сплевывая, одѣвается, и мы идемъ къ рѣчкѣ. Ночь хорошая, лунная. Выкупавшись, мы возвращаемся во-своихъ. Графинчикъ

стоитъ на столѣ. Я наливаю двѣ рюмки. Дѣдушка беретъ одну рюмку, крестится и говоритъ:

— Вотъ ежели бы тебя... разиковъ десять сквозь строй... понималъ бы тогда! Пья... пьяница!—Проворчавъ, дѣдушка сердито выпиваетъ и закусываетъ колбасой. Я тоже выпиваю и иду спать. И этакъ у насъ каждую ночь.

1883.

ВЪ ГОСТИНОЙ.

Становилось темнѣй и темнѣй... Свѣтъ, исходившій отъ камина, слегка освѣщаль полъ и одну стѣну съ портретомъ какого-то генерала съ двумя звѣздами. Тишина нарушалась трескомъ горѣвшихъ полѣньевъ, да изрѣдка сквозь двойныя оконныя рамы пробивался въ гостиную шумъ шаговъ и ѣзды по свѣжему снѣгу.

Передъ каминомъ на голубой, покрытой кружевной кисеи, кушеткѣ сидѣла парочка влюбленныхъ. Онъ—высокій, статный мужчина съ роскошными, выхоленими бакенами и правильнымъ греческимъ носомъ—сидѣлъ, развалясь, положа ногу на ногу, и лѣниво потягивалъ ароматный дымокъ изъ дорогой гаванской сигары. Она—маленькое, хорошенькое созданье съ лянными кудрями и быстрыми, лукавыми глазками—сидѣла рядомъ съ нимъ и, прижавшись головкой къ его плечу, мечтательно глядѣла на огонь. На лицахъ обоихъ была разлита мягкая нѣга... Движенія были полны сладкой истомы...

— Я люблю васъ, Василій Лукичъ!— шептала она.— Ужасно люблю! Вы такъ красивы! Недаромъ баронесса глядитъ на васъ, когда бываетъ у Павла Иваныча. Вы очень правитесь женщинамъ, Василій Лукичъ!

— Гм... Мало ли чего! А какъ па васъ, Настя, профессоръ смотритъ, когда вы Павлу Петровичу приготовляете чай! Онъ въ васъ влюбленъ—это какъ дважды два...

— Оставьте ваши насмѣшки!

— Ну, какъ не любить такое милое существо? Вы прекрасны! Нѣтъ, вы не прекрасны, а вы граціозны! Ну, какъ тутъ не любить?

Василій Лукичъ привлекъ къ себѣ хорошенькое созданье и началъ осыпать его поцѣлуями. Въ каминѣ раздался трескъ: загорѣлось новое полѣно. Съ улицы донеслась пѣсня...

— Лучше васъ во всемъ свѣтѣ нѣтъ! Я васъ люблю, какъ тигръ, или левъ...

Василій Лукичъ сжалъ въ своихъ объятіяхъ молодую красавицу... Но въ это время изъ передней послышался кашель, и черезъ нѣсколько секундъ въ гостиную вошелъ маленькій старичокъ въ золотыхъ очкахъ. Василій Лукичъ вскочилъ и быстро, въ замѣшательствѣ, сунулъ въ карманъ сигару. Молодая дѣвушка вскочила, нагнулась къ камину и стала копаться въ немъ щипцами... Увидѣвъ смущенную парочку, старикъ сердито кашлянулъ и нахмурился.

— Не обманутый ли это мужъ? — спросить, быть-можетъ, читатель.

Старикъ прошелся по гостиной и снялъ перчатки.

— Какъ здѣсь накурено! — проговорилъ онъ. — Опять ты, Василій, курилъ мои сигары?

— Никакъ нѣтъ-съ, Павелъ Ивановичъ! Это... это не я-съ...

— Я тебѣ дамъ расчетъ, если еще разъ замѣчу... Ступай, приготовь мнѣ фракную пару и почисти штиблеты... А ты, Настя, — обратился старикъ къ дѣвушкѣ: — зажги свѣчи и поставь самоваръ...

— Слушаю-съ! — сказала Настя.

И вмѣстѣ съ Василемъ вышла изъ гостиной.

1883.

СУЩАЯ ПРАВДА.

Шесть коллежскихъ регистраторовъ и одинъ неизмѣнчивъ чина сидѣли въ пригородной рощѣ и пьянствовали.

Пьянство было шумное, но печальное и грустное. Не видно было ни улыбокъ ни радостныхъ тѣлодвиженій; не слышно было ни смѣха ни веселаго говора... Пахло чѣмъ-то похороннымъ...

Не далѣе, какъ недѣлю тому назадъ, коллежскій регистраторъ Канифолевъ, явившись въ присутствіе въ пьяномъ видѣ, поскользнулся на чѣмъ-то плевкѣ, упалъ на стеклянный шкапъ, разбилъ его и самъ разбился. На другой же день послѣ этого грѣхопаденія онъ потерялъ двѣ бумаги изъ дѣла № 2.423. Мало этого... Онъ приходилъ въ присутствіе, имѣя въ карманѣ порохъ и пистолеты. Вообще же онъ ведетъ жизнь нетрезвую и буйную. Все было принято во вниманіе. Онъ слетѣлъ и теперь кушалъ прощальный обѣдъ.

— Вѣчная тебѣ память, Алеша! — говорили чиновники передъ каждой рюмкой, обращаясь къ Канифолеву. — Аминь тебѣ!

Канифолевъ, маленькій человѣчекъ съ длиннымъ, заплаканнымъ лицомъ, послѣ cadaго подобнаго привѣтствія всхлипывалъ, стучалъ кулакомъ по столу и говорилъ:

— Все одно погибать!

И изгнанникъ съ ожесточеніемъ выпивалъ свою рюмку, громко всхлипывалъ и лѣзъ лобызать своихъ пріятелей.

— Меня прогнали! — говорилъ онъ, трагически мотая головой. — Прогнали за то, что я выпивохомъ! А не понимаютъ того, что я пилъ съ горя, съ досады!

— Съ какого горя?

— А съ тако́го, что я не могъ ихней неправды видѣть! Меня ихъ неправда подлая за сердце ѣла! Видѣть я не могъ равнодушно всѣхъ ихъ пакостей! Этого они не хотѣли понять... Ладно же! Я имъ покажу, гдѣ раки зимуютъ! Покажу я имъ! Пойду и прямо въ глаза наплюю! Всю сущую правду имъ скажу! Всю правду!

— Не выскажешь... Одно хвастовство только... Всѣ мы мастера въ пьяномъ видѣ глотку драть, а чуть что, такъ и хвостъ поджалъ... И ты такой...

— Ты думаешь, не выскажу? Ты думаешь? Аааа... ты такъ думаешь... Ладно... Хорошо, посмотримъ... Будь я трижды анаѣема... лопни... Подлецомъ меня въ глаза обзови, плюнь тогда, ежели не выскажу!

Канифолевъ стукнулъ кулакомъ по столу и побагровѣлъ:

— Все одно погибать! Сейчасъ же пойду и выскажу! Сію минуту! Онъ тутъ недалеко съ женой сидитъ! Пропадать, такъ пропадать, шутъ возьми, а я имъ открою глаза! Все на чистую воду выведу! Узнаютъ, что значить Алеша Канифолевъ!

Канифолевъ рванулся съ мѣста и, покачиваясь, побѣжалъ... Когда пріятели протянули за нимъ руки, чтобы удержать его за фалды, онъ былъ уже далеко. А когда они надумали побѣжать за нимъ и удержать его, онъ стоялъ уже передъ столомъ, за которымъ сидѣло начальство, и говорилъ:

— Я, ваше-ство, ворвался къ вамъ въ домъ безъ доклада, по все это я, какъ честный человѣкъ, а потому извините... Я, ваше-ство, выпивши, это вѣрно, — говорилъ онъ: — но я въ памяти-съ! Что у трезваго на душѣ, то у пьянаго на языкѣ, и я вамъ всю сущую правду выскажу! Да-съ, ваше-ство! Довольно терпѣть! Почему, напримѣръ, у насъ въ канцеляріи полы давно не крашены? Зачѣмъ вы позволяете бухгалтеру спать до одиннадцати часовъ? Отчего вы Митяеву позволяете брать на домъ газеты изъ присутствія, а другимъ не позволяете? Все одно мнѣ погибать, и я вамъ всю сущую...

И эту сущую правду говорилъ Канифолевъ съ дрожью въ голосѣ, со слезами на глазахъ, стуча кулакомъ по груди.

Начальство смотрѣло на него, выпуча глаза, и не понимало, въ чемъ дѣло.

КОЗЕЛЪ ИЛИ НЕГОДЯЙ.

Знойное «послѣ обѣда». На кушеткѣ въ гостиной полулежитъ барышня лѣтъ восемнадцати. По ея лицу гуляютъ мухи, у ногъ валяется открытая книга, ротъ полуоткрытъ, дыханіе чуть-чуть... Она спитъ.

Въ гостиную входитъ старичокъ изъ породы гоголевскихъ мышинныхъ жеребчиковъ. Увидѣвъ спящую дѣвушку, онъ ухмыляется и подходитъ къ ней на цыпочкахъ.

— Какая... прелесть! — шепчетъ онъ, шамкая губами. — Спящая... хе-хе... красавица... Какъ жаль, что я не художникъ! Эта головка... эта ручка!

Старецъ наклоняется къ ручкѣ дѣвушки, гладитъ ее своей заскоруждой рукой и... чмокъ! Дѣвушка глубоко вздыхаетъ, открываетъ глаза и съ недоумѣніемъ смотритъ на старца.

— Ахъ... это вы, князь? — бормочетъ она, пересиливая сонъ. — Pardon, я, кажется, уснула!

— Ну да, вы спите, — лепечетъ князь. — Вы и теперь спите, а я вамъ снюсь... Вы это во снѣ меня видите... Спите, спите... Я только снюсь вамъ...

Дѣвушка вѣритъ и закрываетъ глаза.

— Какъ я несчастна! — шепчетъ она, засыпая. — Вѣчно мнѣ снятся то козлы, то негодяи!

Князь слышитъ этотъ шопоть, конфузится и на цыпочкахъ стушевывается...

ДОБРОДѢТЕЛЬНЫЙ КАБАТЧИКЪ.

(Плачь оскудѣвшаго).

— „Подай, голубчикъ, холодненькой закусочки... Ну и... водочки...“
(Надгробная эпитафія).

...Сижу теперь, тоскую и мудрствую.

Во время оно въ родовой усадьбѣ моей были куры, гуси, индѣйки — птица глупая, неразумительная, но весьма и весьма вкусная. На моемъ конскомъ заводѣ плодились и размножались «ахъ, вы, кони, мои кони»... мельницы не стояли безъ дѣла, копи уголь давали, бабы малину собирали. На десятинахъ преизбыточествовали флора и фауна: хочешь—ѣшь, хочешь—зоологіей и ботаникой занимайся... Можно было и въ первомъ ряду посидѣть, и въ картишки поиграть, и содержаночкой похвастать...

Теперь не то, совсѣмъ не то!

Годъ тому назадъ, на Ильинъ день, сидѣлъ я у себя на террасѣ и тосковалъ. Передо мной стоялъ чайникъ, засыпанный рублевымъ чаемъ... На душѣ кошки скребли; ревѣть хотѣлось...

Я тосковалъ и не замѣтилъ, какъ подошелъ ко мнѣ Ефимъ Цуциковъ, кабатчикъ, мой бывший крѣпостной. Онъ подошелъ и почтительно остановился возлѣ стола.

— Вы бы приказали, баринъ, крышу выкрасить! — сказалъ онъ, ставя на столъ бутылку водки. — Крыша желѣзная, безъ краски ржавѣетъ. А ржа, извѣстно, ѣстъ... Дыры будутъ!

— За какія же деньги я выкрашу, Ефимушка? — говорю я. — Самъ знаешь...

— Займите-сь! Дыры будутъ, ежели... Да приказали

бы еще, баринъ, сторожа въ садъ принацанять... Деревья воруютъ!

— Ахъ, опять-таки пужны деньги!

— Я дамъ... Все одно, отдадите. Не въ первый разъ берете-то...

Отвалилъ мнѣ Цуцыковъ пятьсотъ цѣлковыхъ, взялъ вексель и ушелъ. По уходѣ его я подперъ голову кулаками и задумался о народѣ и его свойствахъ... Хотѣлъ даже въ «Русь» статью писать...

— Благодаръствууетъ мнѣ, великодушничаетъ... за что? За то, что я его... съкъ когда-то... Какое отсутствіе злопамятности! Учитесь, иностранцы!

Черезъ недѣлю загорѣлся у меня во дворѣ сарайчикъ. Первымъ прибѣжалъ на пожаръ Цуцыковъ. Онъ собственноручно разнесъ сарайчикъ и притащилъ свои брезенты, чтобы въ случаѣ чего укрыть ими мой домъ. Онъ дрожалъ, былъ красенъ, мокръ, точно свое добро отсталивалъ.

— Теперь новый строить нужно, — сказалъ онъ мнѣ послѣ пожара. — У меня лѣсокъ есть, пришлю... Приказали бы, баринъ, прудикъ почистить... Вчера карасей ловили и весь неводъ о водоросль разорвали... Триста рублей стоить... Возьмите! Не впервой берете-то...

И такъ далѣе... Почистили прудъ, выкрасили всѣ крыши, ремонтировали конюшни — и все это на деньги Цуцыкова.

Недѣлю тому назадъ приходитъ ко мнѣ Цуцыковъ, становится у дверей и почтительно кашляетъ въ кулакъ.

— И не узнаешь теперь вашей усадьбы-то, — говоритъ онъ. — Графу аль князю въ пору жить... И пруды вычистили, и озимь посѣяли, лошадушекъ завели...

— А все ты, Ефимушка! — говорю я, чуть не плача отъ умиленія.

Встаю и самымъ искреннѣйшимъ образомъ обнимаю мужика...

— Богъ дастъ, дѣла поправятся, все отдамъ, Ефимушка... Съ процентами. Дай мнѣ еще разъ обнять тебя!

— Все починили и благоустроили... Помогъ Богъ! Осталось теперь одно только: лисицу отседа выкурить...

— Какую лисицу, Ефимушка?

— Извѣстно, какую...

И, помолчавъ немного, Цуцыковъ добавляетъ:

— Судебный приставъ тамъ пріѣхалъ... Вы бутылки

приберите-то... Неравно приставъ увидить... Подумаетъ, что у меня въ имѣніи только и дѣла, что пьянство... Фатѣру прикажете вамъ въ деревнѣ нанять, а въ городъ поѣдете?

Сижу теперь и мудрствую.

1883.

ПРОТЕКЦІЯ.

По Невскому шелъ маленькій, сморщенный старичокъ съ орденомъ на шеѣ. За нимъ въ припрыжку слѣдовалъ маленькій молодой человекъ съ кокардой и лиловымъ носикомъ. Старичокъ былъ нахмуренъ и сосредоточенъ, молодой человекъ озабоченно мигалъ глазками и, казалось, собирался плакать. Оба шли къ Евлампію Степановичу.

— Я не виноватъ, дяденька!—говорилъ молодой человекъ, едва поспѣвая за старичкомъ. — Меня понапрасну уволили. Дрянковскій больше меня пьетъ, однакоже его не уволили! Онъ каждый день являлся въ присутствіе пьянымъ, а я не каждый день. Это такая несправедливость отъ его превосходительства, дяденька, что и выразить вамъ не могу!

— Молчи... Свинья!

— Гм... Ну, пушай я буду свинья, хотъ у меня и самолюбіе есть. Меня не за пьянство уволили, а за портретъ. Подносили ему наши альбомъ съ карточками. Все снимались, и я снимался, но моя карточка не сгодилась, дяденька. Глаза выпученные вышли, и руки растопырены. Носа у меня никогда такого длиннаго не было, какъ на карточкѣ вышло. Я и постыдился свою карточку въ альбомъ вставлять. Вѣдь у его превосходительства дамы бывають, портреты разсматривають, а я не желаю себя передъ дамами компрометировать. Моя наружность некрасивая, но привлекательная, а на карточкѣ какой-то шутъ вышелъ. Евлампій Степанычъ и обидѣлись, что моею карточкой нѣтъ. Подумали, что я изъ гордости или вольномыслія... А какое у меня вольномысліе? Я и въ церковь хожу, и постное ѣмъ, и носа не задираю, какъ Дрян-

ковскій. Заступитесь, дяденька! Вѣкъ буду Бога молить! Лучше въ гробу лежать, чѣмъ безъ мѣста шляться.

Старичокъ и его спутникъ повернули за уголъ, прошли еще три переулка и наконецъ дернули за звонокъ у двери Евлампія Степановича.

— Ты здѣсь посиди, — сказалъ старичокъ, войдя съ молодымъ человѣкомъ въ приемную: — а я къ нему пойду. Изъ-за тебя безпокойства одни только. Болванъ... Стань и стой тутъ... Дрянъ...

Старичокъ высморкался, поправилъ на шеѣ орденъ и пошелъ въ кабинетъ. Молодой человѣкъ остался въ приемной. Сердце его застучало.

«О чемъ они тамъ говорятъ?» — подумалъ онъ, холодѣя и переминаясь отъ тоски съ ноги на ногу, когда изъ кабинета донеслось къ нему бормотанье двухъ старческихъ голосовъ. — «Слушаетъ ли онъ дяденьку?»

Не вынося неизвѣстности, онъ подошелъ къ двери и приложилъ къ ней свое большое ухо.

— Не могу-съ! — услышалъ онъ голосъ Евлампія Степановича. — Вѣрьте Богу, не могу-съ! Я васъ уважаю, другъ я вамъ, Прохоръ Михайлычъ, на все для васъ готовъ, но... не могу-съ! И не просите!

— Я согласенъ съ вами, ваше превосходительство, это испорченный мальчишка. Не стану этого отрицать и скажу даже вамъ, какъ другу и благодѣтелю, что мало того, что онъ пьяница. Это бы еще ничего-съ. Онъ негодяй! И уворууетъ, ежели что плохо лежитъ, и подчиститъ мастеръ, и наядбедничать готовъ... Такой паршивецъ, что и выразить вамъ не могу! Вы ему сегодня одолженіе дѣлаете, а завтра онъ доносъ на васъ пишетъ. Сволочь человѣкъ... Мнѣ его нисколько не жалко. Коли бы моя воля, я бы его давно къ чертямъ на кулички... Но мнѣ, ваше-ство, мать его жалко! Для матери только и прошу. Обокралъ подлецъ мать, пропилъ все...

Молодой человѣкъ отошелъ отъ двери и прошелся по приемной. Черезъ пять минутъ онъ опять подошелъ къ двери и приложилъ ухо.

— Для старушечки сдѣлайте, ваше-ство, — говорилъ дядя. — Она съ тоски умираетъ. что ея подлецъ безъ дѣла ходитъ.

— Ну, ладно, такъ и быть. Только съ условіемъ: чуть что малѣйшее, сейчасъ же вонъ!

— Сейчасъ и выгоняйте, ежели что, подлеца этакого.

Молодой человекъ отошелъ отъ двери и зашагалъ по приемной.

— Молодецъ дядька! — прошепталъ онъ, въ восторгѣ потирая руки. — Трогательно расписываетъ! Необразованный человекъ, а какъ все это умно у него выходитъ...

Изъ кабинета показался дядя.

— Тебя приняли, — сказалъ онъ угрюмо. — Дрянь... Пойдемъ.

— Благодарю васъ, дяденька! — вздохнулъ молодой человекъ, мигая глазами, полными благодарностями, и цѣлуя руку. — Безъ вашей протекціи я давно бы пропалъ...

Оба вышли на улицу и зашагали къ себѣ домой. Старичокъ былъ нахмуренъ и сосредоточенъ, молодой человекъ сіялъ и былъ веселъ.

1883.

ОСЕНЬЮ.

Время было близко къ ночи.

Въ кабацкѣ дяди Тихона сидѣла компанія извозчиковъ и богомольцевъ. Ихъ загнали въ кабакъ осенній ливень и неистовый мокрый вѣтеръ, хлеставшій по лицамъ, какъ плетью. Промокшіе и уставшіе путники сидѣли у стѣнъ на скамьяхъ и, прислушиваясь къ вѣтру, дремали. На лицахъ была написана скука. У одного извозчика, малаго съ рябымъ, исцарапаннымъ лицомъ, лежала на колѣняхъ мокрая гармонійка: игралъ и машинально пересталъ.

Надъ дверью, вокругъ тусклаго, засаленнаго фонарика, летали дождевыя брызги. Вѣтеръ вылъ волкомъ, визжалъ въ трубѣ поросенкомъ и, видимо, старался сорвать съ петель кабацкую дверь. Со двора слышалось фырканье лошадей и шлепанье по грязи. Было сыро и холодно.

За прилавкомъ сидѣлъ самъ дядя Тихонъ, высокій, мордастый мужикъ съ сонными, заплывшими глазками. Передъ нимъ, по сю сторону прилавка, стоялъ человекъ лѣтъ сорока, одѣтый грязно, больше чѣмъ дешево, но интеллигентно. На немъ были помятое, вымоченное въ грязи лѣтнее пальто, сарпунковыя брюки и резиновыя калоши на босую ногу. Голова, руки, заложеныя въ карманы,

и худые, колючіе локти его тряслись, какъ въ лихорадкѣ. Изрѣдка по всему исхудалому тѣлу, начиная съ страшно испитого лица и кончая резиновыми калошами, пробѣгала легкая судорога.

— Дай, Христа ради! — просилъ онъ Тихона разбитымъ, дребезжащимъ теноромъ. — Рюмочку... вотъ эту маленькую. Въ долгъ вѣдь!

— Ладно... Много васъ шляется тутъ прохвостовъ!

Прохвостъ глядѣлъ на Тихона съ презрѣніемъ, съ ненавистью. Онъ убилъ бы его, если бъ можно было!

— Пойми ты, дура ты этакая, невѣжа! Не я прошу, ну, выражаясь по-твоему, по-мужицкому, просить! Болѣзнь моя просить! Пойми!

— Нечего намъ понимать... Отходи...

— Вѣдь если я не выпью сейчасъ, пойми ты это, если я не удовлетворю своей страсти, то я могу преступление совершить! Я Богъ знаетъ что могу сдѣлать! Видаль ты, хамъ, на своемъ кабацкомъ вѣку много пьянаго люда; неужели же до сихъ поръ ты не сумѣлъ уяснить себѣ, что это за люди? Это больные! На цѣпь ихъ посади, бей, рѣжь, а водки дай! Ну, покорнѣйше прошу! Сдѣлай милость! Унижаюсь! Боже мой, какъ я унижаюсь!

Прохвостъ покачалъ головой и медленно сплюнулъ.

— Деньги давай, тогда и водка будетъ! — сказалъ Тихонъ.

— Гдѣ же мнѣ взять денегъ? Все пропито! Все до тла! Пальто вотъ одно только осталось. Его дать тебѣ не могу, потому что оно на голомъ тѣлѣ... Хочешь шапку?

Прохвостъ подалъ Тихону свою драповую шапочку, изъ которой кое-гдѣ выглядывала вата. Тихонъ взялъ шапку, оглядѣлъ ее и отрицательно покачалъ головой.

— И даромъ не надо... — сказалъ онъ. — Навозъ...

— Не нравится? Ну, такъ въ долгъ дай, ежели не нравится. Буду итти изъ города обратно, занесу тебѣ твой пятакъ. Подавись ты тогда этимъ пятакомъ! Подавись! Боже мой, отчего я тогда не зналъ, что это за люди? Отчего я ихъ не понималъ, когда былъ силенъ? Я бы ихъ замучилъ.

— Какой-токой ты жуликъ? Что за человекъ? Зачѣмъ пришелъ?

— Выпить хочу. Не я хочу, болѣзнь моя хочетъ! Пойми!

— Чего безпокоишь? Много васъ шельмованныхъ по

большой дорогѣ шатается! Ступай, вонъ, проси православныхъ, пушай угощаютъ тебя Христа ради, коли желаютъ, а я Христа ради только хлѣбъ подаю. Сволочь!

— Дери ты съ нихъ, бѣдняковъ, а я ужъ... извини! Не мнѣ ихъ обирать! Не мнѣ!

Прохвостъ вдругъ оборвалъ свою рѣчь, покраснѣлъ и обратился къ богомольцамъ:

— А вѣдь это идея, православные! Пожертвуйте пятачишко! Нутро просить! Болежь!

— Водицы выпей, — усмѣхнулся малый съ рябымъ лицомъ.

Прохвосту стало совѣстно. Онъ закашлялся и умолкъ. Черезъ минуту онъ опять умолялъ Тихона. Въ концѣ концовъ онъ заплакалъ и сталъ предлагать за рюмку водки свое мокрое пальто. Въ темнотѣ не увидѣли его слезъ, а пальто не приняли, потому что въ кабакъ были богомолки, которыя не пожелали видѣть мужскую наготу.

— Чтò же мнѣ теперь дѣлать? — спросилъ тихо прохвостъ голосомъ, полнымъ отчаянiя. — Чтò же дѣлать? Не выпить мнѣ нельзя. Иначе я преступленiе совершу или на самоубiйство рѣшусь... Чтò же дѣлать?

Онъ прошелся по кабаку. Подъѣхалъ со звонками почтовый тарантасъ. Мокрый почтальонъ вошелъ въ кабакъ, выпилъ стаканъ водки и вышелъ. Почта поѣхала дальше.

— Я тебѣ дамъ одну золотую вещь, — обратился прохвостъ къ Тихону, ставши вдругъ блѣднымъ, какъ полотно. — Изволь, я тебѣ дамъ. Такъ и быть... Хоть это подло, мерзко съ моей стороны, но возьми... Я дѣлаю эту гадость, будучи невмѣняемъ... И на судѣ бы меня оправдали... Возьми, но только съ условiемъ: возвратить мнѣ потомъ, когда обратно пойду. Даю тебѣ при свидѣтеляхъ...

Прохвостъ полѣзъ мокрой рукой себѣ за пазуху и досталъ оттуда маленькiй золотой медальонъ. Онъ раскрылъ его и мелькомъ взглянулъ на портретъ.

— Надо бы портретъ вынуть, да некуда мнѣ его положить: я весь мокрый. Чортъ съ тобой, грабъ съ портретомъ. Только съ условiемъ... Голубчикъ мой, дорогой... Я прошу... Ты пальцами не трогай за это лицо... Умоляю, голубчикъ! Ты извини меня за грубости, за то, что я съ тобой грубо говорилъ... Я глупъ... Не трогай пальцами и не гляди своими глазами на это лицо...

Тихонъ взялъ медальонъ, поглядѣлъ на пробу и положилъ его къ себѣ въ карманъ.

— Краденые часики, — сказала онъ, наливая стаканъ... — Ну, ладно... Пей...

Пьяница взялъ въ руки стаканъ, сверкнулъ на него глазами, насколько хватило силы сверкнуть у его пьяныхъ, мутныхъ глазъ, и выдиль... выпилъ съ чувствомъ, съ судорожной разстановкой. Пропивъ медальонъ съ портретомъ, онъ стыдливо опустилъ глаза и пошелъ въ уголь. Тамъ онъ примостился на скамьѣ возлѣ богомолки, съежился и закрылъ глаза.

Прошло полчаса въ тишинѣ и безмолвіи. Шумѣлъ только вѣтеръ, напѣвая въ трубѣ свою осеннюю реллиодію. Богомолки стали молиться Богу и безшумно располагаться подъ скамьями на ночлегъ. Тихонъ раскрылъ медальонъ и заглядѣлся на женскую головку, улыбающуюся изъ золотой рамочки кабаку, Тихону, бутылкамъ...

На дворѣ скрипнула телѣга. Послышалось «тпррр» и шлепанье по грязи. Въ кабакъ вбѣжалъ маленькій мужичонокъ въ длинномъ тулупѣ и съ острой бородой. Онъ былъ мокръ и грязень.

— Ну-ка-ся! — крикнулъ онъ, стуча пятакомъ о прилавокъ. — Стаканъ мадеры настоящей! Наливай!

И, ухарски повернувшись на одной ногѣ, онъ окинулъ взглядомъ всю компанію.

— Растаяли сахарные, тетка ваша поджурятина! Дождя испужались, ахиды! Нѣжные! А это что за изюмина?

Мужичонокъ прыгнулъ къ прохвосту и поглядѣлъ ему въ лицо.

— Вотъ туды! Баринъ! — сказалъ онъ. — Семенъ Сергѣичъ! Господа наши! А! Съ какой-такой стати вы въ этомъ кабакѣ прохладаетесь? Нешто вамъ здѣсь мѣсто? Эхъ... мученикъ несчастный!

Баринъ взглянулъ на мужичонка и закрылся рукавомъ. Мужичонокъ вздохнулъ, покачалъ головой, отчаянно махнулъ обѣими руками и пошелъ къ прилавку пить водку.

— Это нашъ баринъ, — шепнулъ онъ Тихону, кивнувъ на прохвоста. — Нашъ помѣщикъ, Семенъ Сергѣичъ. Видалъ, каковъ? На какого человѣка похожъ теперь? А? То-то вотъ... пьянство до какой степени...

Выпивъ водку, мужичонокъ вытеръ рукавомъ губы и продолжалъ:

— Я изъ его деревни. За четыреста верстъ отседа, изъ Ахтиловки... Крѣпостными у его отца были... Этакая жалость, братъ! Этакая жалость! Славный такой

господинъ былъ... Вонъ она, лошадка-то на дворѣ! Видишь? Это онъ мнѣ на лошадь далъ! Ха-ха! Судьба!

Черезъ десять минутъ вокругъ мужичонка сидѣли извозчики и богомольцы. Тихимъ, нервнымъ теноркомъ, подъ шумокъ осени, рассказывалъ онъ имъ повѣсть. Семень Сергѣичъ сидѣлъ въ томъ же углу, закрывъ глаза и бормоча. Онъ тоже слушалъ.

— Все это изъ одного малодушества вышло,—рассказывалъ мужичонокъ, двигаясь и жестикулируя руками.— Съ жиру... Господинъ онъ былъ богатый, большой, на всю, значить, губерню... Ёшь, ней — не хочу! Сами, небось, видали... Сколько разовъ тутъ на коляскѣ мимо этого самаго кабака проѣзжалъ. Богатый былъ... Помню, лѣтъ пять тому назадъ ѣдетъ черезъ Микишкинскій паромъ и замѣсто пятака рупь выкидываетъ... Изъ-за пустячнаго предмета разоренье его началось. Первое дѣло—изъ-за бабы. Полюбилъ онъ, сердешный, одну городскую... Пуще жизни! Полюбилась ворона пуще ясна сокола... Марьей Егоровной, подлая, прозывалась, а фамилія такая чудная, что и не выговоришь. Полюбилъ и посватался стало-быть, какъ это по-божепки требуется. А она, извѣстно, согласіе дала, потому баринъ онъ не изъ пустячныхъ, твердый и при деньгахъ... Прохожу я однажды вечеркомъ, помню это, черезъ ихній садъ; смотрю, а они сидятъ на лавочкѣ и другъ дружку цѣлуютъ. Онъ ее разъ, она, змѣя, его—два. Онъ ее за бѣду ручку, а она—вспыхъ! Такъ и жметя къ ему, чтобъ ей тутъ!.. «Люблю, говоритъ, тебя, Сеня...» А Сеня, какъ-окаянный человекъ, ходитъ вездѣ и счастьемъ похваляется сдуру... Тому рупь, тому два... Мнѣ вотъ на лошадь далъ... Всѣмъ намъ долги простилъ на радостяхъ. Подошло дѣло къ свадьбѣ... Повѣнчались, какъ слѣдуетъ... Въ самый разъ, когда господамъ за ужинъ садиться, она возьми да и убѣги въ каретѣ... Въ городъ къ аблакату бѣжала, къ любовнику. Послѣ вѣнца-то, шкура! А! Въ самый настоящій моментъ! А? Очумѣлъ съ той поры, запилъ... Вотъ, какъ видишь... Ходитъ, какъ шальной, и объ ней, шкурѣ, думаетъ. Любитъ! Должно, идетъ теперь пѣшкомъ въ городъ на нее однимъ глазочкомъ взглянуть... Второе дѣло, братцы, откуда разоренье пошло—зять, сестринъ мужъ... Вздумалъ онъ за зятя въ банковомъ обчествѣ поручиться... тысячь на тридцать... Зять, извѣстно, знаетъ, шельма, свою пользу

и ухомъ своимъ собачьимъ не ведеть, а съ нашего взяли всѣ тридцать тысячъ... Глупый человѣкъ за глупость и мѹки терпять... Жена со своимъ аблакатомъ дѣтей прижила, зять около Полтавы имѣнье купилъ, а нашъ ходитъ, какъ дуракъ, по кабакамъ да къ нашему брату мужику съ жалобой лѣзеть. «Потерялъ я, братцы, вѣру! Не въ кого мнѣ теперь, это самое, вѣрить!» Малодушество! У всякаго человѣка свое горе бываетъ, такъ и пить, значить? Вотъ у насъ, къ примѣру взять, старшина. Жена къ себѣ учителя среди бѣла дня водить, мужнины деньги на хмель изводить, а старшина ходитъ себѣ да усмѣшки на лицѣ дѣлаеть... Поосунулся только малость...

— Кому какую Богъ силу далъ, — вздохнулъ Тихонь.

— Сила разная бываетъ — это правильно.

Долго мужичонокъ рассказывалъ... Когда онъ копчилъ, воцарилась въ кабакѣ тишина.

— Эй, ты... какъ васъ?.. Несчастный человѣкъ! Иди, выпей! — сказалъ Тихонь, обратившись къ барину.

Баринъ подошелъ къ прилавку и съ наслажденіемъ выпилъ милостыню...

— Дай мнѣ на минутку медальонъ, — шеннулъ онъ Тихону. — Посмотрю только и... отдамъ...

Тихонь нахмурился и молча отдалъ ему медальонъ. Малый съ рябымъ лицомъ вздохнулъ, pokrutilъ головой и потребовалъ водки.

— Выпей, баринъ! Эхъ! Безъ водки хорошо, а съ водкой еще лучше! При водкѣ и горе не горе! Валяй!

Выпивъ пять стакановъ, баринъ отправился въ уголь, раскрылъ медальонъ и пьяными, мутными глазами сталъ искать дорогое лицо... Но лица уже не было... Оно было выцарапано изъ медальона ногтями добродѣтельнаго Тихона.

Фонарь вспыхнулъ и потухъ. Въ углу скороговоркой забредила богомолка. Малый съ рябымъ лицомъ вслухъ помолился Богу и растянулся на прилавкѣ. Кто-то еще подвѣхалъ... А дождь лилъ и лилъ... Холодъ становился все сильнѣй и сильнѣй, и, казалось, конца не будетъ этой подлой, темной осени. Баринъ впивался глазами въ медальонъ и все искалъ женское лицо... Тухла свѣча.

Весна, гдѣ ты?

1883.

ДУРА, или КАПИТАНЪ ВЪ ОТСТАВКѢ.

(Сценка изъ несуществующаго водевиля).

Свадебный сезонъ. Отставной капитанъ Соусовъ (сидитъ на клеенчатомъ диванѣ, поджавъ подъ себя одну ногу и держась обѣими руками за другую. Говоритъ и покачивается). Сваха Лукинична (распльывшаяся старуха съ глупымъ, но добродушнымъ лицомъ, помѣщается въ сторонѣ на табуретѣ. На лицѣ выраженіе ужаса, смѣшаннаго съ удивленіемъ. Въ профиль похожа на улитку, en face — на чернаго таракана. Говоритъ съ подобострастіемъ и послѣ каждаго слова икаетъ).

Капитанъ. Впрочемъ, ежели взглянуть на это съ точки зрѣнія, то Иванъ Никитичъ поступилъ весьма существенно. Онъ хорошо сдѣлалъ, что женился. Будь ты хоть профессоръ, хоть геній, а ежели ты не женатъ, то ты и гроша мѣднаго не стоишь. Ни ценза въ тебѣ ни общественнаго мнѣнія... Кто не женатъ, тотъ не можетъ имѣть въ обществѣ настоящій вѣсъ... Возьмемъ хоть меня для примѣра... Я человекъ образованнаго класса, домовладѣлецъ, при деньгахъ... Чинъ тоже вотъ... и орденъ, а что съ меня толку? Кто я, ежели взглянуть на меня съ точки зрѣнія? Бобыль... Синонимъ какой-то, и больше ничего (задумывается). Всѣ женаты, у всѣхъ есть дѣточки, одинъ только я... какъ въ романсѣ этомъ... (поетъ теноромъ печальный романсъ). Такъ вотъ и въ моей жизни... Хотъ бы какую завалящую невѣсту!

Лукинична. Зачѣмъ завалящую? За тебя, батюшка, и не завалящая пойдетъ. При твоёмъ благородствѣ и, можно сказать, при твоихъ качествахъ за тебя любая пойдетъ, и съ деньгами...

Капитанъ. Съ деньгами мнѣ не нужно. Я не позволю себѣ сдѣлать такой подлости, чтобъ на день-

гахъ жениться. Я самъ имѣю деньги и желаю, чтобъ не я женинъ хлѣбъ ѣлъ, а чтобъ она мой. Ежели бѣдную возьмешь, то она будетъ чувствовать, понимать... Во мнѣ нѣтъ настолько эгоизма, чтобъ я изъ-за интереса...

Лукинична. Оно, дѣйствительно, батюшка... Иная бѣдная покрасивѣе богачки будетъ...

Капитанъ. И красоты мнѣ тоже не надо. Къ чему она? Съ лица воды не пить. Красота должна быть не въ естествѣ, а въ душѣ... Мнѣ нужны доброта, кротость, невинность этакая... Я желаю, чтобъ жена меня уважала, почитала...

Лукинична. Гм. Какъ же ей тебя не почитать, ежели ты для нея законный супругъ есть? Образованія въ ней нѣтъ, что ли?

Капитанъ. Постой, не перебивай. И образованной мнѣ тоже не пужно. Безъ образованія нынче нельзя, это конечно, но образованіе разное бываетъ. Приятно, ежели жена по-французски и по-нѣмецки, на разные голоса тамъ, очень приятно; но что изъ этого толку, ежели она не умѣетъ тебѣ пюговки, положимъ, пришить? Я образованнаго класса, принять вездѣ, съ княземъ Канителинымъ, могу сказать, все одно, какъ вотъ съ тобой теперь, но я имѣю простой характеръ. Мнѣ нужна простая дѣвушка. Ума мнѣ не нужно. Умъ въ мужчинѣ имѣетъ вѣсь, а женское существо можетъ и безъ ума обойтись.

Лукинична. Это вѣрно, батюшка. Про умныхъ нынче и въ газетахъ писано, что онѣ не годятся.

Капитанъ. Дура и любить тебя будетъ и почитать и чувствовать, какого я званія человекъ. Страхъ въ ней будетъ. А умная будетъ хлѣбъ твой кушать, но чувствовать она не будетъ, чей это хлѣбъ. Дуру мнѣ нищи... Такъ и знай: дуру. Есть у тебя такая на примѣтъ?

Лукинична. Разныя есть на примѣтъ (задумывается). Какую же тебѣ? Дурь-то много, да все умныя дуры... У кажинной дуры свой умъ... Тебѣ совсѣмъ дуру? (думаетъ). Есть у меня одна дурочка, да не знаю, пондравится ли... Купческаго она званія и тысячъ пять приданаго... Собою не то, чтобы не красива, а такъ—ни то ни се... худенькая, тонюсенькая... Ласковая, деликатная... Доброты страсть сколько! Послѣднее отдастъ, ежели кто попросить... Ну, и кроткая... Мать ее за во-

лосья, а она хоть бы тебѣ инекнула—ни словечка! И страхъ въ ней отъ родителейъ вложенъ, и въ церковь ее водятъ, и въ хозяйствѣ, ежели что... Но это самое (водитъ пальцемъ около лба)... Не осуди ты меня, грѣшницу, за мои осужденія, а истинное мое тебѣ слово, какъ передъ Богомъ: не въ себѣ она! Дура... Молчить, молчить, какъ убитая молчить... Сидитъ, молчить, да вдругъ ни съ того ни съ сего — прыгъ! Словно ты ее кипяткомъ ошпарилъ. Вскочить со стула, какъ угорѣлая, и давай молоть... Мелеть, мелеть... Безъ конца-краю мелеть... И родители у нея дураки тогда выходятъ, и пища не такая, и слова не такія ей говорятъ. И жить, будто, ей не съ кѣмъ, и жизнь-то ея, будто, заѣли... «Понять, говорить, вы мепя не можете...» Дура дѣвка! Сватался за нее купецъ Кашалотовъ—отказала вѣдь! Засмѣялась ему въ лицо, и только... Богатый купецъ, красивый, алигантный, словно молоденькій офицерикъ. А то, бываетъ, возьметъ какую ни на есть дурацкую книжку, пойдетъ въ чуланъ и давай читать...

Капитанъ. Ну, эта дура не подходитъ мнѣ подъ категорию... Другую поищи (встаетъ и глядитъ на часы)... А пока бонжуръ! Мнѣ итти пора... Пойду по своей холостой части...

Лукиннична. Иди, батюшка! Скатертью дорожка! (встаетъ). Въ субботу ввечеру зайду касательно невѣсты (идетъ къ двери)... Ну, а тово... по холостой части тебѣ не требуется?

1883.

ВЪ ЛАНДО.

Дочери дѣйствительнаго статскаго совѣтника Брындина, Кити и Зина, катались по Невскому въ ландо. Съ ними каталась и ихъ кузина Мареуша, маленькая, шестнадцатилѣтняя провинціалка-помѣщица, пріѣхавшая на-дняхъ въ Питеръ погостить у знатной родни и поглядѣть на «достопримѣчательности». Рядомъ съ нею сидѣлъ баронъ Дронкель, свѣже вымытый и слишкомъ замѣтно вычищенный человѣчекъ въ синемъ пальто и синей шляпѣ. Сестры катались и искоса поглядывали на свою кузину. Кузина и смѣшила и компрометировала ихъ. Наивная дѣвочка, отродясь не ѣздившая въ ландо и не слыжавшая столичнаго шума, съ любопытствомъ разсматривала обивку въ экипажѣ, лакейскую шляпу съ галунами, вскрикивала при каждой встрѣчѣ съ вагонами конножелѣзки... А ея вопросы были еще наивнѣе и смѣшнѣе...

— Сколько получаетъ жалованья вашъ Порфирій?— спросила она, между прочимъ, кивнувъ на лакея.

— Кажется, сорокъ въ мѣсяць...

— Не-уже-ли?! Мой братъ Сережа, учитель, получаетъ только тридцать! Неужели у васъ въ Петербургѣ такъ дорого цѣнится трудъ?

— Не задавайте, Мареуша, такихъ вопросовъ, — сказала Зина: — и не глядите по сторонамъ. Это неприлично. А вонъ поглядите, — поглядите искоса, а то неприлично: — какой смѣшной офицеръ! Ха-ха! Точно укусу выпилъ! Вы, баронъ, бываете такимъ, когда ухаживаете за Амфиладовой.

— Вамъ, mesdames, смѣшно и весело, а меня терзаетъ совѣсть, — сказалъ баронъ. — Сегодня у нашихъ служащихъ панихида по Тургеневѣ, а я, по вашей милости, не поѣхалъ. Неловко, знаете ли... Комедія, а все-таки

слѣдовало бы поѣхать, показать свое сочувствіе... идеямъ... Mesdames, скажите мнѣ откровенно, приложавъ руку къ сердцу, нравится вамъ Тургеневъ?

— О, да... понятно! Тургеневъ вѣдь...

— Подите же вотъ... Всѣмъ, кого ни спрошу, нравится, а мнѣ... не понимаю! Или у меня мозга нѣтъ, или же я такой отчаянный скептикъ, но мнѣ кажется преувеличенной, если не смѣшной, вся эта галиматья, поднятая изъ-за Тургенева! Писатель онъ, не стану отрицать, хорошій... Пишетъ гладко, слогъ мѣстами даже боекъ, юморъ есть, но... ничего особеннаго... Пишетъ, какъ и всѣ русскіе писаки... Какъ и Григорьевичъ, какъ и Краевскій... Взялъ я вчера нарочно изъ библіотеки «За-мѣтки охотника», прочелъ отъ доски до доски и не нашелъ рѣшительно ничего особеннаго... Ни самосознанія ни про свободу печати, никакой идеи! А про охоту такъ и вовсе ничего нѣтъ. Написано, впрочемъ, недурно!

— Очень даже недурно! Онъ очень хорошій писатель! А какъ онъ про любовь писалъ! — вздохнула Кити. — Лучше всѣхъ!

— Хорошо писалъ про любовь, но есть и лучше... Жанъ Ришпенъ, напримѣръ. Чтò за прелесть! Вы читали его «Клейкую»? Другое дѣло! Вы читаете и чувствуете, какъ все это на самомъ дѣлѣ бываетъ! А Тургеневъ... чтò онъ написалъ? Идеи все... но какія въ Россіи идеи? Все съ иностранной почвы! Ничего оригинальнаго, ничего самороднаго!

— А природу какъ онъ описывалъ!

— Не люблю я читать описанія природы. Тянетъ, тянетъ... «Солнце зашло... Птицы запѣли... Лѣсъ шелеститъ...» Я всегда пропускаю эти прелести. Тургеневъ хорошій писатель, я не отрицаю, но не признаю за нимъ способности творить чудеса, какъ о немъ кричатъ. Даль будто толчокъ къ самосознанію, какую-то тамъ политическую совѣсть въ русскомъ народѣ ущипнулъ за живое... Не вижу всего этого... Не понимаю...

— А вы читали его «Обломова»? — спросила Зина. — Тамъ онъ противъ крѣпостнаго права!

— Вѣрно... Но вѣдь и я же противъ крѣпостнаго права! Такъ и про меня кричатъ?

— Попросите его, чтобъ онъ замолчалъ! Ради Бога! — шепнула Марѳуша Зинѣ.

Зина удивленно посмотрѣла на наивную, робкую дѣ-

вочку. Глаза провинціалки безпокойно бѣгали по ландо, съ лица на лицо, свѣтились нехорошимъ чувствомъ и, казалось, искали, на кого бы излить свою ненависть и презрѣніе. Губы ея дрожали отъ гнѣва.

— Неприлично, Марѳуша! — шепнула Зина. — У васъ слезы.

— Говорятъ также, что онъ имѣлъ большое вліяніе на развитіе нашего общества, — продолжалъ баронъ. — Откуда это видно? Не вижу этого вліянія, грѣшный человекъ. На меня, по крайней мѣрѣ, онъ не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія.

Ландо остановилось возлѣ подъѣзда Брындиныхъ.

1883.

DIE RUSSISCHE NATUR.

(Къ рисунку).

Одинъ честный, но глупый нѣмецъ, патріотъ и большой любитель всего прекраснаго, раскрылъ однажды какую-то русскую книгу и на стр. 83 прочелъ слѣдующее: «Былъ вечеръ... Солнце заходило и обливало золотистымъ пурпуромъ землю. Легкій зефиръ нѣжно колыхалъ спѣющую рожь. Въ воздухѣ стоялъ вечерній концертъ... Пѣли птицы... Въ синевѣ неба «висѣлъ» неподвижно жаворонокъ и щебеталъ свою звонкую пѣсню. Въ травѣ трещали «кузнечики», тянули свою однообразную пѣсню «скрипачи»... На листьяхъ, сверкавшихъ росой, ползали божьи «коровки»... Съ цвѣтка на цвѣтокъ порхали чудныя «бабочки»... Это поэтическое описаніе произвело сильное впечатлѣніе на любителя всего прекраснаго.. Глубоко вздохнувъ, онъ взялъ въ руки нѣмецко-русскій словарь и занялся переводомъ... Переводъ вышелъ точный, буквальный, какъ все нѣмецкое... Честный патріотъ однако не довольствовался однимъ переводомъ. Онъ еще разъ вдохновился, взялъ въ руки карандашъ и создалъ... Создавъ, онъ выпилъ пива...

ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ НѢМЕЦЪ.

Я зналъ одного признательнаго нѣмца.

Впервые встрѣтилъ я его во Франкфуртѣ-на-Майнѣ. Онъ ходилъ по Dummstrasse и водилъ обезьянку. На лицѣ его были написаны голодь, любовь къ отечеству и покорность судьбѣ. Онъ жалобно пѣлъ, а обезьянка плясала. Я сжалился надъ ними и далъ имъ талеръ.

— О, благодарю васъ! — сказалъ мнѣ нѣмецъ, прижимая къ груди талеръ. — Благодарю! До могилы я не забуду вашего подаянія!

Во второй разъ встрѣтилъ я этого нѣмца во Франкфуртѣ-на-Одерѣ. Онъ ходилъ по Eselstrasse и продавалъ жаренныя сосиски. Завидѣвъ меня, онъ прослезился, поднялъ глаза къ небу и сказалъ:

— О, благодарю васъ, мейнъ герръ! Я никогда не забуду того талера, которымъ вы спасли отъ голода меня и мою покойную обезьяну! Вашъ талеръ тогда далъ намъ комфортъ!

Въ третій разъ встрѣтилъ я его въ Россіи (in diesem Russland). Здѣсь онъ преподавалъ русскимъ дѣтямъ древніе языки, тригонометрію и теорію музыки. Въ свободное отъ уроковъ время онъ искалъ себѣ мѣсто директора желѣзной дороги.

— О, я помню васъ! — сказалъ онъ мнѣ, пожимая мою руку. — Всѣ русскіе люди — нехорошіе люди, но вы исключеніе. Я не люблю русскихъ, но о васъ и вашемъ талерѣ буду помнить до могилы!

Больше мы съ нимъ не встрѣчались.

РАЗЪ ВЪ ГОДЪ.

Маленькій трехконный домикъ княжны имѣеть праздничный видъ. Онъ помолодѣлъ точно. Вокругъ него тщательно подметено, ворота открыты, съ оконъ сняты рѣшетчатая жалюзи. Свѣже-вымытыя оконныя стекла робко заигрываютъ съ весеннимъ солнышкомъ... У парадной двери стоитъ швейцаръ Маркъ, старый и дряхлый, одѣтый въ изъѣденную молью ливрею. Его колючій подбородокъ, надъ бритьемъ котораго провозились дрожашія руки цѣлое утро, свѣже-вычищенные сапоги и гербовыя пуговицы тоже отражаютъ въ себѣ солнце. Маркъ выползъ изъ своей каморки недаромъ. Сегодня день именинъ княжны, и онъ долженъ отворять дверь визитерамъ и выкрикивать ихъ имена. Въ передней пахнетъ не кофейной гущей, какъ обыкновенно, не постнымъ супомъ, а какими-то духами, напоминающими запахъ яичнаго мыла. Въ комнатахъ старательно прибрано. Повѣшены гардины, снята кисея съ картинъ, навощены потертые, занозистые полы. Злая Жюлька, кошка съ котятками и цыплята заперты до вечера въ кухню.

Сама княжна, хозяйка трехконнаго домика, сгорбленная и сморщенная старушка, сидитъ въ большомъ креслѣ и то и дѣло поправляетъ складки бѣлаго кисейнаго платья. Одна только роза, приколотая къ ея тощей груди, говорить, что на этомъ мѣстѣ есть еще молодость!

Княжна ожидаетъ визитеровъ-поздравителей. У нея должны быть баронъ Трамбъ съ сыномъ, князь Хахаладзе, камергеръ Бурластовъ, кузень генераль Битковъ и многіе другіе... человекъ двадцать!

Уже полдень. Княжна поправляетъ платье и розу. Она прислушивается: не звонитъ ли кто? Съ шумомъ проѣзжаетъ экипажъ, останавливается. Проходитъ пять минутъ.

«Не къ намъ!» — думаетъ княжна.

Да, не къ вамъ, княжна! Повторяется исторія прошлыхъ годовъ. Безжалостная исторія! Въ два часа княжна, какъ и въ прошломъ году, идетъ къ себѣ въ спальню, нюхаетъ нашатырный спиртъ и плачетъ.

— Никто не пріѣхалъ! Варвары!

Около княжны суетится старый Маркъ. Онъ не менѣе огорченъ: испортились люди! Прежде валили въ гостиную, какъ мухи, а теперь...

— Никто не пріѣхалъ! — плачетъ княжна. — Ни баронъ, ни князь Халахадзе, ни Жоржъ Бувицкій... Оставили меня! А вѣдь, не будь меня, что бы изъ нихъ вышло? Мнѣ обязаны они своимъ счастьемъ, своей карьерой — только мнѣ! Безъ меня изъ нихъ ничего бы не вышло.

— Не вышло бы-съ! — поддакиваетъ Маркъ.

— Я не прошу благодарности... Не нужна она мнѣ! Мнѣ нужно чувство! Боже мой, какъ обидно! Ахъ, какъ обидно! Даже племянникъ Жанъ не пріѣхалъ. Отчего онъ не пріѣхалъ? Что я ему худого сдѣлала? Я заплатила по всѣмъ его векселямъ, выдала замужъ его сестру Таню за хорошаго человѣка. Дорого мнѣ стоитъ этотъ Жанъ! Я сдержала слово, данное моему брату, его отцу... Я истратила на него... самъ знаешь...

— И родителямъ ихъ вы, можно сказать, ваше сіятельство, замѣсто родителей были.

— И вотъ... вотъ она благодарность! О, люди!

Въ три часа, какъ и въ прошломъ году, съ княжной дѣлается истерическій припадокъ. Встревоженный Маркъ надѣваетъ свою шляпку съ галунами, долго торгуется съ извозчикомъ и ѣдетъ къ племяннику Жану. Къ счастью, меблированныя комнаты, въ которыхъ обитаетъ князь Жанъ, не слишкомъ далеко. Маркъ застаётъ князя валяющимся на кровати. Жанъ только воротился со вчерашней попойки. Его помятое, мордастое лицо багрово, на лбу потъ. Онъ радъ бы уснуть, да нельзя: мутить. Его скучающіе глаза устремлены на рукомойникъ, наполненный до-верху соромъ и мыльной водой.

Маркъ входитъ въ грязный номеръ и, брезгливо пожмаясь, робко подходитъ къ кровати.

— Не хорошо-съ, Иванъ Михалычъ! — говоритъ онъ, укоризненно покачивая головой. — Не хорошо-съ!

— Что не хорошо?

— Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку съ андиломъ проздравить? Нешто это хорошо?

— Убирайся къ чорту! — говоритъ Жанъ, не отрывая глазъ отъ мыльной воды.

— Нешто это тетушкѣ не обидно? А? Эхъ, Иванъ Михалычъ, ваше сіятельство! Чувствъ у васъ никакихъ нѣту!

— Я не дѣлаю визитовъ... Такъ и скажи ей... Этого обычай давно уже устарѣлъ... Некогда намъ развѣзжать. Развѣзжайте сами, коли дѣлать вамъ нечего, а меня оставьте... Ну, проваливай! Спать хочу...

— Спать хочу... Лицо-то, небось, воротите! Стыдно въ глаза глядѣть?

— Ну... Тсс... Дрянь ты этакая! Паршакъ!

Маркъ начинаетъ усиленно мигать глазами. Продолжительное молчаніе.

— А ужъ вы, батюшка, съѣздите, поздравьте! — говоритъ онъ ласково. — Онѣ плачутъ, мечутся на постелькѣ... Ужъ вы будьте такіе добрые, окажите имъ свое почтеніе... Съѣздите, батюшка!

— Не поѣду. Не зачѣмъ и некогда... Да и что я буду дѣлать у старой дѣвки?

— Съѣздите, ваше сіятельство! Уважьте, батюшка! Сдѣлайте такую милость! Страсть какъ огорчены онѣ вашею, можно сказать, неблагодарностью и безчувствіемъ!

Маркъ проводитъ рукавомъ по глазамъ.

— Сдѣлайте милость!

— Гм!.. А коньякъ будетъ? — говоритъ Жанъ.

— Будетъ, батюшка, ваше сіятельство!

— Такъ-съ!.. Н-да...

Князь подмигиваетъ глазомъ.

— Ну, а сто рублей будетъ? — спрашиваетъ онъ.

— Никакъ это невозможно! Самимъ вамъ не безызвѣстно, ваше сіятельство, что капиталовъ у насъ ужъ тѣхъ нѣтъ, что были... Разорили насъ сродственники, Иванъ Михалычъ. Когда были у насъ деньги, всѣ хаживали, а теперь... Божья воля!

— Въ прошломъ году я за визитъ съ васъ... сколько взялъ? Двѣсти рублей взялъ. А теперь и ста нѣтъ? Шутки шутишь, ворона! Поройся у старухи, найдешь... Впрочемъ, убирайся. Спать хочу.

— Будьте такъ благодушны, ваше сіятельство: Стары онѣ, слабы... Душа въ тѣлѣ еле держится. Пожалѣйте ихъ, Иванъ Михалычъ, ваше сіятельство!

Жанъ неумолимъ. Маркъ начинаетъ торговаться. Въ пятомъ часу Жанъ сдается, надѣваетъ фракъ и ѣдетъ къ княжнѣ...

— *Ma tante*, — говоритъ онъ, прижимаясь къ ея рукѣ и захлебываясь.

И, сѣвъ на софу, онъ начинаетъ прошлогодній разговоръ.

— Мари Крыскина, *ma tante*, получила письмо изъ Ниццы... Муженекъ-то! А? Каковъ?—Очень развязно описываетъ дуэль, которая была у него съ однимъ англичаниномъ изъ-за какой-то пѣвицы... забылъ ея фамилию...

— Неужели?

Княжна закатываетъ глаза, всплескиваетъ руками и съ изумленіемъ, смѣшаннымъ съ долею ужаса, повторяетъ:

— Неужели?

— Да... На дуэляхъ дерется, за пѣвицами бѣгаетъ, а тутъ жена... чахни и сохни по его милости... Не понимаю такихъ людей, *ma tante*!

Счастливая княжна поближе подсаживается къ Жану, и разговоръ ихъ затягивается... Подается чай съ коньякомъ.

И въ то время, когда счастливая княжна, слушая Жана, хохочетъ, ужасается, поражается, старый Маркъ роется въ своихъ сундучкахъ и собираетъ кредитныя бумажки. Князь Жанъ сдѣлалъ большую уступку. Ему нужно заплатить только пятьдесятъ рублей. Но, чтобы заплатить эти пятьдесятъ рублей, нужно перерыть не одинъ сундучокъ!

ДОЧЬ КОММЕРЦИИ СОВѢТНИКА.

(Романъ).

Коммерціи совѣтникъ Механизмовъ имѣеть трехъ дочерей: Зину, Машу и Сашу. За каждой изъ нихъ положено въ банкъ по сто тысячъ приданого. Впрочемъ, не въ этомъ дѣло.

Саша и Маша особеннаго изъ себя ничего не представляютъ. Онѣ отлично пляшутъ, вышиваютъ, вспыхиваютъ, мечтаютъ, любятъ поручиковъ — и больше, кажется, ничего, но зато старшая, Зина, принадлежитъ къ числу рѣдкихъ, недюжинныхъ натуръ. Легче встрѣтиться на жизненномъ пути съ непьющимъ репортеромъ, чѣмъ съ такою натурой.

Были именины Саши. Мы, сосѣди-помѣщики, нарядились въ лучшія одежды, запрягли лучшихъ коней и поѣхали съ поздравленіями въ имѣніе Механизмова. Лѣтъ 20 тому назадъ на мѣстѣ этого имѣнія стоялъ кабакъ. Кабакъ росъ, росъ и выросъ въ прекраснѣйшую ферму съ садами, прудами, фонтанами и бульдогообразными лакеями. Приѣхавъ и поздравивъ, мы тотчасъ же сѣли обѣдать. Подали супъ жульенъ. Передъ жульенъ мы выпили по двѣ рюмки и закусили.

— Не выпить ли намъ по третьей? — предложилъ Механизмовъ. — Богъ Троицу любить и тово... тресъ хваціунтъ консыліумъ... Латынь, братцы! Яшка, подай-ка, свиная твоя морда, съ того стола селедочку! Господа дворяне, ну-ка-ся! Безъ церемоніевъ! Митрій Петрычъ, же ву при але машеръ!

— Ахъ, папа! — замѣтила Маша. — Зачѣмъ же ты пристаешь? Ты точно купецъ Водянкинъ... съ угощеніями.

— Знаю, что говорю! Твое дѣло — зась! Это я только

при гостяхъ позволяю имъ на себя тыкать! — зашепталь мнѣ черезъ столъ Механизмовъ. — Для цивилизаціи! А безъ гостей — ни-ни!

— Изъ хама не выйдетъ пана! — вздохнулъ сидѣвшій рядомъ со мной генераль съ лентой. — Свиньей былъ, свинья и есть...

Механизмовъ мало-по-малу напилея, вспомнилъ свою кабацкую старину и задурилъ. Онъ икалъ, брался говорить по-французски, сквернословилъ...

— Перестань! — замѣтилъ ему его другъ генераль. — Всякому безобразію есть свое приличіе! Какой же ты... братецъ!

— Безображу не за твои деньги, а за свои! Самъ «Льва и Солнца» имѣю! Господа, а сколько вы съ меня взяли, чтобъ меня въ почетные мировые произвести?

На одномъ концѣ стола отчаянно заворочался и треснулъ чей-то стулъ. Мы поглядѣли по направленію треска и увидѣли два большихъ черныхъ глаза, метавшихъ молніи и искры на Механизмова. Эти два глаза принадлежали Зинѣ, высокой, стройной брюнеткѣ, затянутой во все черное. По ея блѣдному лицу бѣгали розовыя пятна, а въ каждомъ пятнѣ сидѣла злоба.

— Прощу тебя, отецъ, перестать! — сказала Зина. — Я не люблю шутить!

Механизмовъ робко взглянулъ на ея глаза, завертѣлся, выпилъ залпомъ стаканъ коньяку и умолкъ.

«Эге! — подумали мы. — Эта не Саша и не Маша... Съ этой нельзя шутить... Натура недюжинная... Тово-съ...»

И я залюбовался разгнѣваннымъ лицомъ. Признаюсь, я и ранѣе былъ неравнодушень къ Зинѣ. Она прекрасна, глядитъ, какъ Діана, и вѣчно молчитъ. А вѣчно молчащая дѣва, сами знаете, носить въ себѣ столько тайнъ! Это бутылъ съ неизвѣстнаго рода жидкостью — выпилъ бы, да боишься: а вдругъ ядъ?

Послѣ обѣда я подошелъ къ Зинѣ и, чтобы показать ей, что есть люди, которые понимаютъ ее, заговорилъ о средѣ заѣдающей, о правдѣ, трудѣ, женской свободѣ. Съ женской свободы подъ вліяніемъ «шефе» переѣхалъ я на паспортную систему; денежный курсъ, женскіе курсы... Я говорилъ съ жаромъ, съ дрожью, разъ десять порывался схватить ее за руку... Говорилъ, впрочемъ, искренно и складно, точно передовую статью вслухъ читалъ. А она слушала и глядѣла на меня. Глаза ея

становились все шире и круглѣе... Щеки замѣтно поблѣднѣли подъ вліяніемъ моей рѣчи... Наконецъ въ глазахъ ея почему-то мелькнулъ испугъ.

— Неужели вы говорите все это искренно? — спросила она, почему-то млѣя отъ ужаса.

— Я... не искренно?! Вамъ? Мнѣ... Да клянусь вамъ, что...

Она схватила меня за руку, нагнулась къ моему лицу и, задыхаясь, прошептала:

— Будьте сегодня въ десять часовъ вечера въ мраморной бесѣдкѣ... Умоляю васъ! Я вамъ все скажу! Все!

Прошептала и скрылась за дверь. Я замеръ...

— Полюбила! — подумалъ я, заглядывая на себя въ зеркало. — Не устояла!

Я — къ чему скромничать? — обаятельный мужчина. Рослый, статный, съ черной, какъ смоль, бородой... Въ голубыхъ глазахъ и на смугломъ лицѣ выраженіе пережитаго страданія. Въ каждомъ жестѣ сквозить разочарованность. И, кромѣ всего этого, я богатъ (состояніе нажилъ я литературой).

Въ десятомъ часу я уже сидѣлъ въ бесѣдкѣ и умиралъ отъ ожиданія. Въ моей головѣ и въ груди шумѣла буря. Въ сладкой, мучительной истомѣ закрывалъ я глаза и во мракѣ своихъ орбитъ видѣлъ Зину... Рядомъ съ ней во мракѣ торчала почему-то и одна ехидная картинка, видѣнная мной въ какомъ-то журналѣ: высокая рожь, дамская шляпка, зонть, палка, цилиндръ... Да не осудить читатель меня за эту картинку! Не у одного только меня такая клубничная душа. Я знаю одного поэта-лирика, который облизывается и причмокиваетъ губами всякій разъ, когда къ нему, вдохновенному, является муза... Ежели поэтъ позволяетъ себѣ такія вольности, то намъ, прозаикамъ, и подавно простительно.

Ровно въ десять у дверей бесѣдки показалась освѣщенная луной Зина. Я подскочилъ къ ней и схватилъ ее за руку.

— Дорогая моя... — забормоталъ я. — Я люблю васъ... Люблю бѣшено, страстно!

— Позвольте! — сказала она, садясь и медленно поворачивая ко мнѣ свое блѣдное лицо. — Отстраните (sic!) вашу руку!

Это было сказано такъ торжественно, что быстро одинъ за другимъ повыскакивали изъ моей головы и цилиндръ, и палка, и женская шляпка, и рожь...

— Вы говорите, что вы меня любите... Вы тоже миѣ нравитесь. Я могу выйти за васъ замужъ, но прежде всего я должна спасти васъ, несчастный. Вы на краю гибели. Ваши убѣжденія губятъ васъ! Неужели, несчастный, вы этого не видите? И неужели вы смѣете думать, что я соединю свою судьбу съ человѣкомъ, у котораго такія убѣжденія? Нѣтъ! Вы миѣ нравитесь, но я сумѣю пересилить свое чувство. Спасайтесь же, пока не поздно! На первый разъ хоть вотъ... вотъ это прочтите! Прочтите и вы увидите, какъ вы заблуждаетесь!

И она сунула въ мою руку какую-то бумагу. Я зажегъ спичку и въ своей бѣдной рукѣ увидѣлъ прошлогодній номеръ «Гражданина». Минуту я сидѣлъ молча, неподвижно, потомъ вскочилъ и схватилъ себя за голову.

— Батюшки! — воскликнулъ я. — Одна во всемъ Лохмотьевскомъ уѣздѣ недюжинная натура, да и та... и та дура! Боже мой!

Черезъ десять минутъ я уже сидѣлъ въ бричкѣ и катилъ къ себѣ домой.

ОПЕКУНЪ.

Я поборолъ свою робость и вошелъ въ кабинетъ генерала Шмыгалова. Генераль сидѣлъ у стола и раскладывалъ пасьянсъ «капризъ де дамъ».

— Что вамъ, милый мой? — спросилъ онъ меня ласково, кивнувъ на кресло.

— Я къ вамъ, ваше — ство, по дѣлу, — сказалъ я, садясь и неизвѣстно для чего застегивая сюртукъ. — Я къ вамъ по дѣлу, имѣющему частный характеръ, не служебный. Я пришелъ просить у васъ руки вашей племянницы Варвары Максимовны.

Генераль медленно повернулъ ко миѣ свое лицо, со вниманіемъ поглядѣлъ на меня и уронилъ на полъ карты. Онъ долго шевелилъ губами и выговорилъ:

— Вы... тово?.. Вы рехнулись, что ли? Вы рехнулись, я васъ спрашиваю? Вы... осмѣливаетесь? — прошипѣлъ

опъ, багровѣя. — Вы осмѣливаетесь, мальчишка, молоко-сосъ?! Осмѣливаетесь шутить... милостисдарь...

И, топнувъ ногою, Шмыгаловъ крикнулъ такъ громко, что даже дрогнули стекла.

— Встать!! Вы забываете, съ кѣмъ вы говорите! Извольте-съ убираться и не показываться мнѣ на глаза! Извольте выйти! Вонъ-съ!

— Но я хочу жениться, ваше превосходительство!

— Можете жениться въ другомъ мѣстѣ, но не у меня! Вы еще не доросли до моей племянницы, милостисдарь! Вы ей не пара! Ни ваше состояніе ни ваше общественное положеніе не даютъ вамъ права предлагать мнѣ такое... предложеніе! Съ вашей стороны это дерзость. Прощаю вамъ, мальчишка, и прошу васъ больше меня не безнокоить!

— Гм.. Вы уже пятерыхъ жениховъ спровадили такимъ образомъ... Ну, шестого вамъ не удастся спровадить. Я знаю причину этихъ отказовъ. Вотъ что, ваше превосходительство... Даю вамъ честное и благородное слово, что, женившись на Варѣ, я не потребую отъ васъ ни копейки изъ тѣхъ денегъ, которыя вы растратили, будучи Варинимъ опекуномъ. Даю честное слово!

— Повторите, что вы сказали! — проговорилъ генераль какимъ-то неестественно-трескучимъ голосомъ, нагнувшись и подбѣжавъ ко мнѣ рысцою, какъ раздраженный гусакъ. — Повтори! Повтори, негодяй!

Я повторилъ. Генераль побагровѣлъ и забѣгалъ.

— Этого еще недоставало! — задребезжалъ онъ, бѣгая и поднимая вверхъ руки. — Недоставало еще, чтобы мои подчиненные наносили мнѣ страшныя, несмыаемыя оскорбленія въ моемъ же домѣ! Боже мой, до чего я дожилъ! Мнѣ.. дурно!

— Но увѣряю васъ, ваше превосходительство! Не только не потребую, но даже ни единымъ словомъ не намегну вамъ на то, что вы по слабости характера растратили Варины деньги! И Варѣ прикажу молчать! Честное слово! Чего же вы кипятитесь, комодъ ломаете? Не отдамъ подь судъ!

— Какой-нибудь мальчишка, молокососъ... нищій... осмѣливается говорить прямо въ лицо такія мерзости! Извольте выйти, молодой человѣкъ, и помните, что я этого никогда не забуду! Вы меня страшно оскорбили! Впрочемъ... прощаю вамъ! Вы сказали эту дерзость по

легкомыслию своему, по глупости... Ахъ, не извольте трогать у меня на столѣ своими пальцами, чортъ васъ возьми! Не трогайте картъ! Уходите, я занятъ!

— Я ничего не трогаю! Чтò вы выдумываете? Я даю честное слово, генераль! Даю слово, что даже не намекну! И Варѣ запрешу требовать съ васъ! Чтò же вамъ еще нужно? Чудакъ, вы, ей-Богу... Растратили вы десять тысячъ, оставленные ея отцомъ... Ну чтò жъ? Десять тысячъ не велики деньги... Можно простить...

— Я ничего не растрчиваль... да-съ! Я вамъ сейчасъ докажу! Сейчасъ вотъ... Я докажу!

Генераль дрожащими руками выдвинулъ изъ стола ящикъ, вынулъ оттуда кипу какихъ-то бумагъ и, красный, какъ ракъ, началъ перелистывать. Перелистываль онъ долго, медленно и безъ цѣли. Бѣдняга былъ страшно взволнованъ и сконфуженъ. Къ его счастью, въ кабинетъ вошелъ лакей и доложилъ о поданномъ обѣдѣ.

— Хорошо... Послѣ обѣда я вамъ докажу! — забормоталъ генераль, пряча бумаги. — Разъ навсегда... во избѣжаніе сплетни... Дайте только пообѣдать... увидите! Какой-нибудь, прости Господи... молокососъ, шерамыжка... молоко на губахъ не обсохло... Идите обѣдать! Я послѣ обѣда... вамъ...

Мы пошли обѣдать. Во время перваго и втораго блюда генераль былъ сердитъ и нахмуренъ. Онъ съ остервенѣніемъ солилъ себѣ супъ, рычалъ, какъ отдаленный громъ, и громко двигался на стулѣ.

— Чего ты сегодня такой злой? — замѣтила ему Варя. — Не нравишься ты мнѣ, когда ты такой... право...

— Какъ ты смѣешь говорить, что я тебѣ не нравлюсь! — окрысился на нее генераль.

Во время третьяго и послѣдняго блюда Шмыгаловъ глубоко вздохнулъ и замигалъ глазами. По лицу его разлилось выраженіе пришибленности, забитости... Онъ сталъ казаться такимъ несчастнымъ, обиженнымъ! На лбу и на носу его выступилъ крупный потъ. Послѣ обѣда генераль пригласилъ меня къ себѣ въ кабинетъ.

— Голубчикъ мой! — началъ онъ, не глядя на меня и теребя въ рукахъ мою фалду. — Берите Варю, я согласенъ... Вы хорошій, добрый человекъ... Согласенъ... Благословляю васъ... ее и тебя, мои ангелы... Ты меня извини, что до обѣда я бранилъ тебя здѣсь... сердился... Это вѣдь я любя... отечески... Но только тово... я истра-

тиль не десять тысячъ, а тово... шестнадцать... Я и тѣ, что тетка Наталья ей оставила, ухнулъ... проигралъ... Давай на радостяхъ... шампанскаго стебанемъ... Простилъ?

И генераль уставилъ на меня свои сѣрые. готовые заплакать и въ то же время ликующіе глаза. Я простилъ ему еще шесть тысячъ и женился на Варѣ.

Хорошіе рассказы всегда оканчиваются свадьбой!

ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ.

Въ гостиной со свѣтло-голубыми обоями объяснялись въ любви.

Молодой человекъ пріятной наружности стоялъ, преклонивъ одно колѣно, передъ молодой дѣвушкой и клялся.

— Жить я безъ васъ не могу, моя дорогая! Клянусь вамъ! — задыхался онъ. — Съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣлъ васъ, я потерялъ покой! Дорогая моя, скажите мнѣ... скажите... Да или нѣтъ?

Дѣвушка открыла ротикъ, чтобы отвѣтить, но въ это время въ дверяхъ показалась голова ея брата.

— Лили, на минутку! — сказалъ братъ.

— Чего тебѣ? — спросила Лили, выйдя къ брату.

— Извини, моя дорогая, что я помѣшалъ вамъ, но... я братъ, и моя священная обязанность предостеречь тебя.. Будь осторожниѣ съ этимъ господиномъ. Держи языкъ за зубами... Поберегись сказать что-нибудь лишнее.

— Но онъ дѣлаетъ мнѣ предложеніе!

— Это твое дѣло... Объясняйся съ нимъ, выходи за него замужъ, но ради Бога будь осторожна... Я знаю этого субъекта... Большой руки подлець! Сейчасъ же донесетъ, ежели что...

— Мерси, Максъ... А я и не знала!

Дѣвушка воротилась въ гостиную. Она отвѣтила молодому человеку «да», цѣловалась съ нимъ, обнималась, клялась, но была осторожна: говорила только о любви.

ИЗЪ ДНЕВНИКА ОДНОЙ ДѢВИЦЫ.

13-го октября. Наконецъ-то и на моей улицѣ праздникъ! Гляжу и не вѣрю своимъ глазамъ. Передъ моими окнами взадъ и впередъ ходитъ высокій, статный брюнетъ съ глубокими, черными глазами. Усы—прелесть! Ходитъ уже пятый день, отъ ранняго утра до поздней ночи, и все на наши окна смотритъ. Дѣлаю видъ, что не обращаю вниманія.

15-го. Сегодня съ самаго утра проливной дождь, а онъ, бѣдняжка, ходитъ. Въ награду сдѣлала ему глазки и послала воздушный поцѣлуй. Отвѣтилъ обворожительной улыбкой. Кто онъ? Сестра Варя говоритъ, что онъ въ нее влюбленъ и что ради нея мокнетъ на дождѣ. Какъ она не развита! Ну, можетъ ли брюнетъ любить брюнетку? Мама велѣла памъ получше одѣваться и сидѣть у оконъ. «Можетъ-быть, онъ жуликъ какой-нибудь, а можетъ-быть, и порядочный господинъ»,—сказала она. Жуликъ... quel... Глупы вы, мамаша!

16-го. Варя говоритъ, что я заѣла ея жизнь. виновата я, что онъ любитъ меня, а не ее! Нечаянно уронила ему на тротуаръ записочку. О, коварщикъ! Написалъ у себя мѣломъ на рукавѣ: «послѣ». А потомъ ходилъ, ходилъ и написалъ на воротахъ vis-à-vis: «Я не прочь, только послѣ». Написалъ мѣломъ и быстро стеръ. Отчего у меня сердце такъ бьется?

17-го. Варя ударила меня локтемъ въ грудь. Подлая, мерзкая завистница! Сегодня онъ остановилъ городского и долго говорилъ ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затѣвываетъ! Подкупаетъ, должно-быть... Тираны и деспоты вы, мужчины, но какъ вы хитры и прекрасны!

18-го. Сегодня, послѣ долгаго отсуствія, приѣхалъ

ночью братъ Сережа. Не успѣлъ онъ лечь въ постель, какъ его потребовали въ кварталъ.

19-го. Гадина! Мерзость! Оказывается, что онъ всѣ эти двѣнадцать дней выслѣживалъ брата Сережу, который растратилъ чьи-то деньги и скрылся.

Сегодня онъ написалъ на воротахъ: «я свободенъ и могу». Скотина. Показала ему языкъ.

ЮРИСТКА.

Дочь одного европейскаго министра юстиции, часто помогавшая своему папѣ въ составленіи всевозможныхъ законопроектвъ, говорила своему отцу, будучи:

18 лѣтъ: Запрети, папѣ, въ своихъ законахъ этимъ негоднымъ женихамъ приставать къ дѣвушкамъ! Когда они понадобятся, имъ скажутъ! Запрети также кстати молодымъ людямъ жениться ранѣе 35 лѣтъ. Ранніе браки отнимаютъ у насъ лучшихъ кавалеровъ!

20 лѣтъ: Можно, пожалуй, папѣ, позволить жениться и ранѣе 30 лѣтъ. Сдѣлай ужъ имъ уступку! Такъ и быть...

22 лѣтъ: Ахъ да, кстати... Если увидишь министра внутреннихъ дѣлъ, то попроси его, чтобы онъ предписалъ губернаторамъ брать съ cadaго холостяка штрафъ въ размѣрѣ 30—40 франковъ въ годъ.

25 лѣтъ: Удивляюсь тебѣ, папѣ! Куда дѣвался твой административный гений? Ты словно не замѣчаешь, что вокругъ тебя дѣлается! Какъ можно скорѣи проектируй штрафъ съ холостяковъ въ размѣрѣ 1.500 франковъ съ cadaго ежегодно! Надо же наконецъ принять мѣры!

28 лѣтъ: Ты, папѣ, просто глупъ... Ну, можно ли вести такъ дѣло? Въ уложеніи о наказаніяхъ у тебя нѣтъ ни одной статьи противъ этихъ негодныхъ холостяковъ! Назначь ежегодный поголовный штрафъ по крайней мѣрѣ въ 10.000 франковъ! Къ этому штрафу прибавь мѣсяца 2 тюремнаго заключенія съ лишеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, и ты скоро

не увидишь въ нашемъ государствѣ ни одной засидѣвшейся дѣвушки!

30 лѣтъ: Сто тысячъ франковъ! Наконецъ двѣсти тысячъ! Скорѣе! Годъ тюремнаго заключенія... 30 горячихъ! А если вамъ не будутъ повиноваться, никто не помѣшаетъ вамъ потребовать роту солдатъ! Скорѣе... вварваръ!!

35 лѣтъ: Смертная казнь черезъ разстрѣляніе! Умоляю, отецъ! Неужели ты не видишь, что я... готова повыцарапать всѣмъ глаза? Смертная казнь... Нѣтъ... пожизненное одиночное тюремное заключеніе! Это посильнѣй будетъ! Да пиши же поскорѣй..

40 лѣтъ: Папочка... милый... Ангель... Сходи къ министру финансовъ и попроси его ассигновать сумму для выдачи ежегодныхъ премій холостякамъ, намѣревающимся жениться... Сходи, милый! Будь такъ добръ! И запрети кстати молодымъ людямъ жениться на дѣвушкахъ, не достигшихъ 35 — 40-лѣтняго возраста... Папочка, голубчикъ!

НАЧАЛЬНИКЪ СТАНЦІИ.

Начальника станціи «Дребезги» зовутъ Степаномъ Степанычемъ, а фамилія его Шептуновъ. Съ нимъ въ минувшее лѣто случился маленькій скандалъ. Этотъ скандалъ, несмотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему очень дорого. Благодаря ему, онъ потерялъ свою новую форменную фуражку и вѣру въ человѣчество.

Лѣтомъ поѣздъ № 8 проходилъ черезъ его станцію въ 2 часа 40 минутъ ночи. Время самое неудобное. вмѣсто того, чтобы спать, Степанъ Степанычъ долженъ былъ гулять по платформѣ и торчать около телеграфистки почти до утра.

Его помощникъ, Алеутовъ, каждое лѣто ѣздилъ куда-то жениться, и бѣдному Шептунову одному приходилось дежурить. Большое свинство со стороны судьбы! Впрочемъ, онъ скучалъ не каждую ночь. Иногда ночью приходила къ нему на станцію изъ сосѣдняго княжескаго имѣнія жена управляющаго Назара Кузьмича Куцапетова, Марья

Ильинична. Дама эта была не особенно молода, не особенно красива, но, господа, въ темнотѣ и столбѣ за городского примешь, да, кстати сказать, скука такая же не тетка, какъ и голодъ: все сойдегь! Когда Кудапелтова приходила на станцію, Шептуновъ бралъ ее обыкновенно подъ руку, спускался съ нею внизъ съ платформы и шелъ къ товарнымъ вагонамъ. Тамъ, у вагоновъ, въ ожиданіи поѣзда № 8, онъ начиналъ свои клятвы и продолжалъ ихъ вплоть до свистка.

Такъ въ одну прекрасную ночь стоялъ онъ съ Марьей Ильиничной у вагоновъ и ожидалъ поѣздъ. По безоблачному небу тихо, чуть замѣтно плыла луна. Она заливала своимъ свѣтомъ станцію, поле, необозримую даль... Кругомъ было тихо, спокойно... Шептуновъ держалъ Марью Ильиничну за талию и молчалъ. Она тоже молчала. Оба были въ какомъ-то сладостномъ, тихомъ, какъ лунный свѣтъ, забытьѣ...

— Какая чудная погода! — изрѣдка вздыхалъ Шептуновъ: — ты не озябла?

Вмѣсто отвѣта она тѣснѣе и тѣснѣе прижималась къ его форменному сюртуку.

Въ 2 часа 20 минутъ начальникъ станціи поглядѣлъ на часы и сказалъ:

— Скоро поѣздъ придетъ... Давай, Маша, глядѣть на путь... Кто изъ насъ первый увидить огни поѣзда, тотъ, значитъ, долше любить будетъ... Давай глядѣть...

Они вперили свой взглядъ въ глубокую даль. Кое-гдѣ на безконечномъ пути ласково мигали огоньки. Поѣзда не было еще видно... Вглядываясь въ даль, Шептуновъ увидѣлъ нѣчто другое... Онъ увидѣлъ двѣ длинныя тѣни, шагавшія черезъ шпалы... Тѣни двигались прямо къ нему и дѣлались все больше и шире... Одна тѣнь, повидимому, происходила отъ человѣческой фигуры, другая отъ длинной палки, которую держала фигура...

Тѣнь приближалась. Скоро послышалось, что насвистывали изъ «Мадамъ Анго».

— Не ходить по рельсамъ! Запрещено... — крикнулъ Шептуновъ. — Долой съ рельсовъ!

— Не распоряжайся, сволочь! — послышался отвѣтъ.

Обруганный Шептуновъ рванулся впередъ, но въ это время Марья Ильинична ухватилась за его фалды.

— Ради Бога, Степа! — зашептала она. — Это мой мужъ! Назарка!

Не успѣла она это сказать, какъ Куцапетовъ стоялъ уже передъ оскорбленнымъ начальникомъ станціи. Оскорбленный Шептуновъ вскрикнулъ, ударился головой о что-то желѣзное и нырнулъ подъ вагонъ. Выползши на животъ изъ-подъ вагона, онъ побѣжалъ по полотну. Прыгая черезъ шпалы, спотыкаясь о рельсы, онъ, какъ сумасшедшій, какъ собака, которой привязали къ хвосту колючую палку, полетѣлъ къ водокачалкѣ...

«Какая у него однако... палка!» — думалъ онъ, улепетывая.

Добѣжавъ до водокачалки, онъ остановился, чтобы перевести духъ, но въ это время послышались шаги. Оглянувшись онъ и увидѣлъ сзади себя быстро двигавшуюся тѣнь человека съ тѣнью палки. Объятый паническимъ страхомъ, онъ побѣжалъ далѣе.

— Погодите! Пойдите! — услышалъ онъ за собой голосъ Куцапетова. — Стойте! Берегитесь! Поѣздъ!

Шептуновъ поглядѣлъ впередъ и увидѣлъ передъ собой поѣздъ съ парой страшныхъ, огненныхъ глазъ... Волосы его стали дыбомъ... Сердце застучало и вдругъ замерло... Онъ собралъ все свои силы и прыгнулъ, куда глаза глядятъ... Секунды четыре онъ летѣлъ въ воздухѣ, потомъ упалъ на что-то твердое и покатоое и покатился внизъ, цѣпляясь за репейникъ.

«Насыпь, — подумалъ онъ: — ну, это ничего. Лучше съ насыпи скатиться, чѣмъ дворянину принять лобомъ отъ хама».

Черезъ минуту возлѣ его праваго уха ступилъ въ лужу большой, тяжеловѣсный салогъ. По спинѣ у него заходили ошупывающія руки...

— Это вы? — услышалъ онъ голосъ Куцапетова. — Вы, Степанъ Степанычъ?

— Пощадите! — простоналъ Шептуновъ.

— Чтò съ вами, ангель мой? Чего вы испужались? Это я, Куцапетовъ! Неужели не узнали? Я бѣжалъ за вами, бѣжалъ... Кричалъ, кричалъ... Чуть-было подъ поѣздъ не попали, ангель мой... Маша, какъ увидѣла, чтò вы побѣгли, тоже испужалась и на платформѣ теперь безъ чувствъ лежитъ... Вы, можетъ-быть, испужались, что я васъ сволочью назвалъ? Вы не обижайтесь... Я васъ за стрѣлочника принялъ...

— Ахъ, не издѣвайтесь... Если мстить, то мстите поскорѣй... Я въ вашихъ рукахъ... — простоналъ Шептуновъ. — Бейте... увѣчьте...

— Гм... Чтò съ вами, батюшка? Вѣдь я къ вамъ по дѣлу шель, благодѣтель! Я и бѣжалъ за вами, чтобы о дѣлѣ поговорить...

Куцапетовъ помолчалъ и продолжалъ:

— Дѣло важное-съ... Маша моя говорила мнѣ, что вы изъ-за удовольствія изволите съ ней путаться. Я касательно этого ничего-съ, потому что мнѣ отъ Марьи Ильиничны приходится въ общемъ сюжетѣ кукишъ съ масломъ, но ежели разсуждать по справедливости, то соблаговолите со мной договоръ сдѣлать, потому что я мужъ, глава все-таки... по писанію. Князь Михайла Дмитричъ, когда съ ней путались, мнѣ въ мѣсяцъ двѣ четвертныя выдавали. А вы сколько пожалуете? Уговоръ лучше денегъ. Да вы встаньте-съ...

Шептуновъ поднялся. Чувствуя себя поломаннымъ, исковерканнымъ, онъ поплелся къ насыпи...

— Сколько вы пожалуете? — продолжалъ Куцапетовъ. — Съ васъ я четвертную возьму... И потомъ-съ, хотѣлъ попросить у васъ, нѣтъ ли у васъ мѣстечка моему племяннику...

Шептуновъ, ничего не слыша и не видя, кое-какъ доплелся до станціи и повалился въ постель. Проснувшись на другой день, онъ не нашель своей форменной фуражки и одного погона.

Ему и до сихъ поръ совѣстно.

ВЪ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ.

(Посвящается Маріи Павловнѣ Чеховой).

Молодая женщина лѣтъ двадцати трехъ, съ страшно блѣднымъ лицомъ, стояла на берегу моря и глядѣла въ даль. Отъ нея маленькихъ ножекъ, обутыхъ въ бархатные полусапожки, шла внизъ къ морю ветхая, узкая лѣсенка съ однимъ очень подвижнымъ периломъ.

Женщина глядѣла въ даль, гдѣ зіялъ просторъ, залитый глубокимъ, непроницаемымъ мракомъ. Не было видно ни звѣздъ, ни моря, покрытаго снѣгомъ, ни огней. Шелъ сильный дождь...

«Что тамъ?»—думала женщина, вглядываясь въ даль и кутаясь отъ вѣтра и дождя въ измокшую шубейку и шаль.

Гдѣ-то тамъ, въ этой непроницаемой тьмѣ, версть за пять—за десять, или даже больше, долженъ быть въ это время ея мужъ, помѣщикъ Литвиновъ, со своею рыболовной артелью. Если мятель въ послѣдніе два дня на морѣ не засыпала снѣгомъ Литвинова и его рыбаковъ, то они спѣшатъ теперь къ берегу. Море вздулось и, говорятъ, скоро начнетъ ломать ледъ. Ледъ не можетъ вынести этого вѣтра. Успѣютъ ли ихъ рыбацьи сани съ безобразными крыльями, тяжелыя и неповоротливыя, достигнуть берега прежде, чѣмъ блѣдная женщина услышитъ ревъ проснушагося моря?

Женщинѣ страстно захотѣлось спуститься внизъ. Перило задвигалось подъ ея рукой и, мокрое, липкое, выскользнуло изъ ея рукъ, какъ выюнъ. Она присѣла на ступени и стала спускаться на четверенькахъ, крѣпко держась руками за холодныя, грязныя ступени. Рвануль

вѣтеръ и распахнулъ ея шубу. На грудь пахнуло сыростью.

— Святой чудотворецъ Николай, этой лѣстницѣ и конца не будетъ! — шептала молодая женщина, перебирая ступени.

Въ лѣстницѣ было ровно девяносто сажень. Она шла по изгибамъ, а внизъ по прямой линіи, подъ острымъ угломъ къ отвѣсу. Вѣтеръ зло шаталъ ее изъ стороны въ сторону, и она скрипѣла, какъ доска, готовая треснуть.

Черезъ десять минутъ женщина была уже внизу, у самаго синяго моря. И здѣсь внизу была такая же тьма. Вѣтеръ сталъ еще злѣе, чѣмъ наверху. Дождь лилъ, и, казалось, конца ему не было.

— Кто идетъ?

Послышался мужской голосъ:

— Это я, Денись.

Денись, высокій плотный старикъ, съ большой сѣдой бородой, стоялъ на берегу съ большой палкой и тоже глядѣлъ въ непроицаемую даль. Онъ стоялъ и искалъ на своей одеждѣ сухого мѣста, чтобы зажечь о него спичку и закурить трубку.

— Это вы, барыня Наталья Сергѣевна? — спросилъ онъ педоумѣвающимъ голосомъ. — Въ этокое ненастье?! И что вамъ тутъ дѣлать? При вашей комплекціи послѣ родовъ простуда — первая гибель. Идите, матушка, домой!

Послышался плачь старухи. Плакала мать рыбака Евсея, поѣхавшаго съ Литвиновымъ на ловлю. Денись вздохнулъ и махнулъ рукой.

— Жила ты, старуха, — сказалъ онъ въ пространство: — семьдесятъ годковъ на эфтомъ свѣтѣ, а словно малый ребенокъ, безъ понятія. Вѣдь на все, дура ты, воля Божья! При твоей старческой слабости тебѣ на печи лежать, а не въ сырости сидѣть! Иди отсюда съ Богомъ!

— Да вѣдь Евсей мой, Евсей! Одинъ онъ у меня, Денисушка!

— Божья воля! Ежели ему не суждено, скажемъ, въ морѣ помереть, такъ пуцай море хоть сто разъ ломаетъ, а онъ живой останется. А коли, мать моя, суждено ему въ нынѣшній разъ смерть принять, такъ не намъ судить. Не плачь, старуха! Не одинъ Евсей въ морѣ! Тамъ и баринъ Андрей Петровичъ. Тамъ и Ѳедька, и Кузьма, и Тарасенковъ Алешка.

— А они живы, Денисушка? — спросила Наталья Сергѣевна дрожащимъ голосомъ.

— А кто жъ ихъ знаетъ, барыня! Ежели вчерась и третьяго-дня ихъ не занесло мятелью, то, стало-быть, живы. Море ежели не взломаетъ, то и вовсе живы будутъ. Ишь вѣдь, какой вѣтеръ! Словно нанялся, Богъ съ нимъ!

— Кто-то идетъ по льду! — сказала вдругъ молодая женщина неестественно хриплымъ голосомъ, словно съ испугомъ, сдѣлавъ шагъ назадъ.

Денисъ прищурилъ глаза и прислушался.

— Нѣтъ, барыня, никто неидетъ, — сказалъ онъ. — Это въ лодкѣ дурачокъ Петруша сидитъ и веслами двигаетъ, Петруша! — крикнулъ Денисъ. — Сидишь?

— Сижу, дѣдь! — послышался слабый, больной голосъ.

— Больно?

— Больно, дѣдь! Силы моей нѣту!

На берегу у самого льда стояла лодка. Въ лодкѣ на самомъ днѣ ея сидѣлъ высокій паренъ съ безобразно длинными руками и ногами. Это былъ дурачокъ Петруша. Стиснувъ зубы и дрожа всѣмъ тѣломъ, онъ глядѣлъ въ темную даль и тоже старался разглядѣть что-то. Чего-то и онъ ждалъ отъ моря. Длинные руки его держались за весла, а лѣвая нога была лодогнута подъ туловище.

— Болѣетъ нашъ дурачокъ! — сказалъ Денисъ, подходя къ лодкѣ. — Нога у него болитъ, у сердечнаго. И разсудокъ паренъ потерялъ отъ боли. Ты бы, Петруша, въ тепло пошелъ! Здѣсь еще хуже простудишься!

Петруша молчалъ и морщился отъ боли. Болѣло лѣвое бедро, задняя сторона его, въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ проходитъ нервъ.

— Поди, Петруша! — сказалъ Денисъ мягкимъ, отеческимъ голосомъ. — Прилягъ на печку, а Богъ дастъ, къ утренѣ и уймется нога!

— Чую! — пробормоталъ Петруша, разжавъ челюсти.

— Что ты чуешь, дурачокъ?

— Ледъ взломало.

— Откуда ты чуешь?

— Шумъ такой слышу. Одинъ шумъ отъ вѣтра, другой отъ воды. Да и вѣтеръ другой сталъ: помягче. Верстъ за десять отсюда ужъ ломаетъ.

Старикъ прислушался. Онъ долго слушалъ, но въ общемъ гулъ не понялъ ничего, кромѣ воя вѣтра и ровнаго шума отъ дождя.

Прошло полчаса въ ожиданіи и молчаніи. Вѣтеръ дѣлалъ свое дѣло. Онъ становился все злѣе и злѣе и, казалось, рѣшилъ во что бы то ни стало взломать ледъ и отнять у старухи сына Евсея, а у блѣдной женщины мужа. Дождь между тѣмъ становился все слабѣй и слабѣй. Скоро онъ сталъ такъ рѣдокъ, что можно уже было различить въ темнотѣ человѣческія фигуры, слыатъ лодки и бѣлизну снѣга. Сквозь вой вѣтра можно было разслышать звонъ. Это звонили наверху въ рыбацкѣй деревушкѣ на ветхой колокольнѣ. Люди, застигнутые въ морѣ мятелю, а потомъ дождемъ, должны были ѣхать на этотъ звонъ, — соломинка, за которую хватается утопающій.

— Больно мнѣ! — простоналъ Петруша, скрипнувъ зубами. — Боже мой, больно!

— Потерпи, дурачокъ! Коли до конца дотерпишь, мученическій вѣнецъ у Бога заслужишь. У Бога, братуха, нѣтъ различія. И дурачка въ царствіе небесное приметъ, не ропщи только!

— Я не ропщу, дѣдъ! Охъ, помереть бы скорѣй. Когда я буду покойничкомъ, мнѣ не будетъ такъ больно. Боже мой!

— Не ропщи, дурачокъ, не ропщи! Понатужься!

— Дѣдъ, вода ужъ близко! Слышишь?

Дѣдъ прислушался. На этотъ разъ онъ услышалъ гулъ, не похожій на вой вѣтра или шумъ деревьевъ. Дурачокъ былъ правъ. Нельзя уже было сомнѣваться, что Литвиновъ со своими рыбаками не воротится на сушу праздновать Рождество.

— Копчено! — сказалъ Денисъ. — Ломаеть!

Старуха взвизгнула и присѣла къ землѣ. Барыня, мокрая и дрожащая отъ холода, подошла къ лодкѣ и стала слушать. И она услышала зловѣщій гулъ.

— Можетъ-быть, это вѣтеръ! — сказала она. — Ты убѣжденъ, Денисъ, что это ледъ ломаетъ?

— Божья воля-съ!.. За грѣхи наши, сударыня...

Денисъ вздохнулъ и добавилъ нѣжнымъ голосомъ:

— Пожалуйте наверхъ, сударыня! Не убивайте себя! Вы и такъ вымокли!

И люди, стоявшіе на берегу, услышали тихій смѣхъ, смѣхъ дѣтскій, счастливый... Смѣялась блѣдная женщина. Денисъ крикнулъ. Онъ всегда крикалъ, когда ему хотѣлось плакать.

— Тронулась въ умѣ-то! — шепнулъ онъ темному слугу мужика.

Въ воздухѣ стало вдругъ свѣтлѣй. Выглянула луна. Теперь все было видно: и море съ наполовину истаявшими сугробами, и барыню, и Дениса, и дурачка Петрушу, морщившагося отъ невыносимой боли. Въ сторонѣ стояли мужики и держали въ рукахъ для чего-то веревки.

Раздался первый яростный трескъ невадалекѣ отъ берега. Скоро раздался другой, третій, и воздухъ огласился ужасающимъ трескомъ. Бѣлая, безконечная громада заколыхалась и потемнѣла. Чудовище проснулось и начало свою бурную жизнь.

Вой вѣтра, шумъ деревьевъ, стоны Петруши и звонъ — все умолкло за ревомъ моря.

— Надо уходить наверхъ! — крикнулъ Денисъ. — Сейчас берегъ зальетъ и занесетъ кривыми. Да и утрепя сейчасъ начнется, ребята! Подите, матушка-барыня, Богу такъ угодно!

Денисъ подошелъ къ Натальѣ Сергѣевнѣ и осторожно взялъ ее подъ локти...

— Пойдемте, матушка! — сказалъ онъ нѣжно, голосомъ, полнымъ состраданія.

Барыня отстранила рукой Дениса и, бодро поднявъ голову, пошла къ лѣстницѣ. Она уже не была такъ смертельно блѣдна; на щекахъ ея игралъ здоровый румянецъ, словно въ ея организмъ налили свѣжей крови; глаза не глядѣли уже плачущими, и руки, придерживавшія на груди шаль, не дрожали, какъ прежде... Она теперь чувствовала, что сама, безъ посторонней помощи, сумѣетъ пройти всю девяностосаженную лѣстницу...

Ступивъ на третью ступень, она остановилась, какъ вкопаная. Передъ ней стоялъ высокій, статный мужчина въ большихъ сапогахъ и полушубкѣ.

— Это я, Наташа... Не бойся! — сказалъ мужчина.

Наталья Сергѣевна пошатнулась. Въ высокой мерлушковой шапкѣ, черныхъ усахъ и черныхъ глазахъ она узнала своего мужа, помѣщика Литвинова. Мужъ поднялъ ее на руки и поцѣловалъ ее въ щеку, при чемъ обдалъ ее парами хереса и коньяка. Онъ былъ слегка пьянъ.

— Радуйся, Наташа! — сказалъ онъ. — Я не пропалъ подъ снѣгомъ и не утонулъ. Во время мятели я со сво-

ими ребятами добрель до Таганрога, откуда вотъ и пріѣхаль къ тебѣ... и пріѣхаль...

Онъ бормоталь, а она, блѣдная и дрожащая, глядѣла на него недоумѣвающими, испуганными глазами. Она не вѣрила...

— Какъ ты измокла, какъ дрожишь! — прошепталъ онъ, прижимая ее къ груди...

И по его опьянѣвшему отъ счастья и вина лицу разлилась мягкая, дѣтски-добрая улыбка... Его ждали на этомъ холодѣ, въ эту ночную пору! Это ли не любовь? И онъ засмѣялся отъ счастья...

Пронзительный, душу раздражающій вопль отвѣтилъ на этотъ тихій, счастливый смѣхъ. Ни ревъ моря, ни вѣтеръ, ничто не было въ состояніи заглушить его. Съ лицомъ, искаженнымъ отчаяніемъ, молодая женщина не была въ силахъ удержать этотъ вопль, и онъ вырвался наружу. Въ немъ слышалось все: и замужество поневолѣ, и непреоборимая антипатія къ мужу, и тоска одиночества, и наконецъ рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ея жизнь съ ея горемъ, слезами и болью вылилась въ этотъ вопль, не заглушенномъ даже трещащими льдинами. Мужъ понялъ этотъ вопль, да и нельзя было не понять его...

— Тебѣ горько, что меня не занесло снѣгомъ или не раздавило льдомъ! — пробормоталь онъ.

Нижняя губа его задрожала, и по лицу разлилась горькая улыбка. Онъ сошелъ со ступеней и опустилъ жену на земь.

— Пусть будетъ по-твоему! — сказалъ онъ.

И, отвернувшись отъ жены, онъ пошелъ къ лодкѣ. Тамъ дурачокъ Петруша, стиснувъ зубы, дрожа и прыгая на одной ногѣ, тащилъ лодку въ воду.

— Куда ты? — спросилъ его Литвиновъ.

— Больно мнѣ, ваше высокоблагородіе! Я утонуть хочу... Покойникамъ не больно...

Литвиновъ прыгнулъ въ лодку. Дурачокъ полѣзъ за нимъ.

— Прощай, Наташа! — крикнулъ помѣщикъ. — Пусть будетъ по-твоему! Получай то, чего ждала, стоя здѣсь на холодѣ! Съ Богомъ!

Дурачокъ взмахнулъ веслами, и лодка, толкнувшись о большую льдину, поплыла навстрѣчу высокимъ волнамъ.

— Греби, Петруша, греби! — говорил Литвиновъ. — Дальше, дальше!

Литвиновъ, держась за края лодки, качался и глядѣлъ назадъ. Исчезла его Наташа, исчезли огоньки отъ трюбокъ, исчезъ наконецъ берегъ.

— Воротись! — услышалъ онъ женскій, надорванный голосъ.

И въ этомъ «воротись», казалось ему, слышались и отчаяніе и горячая, только-что вспыхнувшая любовь.

— Воротись!

У Литвинова забилося сердце... Его звала жена, а тутъ еще на берегу въ церкви зазвонили къ Рождественской заутренѣ.

— Воротись! — повторилъ съ мольбой тотъ же голосъ.

Эхо повторило это слово. Протрещали это слово льдины, взвизгнулъ его вѣтеръ, да и рождественскій звонъ говорилъ: «воротись!».

— Ёдемъ назадъ! — сказалъ Литвиновъ, дернувъ дурачка за рукавъ.

Но дурачокъ не слышалъ. Стиснувъ зубы отъ боли и глядя съ надеждою въ даль, онъ работалъ своими длинными руками... Ему никто не кричалъ «воротись», а боль въ нервѣ, начавшаяся сызмальства, дѣлалась все острѣе и жгучѣй... Литвиновъ схватилъ его за руки и потянулъ ихъ назадъ. Но руки были тверды, какъ камень, и не легко было оторвать ихъ отъ весель. Да и поздно было. Навстрѣчу лодкѣ неслась громадная льдина. Эта льдина должна была избавить навсегда Петрушу отъ боли...

До утра простояла блѣдная женщина на берегу моря. Когда ее, полузамерзшую и изнемогшую отъ нравственной муки, отнесли домой и уложили въ постель, губы ея все еще продолжали шептать: «воротись!»

Въ ночь подъ Рождество она полюбила своего мужа...

ГОРДЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

Дѣло происходило на свадьбѣ купца Синерылова.

Шаферъ Недорѣзовъ, высокій молодой человекъ, съ выпученными глазами и стриженной головой, во фракъ съ оттопыренными фалдочками, стоялъ въ толпѣ барышень и разсуждалъ:

— Въ женщинѣ нужна красота, а мужчина и безъ красоты обойдется. Въ мужчинѣ имѣють вѣсь: умъ, образованіе, а красота для него — наплевать! Ежели въ твоёмъ мозгѣ нѣтъ образованности и умственныхъ способностей, то грошъ тебѣ цѣна, хоть ты раскрасавецъ будь... Да-съ... Не люблю красивыхъ мужчинъ! Фи донкъ!

— Это вы потому такъ объясняете, что сами некрасивы. А вонъ, посмотрите въ дверь въ другую комнату, сидитъ мужчина! Вотъ это такъ настоящій красавецъ! Одни глаза чего стоятъ! Поглядите-ка! Прелесть! Кто онъ?

Шаферъ поглядѣлъ въ другую комнату и презрительно усмѣхнулся. Тамъ, развалиась, сидѣлъ на креслѣ красивый черноглазый брюнетъ. Положивъ ногу на ногу и играя цѣпочкой, брюнетъ щурилъ глаза и съ достоинствомъ поглядывалъ на гостей. На его губахъ играла презрительная улыбка.

— Ничего особеннаго! — сказалъ шаферъ. — Такъ себѣ... Даже уродъ, можно сказать. И лицо какое-то дурацкое... На шеѣ кадыкъ въ два аршина.

— А все-таки душка!

— По-вашему, красивый, а по-моему — нѣтъ. А ежели красивый, то, значитъ, глупый человекъ, безъ образованія. Кто онъ будетъ?

— Не знаемъ... Должно-быть, не купческаго званія...

— Гм... Готовъ въ лотерею пари держать, что глупый человекъ... Ногами болтаетъ... Противно глядѣть! Сейчасъ я узнаю, что это за птица... какого онъ ума человекъ. Сейчасъ.

Шаферъ кашлянулъ и смѣло пошелъ въ другую комнату. Остановившись передъ брюнетомъ, онъ еще разъ кашлянулъ, немного подумалъ и началъ:

— Какъ поживаете-сь?

Брюнетъ поглядѣлъ на шафера и усмѣхнулся.

— Понемножечку, — сказалъ онъ нехотя.

— Зачѣмъ же понемножечку? Нужно всегда впередъ идти.

— Зачѣмъ же непременно впередъ?

— Да такъ. Все таперича впередъ идетъ. И электричество, ежели взять, и телеграфы, финифоны тамъ всякіе, телефоны. Да-съ! Прогрессъ, къ примѣру, возьмемъ... Что это слово обозначаетъ? А то оно обозначаетъ, что всякій долженъ впередъ идти... Вотъ и вы идите впередъ...

— Куда же мнѣ, напримѣръ, теперь идти? — усмѣхнулся брюнетъ.

— Мало ли куда идти? Была бы охота... Мѣстовъ много... Да вотъ хоть бы къ буфету, примѣрно... Не желаете ли? Для перваго знакомства, по коньячищкѣ... А? Для идеи...

— Пожалуй, — согласился брюнетъ...

Шаферъ и брюнетъ направились къ буфету. Стриженный официантъ, во фракѣ и съ бѣлымъ запачканнымъ галстукомъ, налилъ двѣ рюмки коньяку. Шаферъ и брюнетъ выпили.

— Хорошій коньякъ, — сказалъ шаферъ: — но есть предметы посущественнѣй... Давайте, для перваго знакомства, выпьемъ красенькаго по стаканчику...

Выпили по стакану краснаго.

— Таперича, какъ мы съ вами познакомились, — сказалъ шаферъ, вытирая губы: — и, можно сказать, выпили...

— Не «таперича», а «теперь»... — поправилъ брюнетъ. — Говорить еще не умѣете, а про телефоны объясняете. При такой необразованности, будь я на вашемъ мѣстѣ, я молчалъ бы, не срамился... Таперича... таперича... Ха!

— Чего же вы смѣтаетесь? — обидѣлся шаферъ. — Я

это для смѣху говорилъ «таперича», для шутки... Зубы-то нечего показывать! Это дѣвицамъ нравится, а я не люблю зубовъ-то... Кто вы будете? Съ какой стороны?

— Не ваше дѣло...

— Званіе ваше какое? Фамилія?

— Не ваше дѣло... Я не такой дуракъ, чтобъ всякому встрѣчному свое званіе объяснялъ... Я настолько гордый человѣкъ, что не очень-то распространяюсь съ вашимъ братомъ. Я на васъ мало обращаю вниманія...

— Ишь ты... Гм... Такъ не скажете, какъ ваша фамилія?

— Не желаю... Ежели всякому балбесу имя свое проносить и рекомендоваться, то языка не хватитъ... И я настолько гордый человѣкъ, что вы для меня все едино, какъ офиціантъ... Невѣжество!

— Ишь ты... Какіе вы благородные... Ну, мы сейчасъ узнаемъ, что вы за артистъ будете.

Шаферъ поднялъ вверхъ подбородокъ и направился къ жениху, который въ это время сидѣлъ съ невѣстой и, красный, какъ ракъ, моргалъ глазами...

— Никиша! — обратился шаферъ къ жениху, кивая на брюнета. — Какъ фамилія этого артиста?

Женихъ отрицательно замоталъ головой.

— Не знаю, — сказалъ онъ. — Это не мой знакомый. Должно полагать, отецъ его пригласилъ. Ты у отца спроси.

— Да твой отецъ въ кабинетѣ въ пьянственномъ недомѣніи... храпитъ, какъ звѣрь лютый. А вы не знаете его? — обратился шаферъ къ невѣстѣ.

Невѣста сказала, что не знаетъ брюнета. Шаферъ пожалъ плечами и началъ спрашивать гостей. Гости заявили, что они первый разъ въ жизни видятъ брюнета.

— Жуликъ онъ, значить, — рѣшилъ шаферъ. — Безъ билета сюда припожаловалъ и гуляетъ, будто у знакомыхъ. Ладно! Мы ему покажемъ «таперича»!

Шаферъ подошелъ къ брюнету и подбоченился.

— А билетъ у васъ есть для входа? — спросилъ онъ. — Позвольте показать вашъ билетъ.

— Я настолько гордый человѣкъ, что не стану кому-нибудь субъекту свой билетъ показывать. Отойдите отъ меня... Чего присталь?

— Стало-быть, у васъ нѣтъ билета? А коли нѣтъ билета, значить, вы жуликъ. Теперь намъ извѣстно, съ какой вы стороны и какъ ваше званіе. Знаемъ таперича...

теперь, то-есть, что вы за агентъ... Вы жуликъ, — вотъ и все.

— Скажи мнѣ эту грубость умный человѣкъ, я бы его по мордѣ, а съ васъ, дураковъ, и спрашивать нечего.

Шаферъ забѣгалъ по комнатамъ, собралъ человѣкъ шесть пріятелей и съ ними подошелъ къ брюнету.

— Позвольте, милостивый государь, поглядѣть вашъ билетъ! — сказалъ онъ.

— Не желаю. Отстаньте, пока я не того...

— Не желаете билета показывать? Стало-быть, вы безъ билета вошли? По какому праву? Вы жуликъ, значить? Извольте уходить отсюда! Пожалуйте-съ! Милости просимъ! Мы васъ сичасъ съ лѣстницы...

Шаферъ и его пріятели взяли подъ руки брюнета и повели его къ выходу. Гости загалдѣли. Брюнетъ громко заговорилъ о невѣжествѣ и о своемъ самолюбіи.

— Пожалуйте-съ! Милости просимъ, красивый мужчина! — бормоталъ торжествующій шаферъ, ведя его къ двери. — Знаемъ мы васъ, красавцевъ!

У самой двери на брюнета натянули его пальто, надѣли на него шапку и толкнули въ спину. Шаферъ хихикнулъ отъ удовольствія и стукнулъ его перстнемъ по затылку... Брюнетъ покачнулся, упалъ на спину и съѣхалъ внизъ по лѣстницѣ.

— Прощайте! Кланяйтесь тамъ! — торжествовалъ шаферъ.

Брюнетъ поднялся, похлопалъ по пальто и, поднявъ вверхъ голову, сказалъ:

— Дураки по-дурацкому и поступаютъ. Я гордый человѣкъ и унижаться передъ вами не стану, а пусть вамъ мой кучеръ объяснитъ, чтѣ я за человѣкъ. Пожалуйте сюда! Григорій! — крикнулъ онъ на улицу.

Гости спустились внизъ. Черезъ минуту въ сѣни вошелъ со двора кучеръ.

— Григорій! — обратился къ нему брюнетъ. — Кто я буду?

— Хозяинъ — Семень Пантеленчъ...

— А какое во мнѣ званіе, и какъ я до этого званія достигъ?

— Почетный гражданинъ, а до званія этого вы достигли учениемъ...

— Гдѣ я нахожусь, и какая моя служба?

— Служите-съ на фабрикѣ купца Подщегина въ ме-

ханикахъ по технической части, а жалованья вамъ положено три тысячи...

— Теперь поняли? А вотъ вамъ и мой билетъ! Приглашалъ на свадьбу меня жениховъ отецъ, купецъ Синерыловъ, который теперь въ пьяномъ видѣ...

— Голубчикъ мой! Милая ты моя душа! — заголосилъ шаферъ. — Чего же ты раньше этого не говоришь?

— Гордый я человѣкъ... Самолюбіе во мнѣ... Прощайте-съ!

— Ну, нѣтъ, стой... Грѣхъ, братъ! Поворачивай оглобли, Семень Пантеленчъ! Теперь видно, что ты за человѣкъ такой... Пойдемъ, выпьемъ за твое образованіе... для идеи...

Гордый человѣкъ нахмурился и пошелъ наверхъ. Черезъ двѣ минуты онъ стоялъ уже у буфета и пилъ коньякъ.

— Безъ гордости на этомъ свѣтѣ не проживешь, — объяснялъ онъ. — Никому никогда не уступлю! Никому! Понимаю себя цѣну. Впрочемъ, вамъ, невѣжамъ, не понять!

1883.

ИЗЪ ДНЕВНИКА ЧЕЛОВѢКА, „ПОДАЮЩАГО НАДЕЖДЫ“.

20-го августа. Осень, видимо, вступаетъ въ свои права. Съ деревьевъ валится желтый листь... Небо хмурится... постоянный дождь, слякоть... На душѣ вдвойнѣ гадко и тяжело...

Нѣтъ, конечно — я бросаю эту пьяную, пошлую жизнь... И такъ довольно годовъ на нее убито... Рѣшено. Сажусь сейчасъ за романъ, давно мною задуманный... Чувствую — въ немъ есть современная жилка...

«Декольтированная женщина».

Романъ. Часть первая. Глава первая.

Природа сіяла. Тоненькіе, свѣженькіе, благоухающіе листочки... (слѣдуетъ описаніе природы — напишу послѣ).

Въ бесѣдкѣ, перевитой виноградными лозами, на изящной козеткѣ, обитой модной шелковой матеріей крапин-

ками, полулежала молодая женщина замѣчательно-соблазнительной красоты. Высокая, бѣлая грудь ея, какъ бы рвавшаяся изъ декольтированнаго сердечкомъ платья, судорожно вздымалась, глаза горѣли...

Зашли Миша и Коля, отправились въ биргалку. Напились изрядно. Были въ участкѣ. Детали не помню, да и некрасиво ихъ было бы изливать... Пошло...

Августа 25-го. Голова трещить, во рту—кабакъ. Выпилъ квасу и сельтерской, помогаетъ плохо. Вчера въ Зоологическомъ саду столкнулся съ Петькой; назюзюкались основательно... Пошло... Сажусь за работу.

Романъ нѣсколько измѣняю.

«Женщина-змѣя».

Романъ изъ великосвѣтской жизни. Часть I.

Глава 1-я.

Роскошный будуаръ. Висячая лампа съ матово-розовымъ колпакомъ льетъ заманчивыи свѣтъ на уютную обстановку и придаетъ комнатѣ таинственно-раздражающій полумракъ. Брошюры и альбомы, раскинутые на кругломъ столѣ... (описание будуара въ деталяхъ—напишу потомъ).

Въ глубокомъ креслѣ, передъ каминомъ съ едва теплившимся огонькомъ, въ задумчивой и вмѣстѣ съ тѣмъ игривой позѣ полулежала красивая молодая женщина. Маленькія, изящныя ножки, обутыя въ синія, съ золотыми звѣздочками туфельки, покоились на рѣшеткѣ камина...

Женщина перво вдрагивала, при чемъ роскошная грудь ея судорожно вздымалась...

Зашелъ къ Петькѣ. Пошли играть на бильярдѣ. Выпили два графинчика водки. Пили затѣмъ пиво и коньякъ. Поѣхали въ Мавританію. Насвистались окончательно. Затѣяли скандалъ...

Мерзко.

Августа 27-го. Болитъ голова. Точно наковальня внутри. Выпилъ сельтерской.

Тему своего романа измѣняю.

«Сельская идиллія».

Романъ изъ сельской жизни. Часть I.

Глава 1-я.

Солнце знойно палило. Рожь колыхалась. Жаворонки и соловьи звонко заливались своими ликующими пѣснями.

Въ воздухѣ было душно. Пахло грозой. Гдѣ-то на болотѣ квакали лягушки.

Молодая крестьянка, чудной красоты, шла по лѣсу съ корзинкою. Но она не искала ягодъ. Грудь ея, бѣлая, роскошная грудь, судорожно вздымалась...

Былъ въ театрѣ съ Мишей и Петькой. Наклюкались до невозможности. Подписывали какіе-то протоколы.

Августа 30-го. Вчера гдѣ-то свалился съ извозчика, ушибъ лѣвую руку. Голова свинцовая, во рту такая мерзость... Безобразіе...

Пишу...

«Коварная незнакомка».

Романъ. Часть первая. Глава первая.

Поѣздъ усиленно пыхтѣлъ и мчался все впередъ и впередъ. По сторонамъ мелькали телеграфные столбы, лачуги, куры, утки, поля, хрюкающія свиньи, синѣющій горизонтъ.

Въ отдѣльномъ купе I-го класса, на дорожномъ диванчикѣ, полулежала молодая женщина удивительной красоты.

Молодая бѣлая грудь ея, стянутая платьемъ, точно искала себѣ простора — судорожно волновалась. Маленькія ножки въ высокихъ прюнелевыхъ ботинкахъ...

Обѣдалъ у Сашки. Пили. Поѣхали въ Мавританію. Пили. Были у какихъ-то женщинъ. Пили. Остальное въ памяти крайне туманно... Пошлость вообще изрядная...

2-го сентября. Голова трещитъ до невозможности. «Соблазнительная женщина».

Романъ. Часть первая. Глава первая.

Солнце лило свои жгучіе лучи на замолкнувшую землю. Птички притихли. Стояла невыносимая жара.

Въ купальнѣ, на озерѣ, раздѣвалась молодая женщина чудной красоты. Спустившаяся съ плечъ рубашка открывала юную, богатую, бѣлую грудь роскошной формы, судорожно волновавшуюся...

Собралась у меня компанія: Петька, Миша, Коля и Саша. Тянули водку, коньякъ съ чаемъ, пиво. Гдѣ-то на улицѣ учинили скандалъ. Чортъ знаетъ что такое...

Сентября 6-го. Глупо и пошло.

«Нагая женщина», или «Вакханка».

Романъ изъ реальной жизни. Часть 1-я.

Глава 1-я.

Въ небольшой комнатѣ, уютно уставленной диванами, креслами и небольшими столиками, съ одуряющей атмосферой отъ роскошныхъ цвѣтовъ, передъ небольшимъ зеркаломъ-трюмо, на мягкой тигровой шкурѣ, лежала нагая молодая женщина ослѣпительной красоты... Здѣсь же на полу стояли бутылка шампанскаго и серебряный кубокъ.

Упругія, юныя формы сверкали на солнцѣ, потоками врывавшемся въ раскрытое окно комнаты, и отражались въ зеркалѣ. Бѣлая роскошная грудь судор...

Примѣчаніе къ «дневнику». Сія рукопись найдена въ карманѣ пиджака неизвѣстнаго человѣка, вытасченнаго изъ рѣчки на 7-е число сентября мѣсяца 1883-го года безъ признаковъ жизни. Произведеннымъ слѣдствіемъ было дознано, что вытасченное тѣло принадлежитъ неимѣющему чина дворянину Дмитрію Петровичу Босову. Врачомъ было признано, что означенный Босовъ попалъ въ воду въ нетрезвомъ видѣ.

1883.

ОТСТАВНОЙ РАБЪ.

— Наша рѣчка извивалась змѣйкой, словно зигзага... Бѣжала она по полю изгибами, вертикалысами этакими, какъ поломанная... Когда, бывало, на гору взлѣзешь и внизъ посмотришь, то всю ее, какъ на ладонкѣ, видать. Днемъ она какъ зеркало, а ночью ртутью отливаетъ. По бережку камышъ стоитъ и въ воду поглядываетъ... Красота! Тутъ камышъ, тамъ пвячокъ, а тамъ вербы...

Такъ расписывалъ Никифоръ Филлимонычъ, сидя въ портерной за столикомъ и глотая пиво. Говорилъ онъ съ увлеченіемъ, съ жаромъ... Его-морщинистое, бритое лицо и коричневая шея вздрагивали и подергивались судорогой всякій разъ, когда онъ подчеркивалъ въ своемъ рассказѣ какое-либо особенно поэтическое мѣсто. Слушала его хорошенькая шестнадцатилѣтняя сидѣлица Таня.

Лежа грудью на прилавкѣ и подперевъ голову кулаками, она, изумляясь, блѣднѣя и не мигая глазами, восторженно ловила каждое слово.

Никифоръ Филимонычъ каждый вечеръ бывалъ въ портной и бесѣдовалъ съ Таней. Любилъ онъ ее за сиротство и тихую ласковость, которою залито было все ея блѣдное, востроглазое лицо. А кого онъ любилъ, тому отдавалъ весь свой языкъ и всѣ тайны своего прошлаго. Начиналъ онъ бесѣды обыкновенно съ самаго пачала—съ описанія природы. Съ природы переходилъ онъ на охоту, съ охоты—на личность покойнаго барина, князя Свицова.

— Знаменитый былъ человекъ!—разсказывалъ онъ про князя.—Славенъ онъ былъ не столько богатствомъ и широтою земель, сколько характеромъ. Онъ былъ донъ-Жуанъ-съ!

— А что значить донъ-Жуанъ?

— Это обозначаетъ, что онъ до женскаго пола большою донъ-Жуанъ былъ. Любилъ вашего брата. Все свое состояніе на женскій полъ провалилъ. Да-съ... А когда мы въ Москвѣ жили, у насъ въ грандателѣ почти весь верхній этажъ на наши средства существовалъ. Въ Петербургѣ мы съ баронессой фонъ-Туссихъ большія связи имѣли и дитятю прижили. Баронесса эта самая въ одну ночь все свое состояніе въ штоссъ проиграла и руки на себя наложить хотѣла, а князь не далъ ей жизнь прикончить. Красивая была, молодая такая... Годъ съ нимъ попуталась и померла... А какъ женщины любили его, Танечка! Какъ любили! Жить безъ него не могли!

— Онъ былъ красивъ?

— Какой... Старый былъ, некрасивый... Да-съ... Вотъ и вы бы, Танечка, ему понравились... Онъ любилъ такихъ худенькихъ, блѣдненькихъ... Вы не конфузьтесь. Чего конфузиться? Не враль я во вѣки вѣковъ и теперь не вру-съ...

Потомъ Никифоръ Филимонычъ принимался за описаніе экипажей, лошадей, нарядовъ... Во всемъ этомъ онъ зналъ толкъ. Потомъ начиналъ перечислять вина...

— А есть такія вина, что четвертную за бутылку стодить. Выпьешь ты рюмку, а у тебя въ животѣ дѣлается словно ты отъ радости померъ...

Танѣ болѣе всего нравилось описаніе тихихъ лунныхъ ночей.... Лѣтомъ шумная оргія въ зелени, среди цвѣтовъ,

а зимой—въ саняхъ съ теплою полостью.—въ саняхъ, которыя летятъ, какъ молнія.

— Летятъ санки, а вамъ кажется, что луна бѣжить...
Чудно-съ!

Долго рассказывалъ такимъ образомъ Никифоръ Филимонычъ. Оканчивалъ онъ, когда мальчишка тушилъ надъ дверью фонарь и вносилъ въ портерную дверную вывѣску.

Въ одинъ зимній вечеръ Никифоръ Филимонычъ лежалъ пьяный подъ заборомъ и простудился. Его свезли въ больницу. Выписавшись черезъ мѣсяцъ изъ больницы, онъ уже не нашелъ въ портерной своей слушательницы. Она исчезла.

Черезъ полтора года шелъ Никифоръ Филимонычъ въ Москвѣ по Тверской и продавалъ поношенное лѣтнее пальто. Ему встрѣтилась его любимица, Таня. Она, набѣленная, расфранченная, въ шляпѣ съ отчаянно загнутыми полями, шла подъ руку съ какимъ-то господиномъ въ цилиндрѣ и чему-то громко хохотала... Старикъ поглядѣлъ на нее, узналъ, проводилъ глазами и медленно снялъ шапку. По его лицу пробѣжало умиленіе, на глазахъ сверкнула слезинка.

— Ну, дай Богъ ей... — прошепталъ онъ. — Она хорошая.

И, надѣвъ шапку, онъ тихо засмѣялся.

1883.

ОНЪ ПОНЯЛЪ!

Душное июньское утро. Въ воздухѣ виситъ зной, отъ котораго клонится листь и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску.

Вѣроятно, и будетъ гроза. На западѣ снѣжетъ и хмурится какая-то полоса. Добро пожаловать!

По опушкѣ лѣса крадется маленькій сутуловатый мужичонокъ, ростомъ въ полтора аршина, въ огромнѣйшихъ сѣро-коричневыхъ сапогахъ и синихъ панталонахъ съ бѣлыми полосками. Голенница сапогъ спустились до половины. До-нельзя изношенные, заплатанные штаны мѣшками отвисаютъ у колѣнъ и болтаются, какъ фалды. Засаленный веревочный поясокъ сползъ съ живота на бедра, а рубаха такъ и тянетъ вверхъ къ лопаткамъ. Въ рукахъ мужичонка ружье. Заржавленная трубка въ аршинъ длиною, съ прицѣломъ, напоминающимъ добрый сапожный гвоздь, вдѣлана въ бѣлый самодѣлковый прикладъ, выточенный очень искусно изъ ели, съ вырѣзками, полосками и цвѣтами. Не будь этого приклада, ружье не было бы похоже на ружье, да и съ нимъ оно напоминаетъ что-то средневѣковое, не теперешнее... Курокъ, коричневый отъ ржавчины, весь опутанъ проволокой и нитками. А всего смѣшнѣе бѣлый, лоснящійся шомполъ, только-что сръзанный съ вербы. Онъ сыръ, свѣжъ и много длиннѣе ствола.

Мужичонокъ блѣденъ. Его косые, воспаленные глазки безпокойно глядятъ вверхъ по сторонамъ. Жиденькая, козлиная бородка дрожить, какъ тряпочка, вмѣстѣ съ нижней губой. Онъ широко шагаетъ, нагибаетъ туловище впередъ и видимо спѣшитъ. За нимъ, высунувъ свой длинный, сѣрый отъ дыли языкъ, бѣжитъ большая двор-

няга, худая, какъ собачій скелетъ, съ включенной шерстью. На чѣя бокахъ и хвостѣ висятъ большіе клочья старой, отлинявшей шерсти. Задняя нога повязана тряпчикою: болить, должно-быть. Мужичонокъ то и дѣло обращивается къ своему спутнику.

— Пшла!—говоритъ онъ пугливо.

Дворняга отскакиваетъ назадъ, оглядывается и, постоявъ немного, продолжаетъ шествовать за своимъ хозяиномъ.

Охотникъ радъ бы шмыгнуть въ сторону, въ лѣсъ, но нельзя: по краю стѣной тянется густой, колючій терновникъ, а за терновникомъ высокій, душный болыголовъ съ кранивой. Но вотъ наконецъ тропинка. Мужичонокъ еще разъ машетъ собакѣ и бросается по тропинкѣ въ кусты. Подъ ногами всхлипываетъ почва: тутъ еще не высохло. Пахнетъ сырѣемъ и менѣе душно. По сторонамъ кусты, можжевельникъ, а до настоящаго лѣса еще далеко, шаговъ триста.

Въ сторонѣ что-то издаетъ звукъ подмазаннаго колеса. Мужичонокъ вздрагиваетъ и косится на молодую ольху. На ольхѣ усматриваетъ онъ черное, подвижное пятнышко, подходитъ ближе и узнаетъ въ пятнышкѣ молодого скворца. Скворецъ сидитъ на вѣткѣ и глядитъ себѣ лодъ поднятое крылышко. Мужичонокъ топчется на одномъ мѣстѣ, сбрасываетъ съ себя шапку, прижимаетъ къ плечу прикладъ и начинаетъ прицѣливаться. Прицѣлившись, онъ поднимаетъ курокъ и придерживаетъ его, чтобы онъ не опустился раньше, чѣмъ слѣдуетъ. Пружина испорчена, собачка не дѣйствуетъ, а курокъ не слушается: ходнемъ ходить. Скворецъ опускаетъ крыло и начинаетъ подозрительно поглядывать на стрѣлка. Еще секунда—и онъ улетитъ. Стрѣлокъ еще разъ прицѣливается и отнимаетъ руку отъ курка. Курокъ, сверхъ ожиданія, не опускается. Мужичонокъ разрываетъ ногтемъ какую-то ниточку, гнетъ проволочку и даетъ курку щелчокъ. Слышится щелканье, а за щелканьемъ выстрѣлъ. Стрѣлку сильно отдаетъ въ плечо. Видно, что онъ не пожалѣлъ пороха. Бросивъ наземь ружье, онъ бѣжитъ къ ольхѣ и начинаетъ шарить въ травѣ. Около гнилого, заплѣсневѣлаго сучка онъ находитъ кровавое пятно и пушокъ, а поискавъ еще немного, узнаетъ въ маленькомъ, еще горячемъ трупѣ, лежащемъ у самаго ствола, свою жертву.

— Въ голову попалъ!—говоритъ онъ съ восторгомъ дворнягѣ.

Дворняга нюхаетъ скворца и видитъ, что хозяинъ попалъ яе въ одну только голову. На груди зияетъ рана, перебита одна ножка, на клювъ виситъ большая кровавая капля... Мужичонокъ быстро лѣзетъ въ карманъ за новымъ зарядомъ, при чемъ изъ кармана сыплются на траву тряпочки, бумажки, ниточки. Онъ заряжаетъ ружье и, готовый продолжать свою охоту, идетъ далѣе.

Какъ изъ земли вырастаетъ передъ нимъ полякъ Кржевецкій, господскій приказчикъ. Мужичонокъ видитъ его надменно-строгое, рыжеволосое лицо и холодѣетъ отъ ужаса. Шапка сама собой валится съ его головы.

— Вы что же это? Стрѣляете?—говоритъ полякъ насмѣшливымъ голосомъ. — Очень пріятно!

Охотникъ робко косится въ сторону и видитъ возъ съ хворостомъ и около воза мужиковъ. Увлечшись охотой, онъ и не замѣтилъ, какъ набрелъ на людей.

— Какъ же вы смѣете стрѣлять?—спрашиваетъ Кржевецкій, возвышая голосъ. — Это, стало-быть, вашъ лѣсъ? Или, быть-можетъ, по-вашему, уже прошелъ Петровъ день? Кто вы такой?

— Павелъ Хромой,—еле-еле выговариваетъ мужичонокъ, прижимая къ себѣ ружье.—Изъ Кошиловки.

— Изъ Кошиловки, чортъ побралъ! Кто же дозволяетъ вамъ стрѣлять?—продолжаетъ полякъ, стараясь не дѣлать ударенія на второмъ слогѣ отъ конца.—Дайте сюда ружье!

Хромой подаетъ поляку ружье и думаетъ:

«Лучше бы ты меня по мордѣ, чѣмъ выкать...»

— И шапку дайте...

Хромой подаетъ и шапку.

— Вотъ я вамъ покажу, какъ стрѣлять! Чортъ побралъ! Пойдемте!

Кржевецкій поворачивается къ нему спиной и шагаетъ за заскрипѣвшимъ возомъ. Павелъ Хромой, ощуывая въ карманѣ свою дичину, идетъ за нимъ.

Черезъ часъ Кржевецкій и Хромой входятъ въ просторную комнату съ низкимъ потолкомъ и синими, полинялыми стѣнами. Это господская контора. Въ конторѣ никого нѣтъ, но тѣмъ не менѣе сильно пахнетъ жильемъ. Посреди конторы — большой дубовый столъ. На столѣ двѣ-три счетныя книги, чернильница съ песочницей и чайникъ съ отбитымъ носикомъ. Все это покрыто сѣрымъ слоємъ пыли. Въ углу стоитъ большой шкафъ,

съ котораго давно уже слѣзла краска. На шкапу жестянка изъ-подъ керосина и бутылъ съ какою-то смѣсью. Въ другомъ углу маленькій образъ, затянутый паутиной...

— Надо будетъ актъ составить,—говоритъ Кржевецкій.— Сейчасъ барину доложу и за урядникомъ пошлю. Снимайте сапоги!

Хромой садится на полъ и молча, дрожащими руками стаскиваетъ съ себя сапоги.

— Вы у меня не уйдете,—говоритъ приказчикъ, зѣвая.— А уйдете босикомъ, хуже будетъ... Сидите здѣсь и дожидайтесь, пока урядникъ придетъ...

Полякъ запираетъ въ шкафъ сапоги и ружье и выходитъ изъ конторы.

По уходѣ Кржевецкаго, Хромой долго и медленно чешетъ свой маленькій затылокъ, точно рѣшаетъ вопросъ—гдѣ онъ. Онъ вздыхаетъ и пугливо осматривается. Шкапъ, столъ, чайникъ безъ носика и образокъ глядятъ на него укоризненно, тоскливо... Мухи, которыми такъ изобилуютъ городскія конторы, жужжать надъ головой такъ жалобно, что ему дѣлается нестерпимо жутко.

— Дззз...—жужжать мухи.—Попался? Попался?

По окну ползетъ большая оса. Ей хочется вылетѣть на воздухъ, но не пускаетъ стекло. Ея движенія полны скуки, тоски... Хромой пятится къ двери, становится у косяка и, опустивъ руки по швамъ, задумывается...

Проходитъ часъ, другой, а онъ стоитъ у косяка, ждетъ и думаетъ.

Глаза его косятся на осу.

«Отчего она, дура, въ дверь не летитъ?» — думаетъ онъ.

Проходитъ еще два часа. Кругомъ все тихо, беззвучно, мертво. Хромому начинаетъ думать, что про него забыли, и что ему не скоро еще вырваться отсюда, какъ и осѣ, которая все еще, то и дѣло, падаетъ со стекла. Оса уснетъ къ ночи,—ну, а ему-то какъ быть?

— Такъ вотъ и люди,—философствуетъ Хромой, глядя на осу.—Такъ и человѣкъ, стало-быть... Есть мѣсто, гдѣ ему на волю выскочить, а онъ по невѣжеству и не знаетъ, гдѣ оно, мѣсто-то это самое...

Наконецъ гдѣ-то хлопаютъ дверью. Слышатся чьи-то послѣшные шаги, и черезъ минуту въ контору входитъ маленькій, толстенькій человѣчекъ въ широчайшихъ брюкахъ и помочахъ. Онъ безъ скрутка и безъ жилетки.

На спинѣ въ уровень съ лопатками идетъ полоса отъ пота; на груди такая же полоса. Это самъ баринъ, Петръ Егорычъ Волчковъ, отставной подполковникъ. Толстое, красное лицо и вспотѣвшая лысина говорятъ, что онъ дорого бы далъ, если бы вмѣсто этой жары пристукнулъ крещенскій морозъ. Онъ страдаетъ отъ зноя и духоты. По заплавленнымъ, соннымъ глазамъ видно, что онъ только-что поднялся со своей ужасно мягкой и душистой перины.

Войдя, онъ прохаживается нѣсколько разъ вдоль по комнатѣ, какъ бы не замѣчая Хромого, потомъ останавливается передъ плѣнникомъ и долго пристально смотритъ ему въ лицо. Смотритъ въ упоръ, съ презрѣніемъ, которое сначала свѣтится чуть замѣтно въ однихъ только глазахъ, потомъ же постепенно разливается по всему жирному лицу. Хромой не выноситъ этого взгляда и опускаетъ глаза. Ему стыдно...

— Покажи-ка, что ты убилъ! — шепчетъ Волчковъ. — Ну-ка-ся, покажи, молодчикъ, Вильгельмъ Телль! Покажи, образина!

Хромой лѣзетъ въ карманъ и достаетъ оттуда несчастнаго скворца. Скворецъ уже потерялъ свой птичій образъ. Онъ сильно помятъ и начинаетъ сохнуть. Волчковъ презрительно усмѣхается и пожимаетъ плечами.

— Дуракъ! — говоритъ онъ. — Дурандась ты! Дурында пустоголовая! И тебѣ не грѣхъ? И тебѣ не стыдно?

— Стыдно, батюшка Петръ Егорычъ! — говоритъ Хромой, пересидливая глотательныя движенія, мѣшающія ему говорить.

— Мало того, что ты, разбойникъ-иода, безъ спроса въ моемъ лѣсу охотишься, ты смѣешь еще ятти противъ государственныхъ законовъ! Развѣ тебѣ не извѣстенъ законъ, возбраняющій несвоевременную охоту? Въ законѣ сказано, чтобы никто не смѣлъ стрѣлять до Петрова дня. Тебѣ это не извѣстно? Подойди-ка сюда!

Волчковъ подходитъ къ столу; за нимъ идетъ къ тому же столу и Хромой. Баринъ раскрываетъ книгу, долго перелистываетъ и начинаетъ читать высокимъ протяжнымъ теноромъ статью, возбраняющую охоту до Петрова дня.

— Такъ ты этого не знаешь? — спрашиваетъ баринъ, окончивъ чтеніе.

— Какъ не знать? Знаемъ, ваше высокоблагородіе. Да нешто мы понимаемъ? Нешто въ насъ есть понятіе?

— А? Какое же тутъ понятіе, ежели ты безо всякаго смысла тварь Божию портишь? Птичку вотъ эту убилъ. За что ты ее убилъ? Ты ее нешто можешь воскресить? Можешь, я тебя спрашиваю?

— Не могу, батюшка!

— А убилъ... И какая изъ этой птицы корысть, не понимаю!—Скворецъ! Ни мяса ни перья... Такъ, взялъ себѣ, да едуру и убилъ...

Волчковъ щуритъ глаза и начинаетъ выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падаетъ на босую ногу Хромого.

— Анаеема ты, анаеема! — продолжаетъ Волчковъ. — Жада ты, хищникъ! Отъ жадности ты этотъ поступокъ сдѣлалъ! Видитъ пташку, и ему досадно, что пташка по волѣ летаетъ, Бога прославляетъ! Дай, молъ, ее убью и... сожру... Жадность человѣческая! Видѣть тебя не могу! Не гляди и ты на меня своими глазами! Косая ты шельма, косая! Ты вотъ убилъ ее, а у нея, можетъ-быть, маленькія дѣточки есть... Пищать теперь...

Волчковъ дѣлаетъ плаксивую гримасу и, опустивъ руку къ землѣ, показываетъ, какъ малы могутъ быть дѣточки.

— Не отъ жадности это я сдѣлалъ, Петръ Егорычъ, — оправдывается дрожащимъ голосомъ Хромой.

— Отъ чего же? Извѣстно, отъ жадности!

— Никакъ нѣтъ, Петръ Егорычъ... Ежели я взялъ грѣхъ на душу, то не отъ жадности, не изъ корысти-съ, Петръ Егорычъ! Нечистый попуталь...

— Таковскій ты, чтобъ тебя нечистый попуталь! Самъ ты нечистаго попутать можешь! Всѣ вы, кошиловскіе, разбойники!

Волчковъ съ солѣнымъ выпускаетъ изъ груди струю воздуха, вбираетъ въ себя новую порцію и продолжаетъ, понизивъ голосъ:

— Чтò жъ мнѣ теперь съ тобой дѣлать? А? Принимая во вниманіе твое умгвенное убожество, тебя отпустить бы слѣдовало; соображаясь же съ поступкомъ и твою наглостью, тебѣ задать надо... Непремѣнно надо... Довольно ужъ васъ баловать... Довольно-но! Послать за урядникомъ... Актъ сейчасъ составимъ... Послалъ... Улика налицо... Пеняй на себя... Не я тебя наказываю, а тебя твой грѣхъ наказываетъ... Умѣлъ грѣшить, сумѣй и наказаніе претерпѣть... Охо-хоххх... Господи, прости насъ грѣшныхъ! Бѣда съ этими... Ну, какъ у васъ яровое?..

— Ничего... Милости Господни...

— Чего же ты глазами моргаешь?

Хромой конфузливо кашляетъ въ кулакъ и поправляетъ поясокъ.

— Чего глазами моргаешь?—повторяетъ Волчковъ.— Ты скворца убилъ, ты же и плакать собираешься?

— Ваше высокоблагородіе!—говоритъ Хромой дребезжащей фистулой, громко, какъ бы собравшись съ силами.— Вамъ, по вашему человѣколюбію, обидно за то, что я итаку, положимъ, убилъ... Укоряете вы меня, это самое, не потому, стало-быть, что вы баринъ есть, а потому, что обидно... по вашему человѣколюбію... А мнѣ нешто не обидно? Я человѣкъ глухой, хоть и безъ понятія а и мнѣ... обидно-съ... Разрази Господи...

— Такъ зачѣмъ же ты стрѣлялъ, ежели тебѣ обидно?

— Нечистый попуталь. Дозвольте мнѣ рассказать, Петръ Егорычъ! Я чистую правду, какъ передъ Богомъ... Пущай урядникъ наѣзжаетъ... Мой грѣхъ, я за него и отвѣтчикъ передъ Богомъ и судомъ, а вамъ всю, сущую правду, какъ на духу... Дозвольте, ваше высокоблагородіе!

— Да что мнѣ позволять! Позволяй тамъ или не позволяй, а все умнаго не скажешь. Мнѣ что? Не я буду составлять... Говори! Чего же молчишь? Говори, Вильгельмъ Телль

Хромой проводитъ рукавомъ по дрожащимъ губамъ. Глаза его дѣлаются еще коше и мельче...

— Никакого мнѣ антитресу нѣтъ отъ этого скворца,—говоритъ онъ.—Будь ихъ, скворцовъ, хоть тыща, да что съ нихъ толку? Ни продашь ни съѣшь, такъ только... пустякъ одинъ. Сами можете понимать...

— Нѣтъ, не говори... Ты охотникъ вотъ, а не донимаешь... Скворецъ, ежели поджаренный, въ кашѣ хорошъ... И соусъ можно... Какъ рябчикъ—одинъ вкусъ почти...

И, какъ бы спохватившись за свой равнодушный тонъ, Волчковъ хмурится и добавляетъ:

— Узнаешь сейчасъ, какого онъ вкуса... Увидишь...

— Не разбираемъ мы вкусовъ... Былъ бы хлѣбъ, Петръ Егорычъ... Самимъ не безызвѣстно... А убилъ скворца отъ тоски. Тоска прижала...

— Какая тоска?

— А нечистый знаетъ, какая она! Дозвольте вамъ объяснить. Зачала она мучить меня съ самой Святой, тоска-то

эта... Дозвольте вамъ объяснить... Выхожу это я, значить, утромъ послѣ заутрени, какъ пасхи освятили, и иду себѣ... Наши бабы впереди пошли, а я позади иду. Шель-шель, да и остановился на плотинѣ... Стою и смотрю на свѣтъ Божій, какъ все въ немъ происходитъ, какъ всякая тварь и былинка, можно сказать, свое мѣсто знаетъ... Утро разсвѣло и солнышко всходитъ... Вижу все это, радуюсь и на пташекъ гляжу, Петръ Егорычъ. Вдругъ у меня въ сердцѣ гдѣ-то: ёкъ! Екнуло, стало-быть...

— Отчего же это?

— Оттого, что пташекъ увидалъ. Сейчасъ же мнѣ въ голову и мысль пришла. Хорошо бы, думаю, пострѣлять, да жалко, законъ не приказываетъ. А тутъ еще въ поднебесьѣ двѣ уточки пролетѣли, да куличокъ прокричалъ гдѣ-то-сь за рѣчкой. Страсть какъ охоты захотѣлъ! Съ такимъ воображеніемъ и домой пришелъ. Сижу, разговляюсь съ бабами, а у самого въ глазахъ пташки. Ъмъ и слышу, какъ лѣсъ шумитъ и пташка кричитъ: цвиринь! цвиринь! Ахъ ты, Господи! Хочется мнѣ на охоту, да и шабашъ! А водки какъ выпилъ, разговлявшись, такъ и совсѣмъ шальной сталъ. Голоса сталъ слышать. Слышно мнѣ, какъ какой-то тоненькій, словно какъ будто андельскій голосочекъ звенитъ тебѣ въ ухѣ и рассказываетъ: поди, Пашка, пострѣляй! Навождение! Могу предположить, ваше высокоблагородіе, Петръ Егорычъ, что это самое чертененокъ, а не кто другой. И такъ сладко и тоненько, словно дите. Съ того утра и взяла меня, это самое, тоска. Сижу на призбѣ, опущу руки, какъ дурной, да и думаю себѣ... Думаю, думаю... И все у меня въ воображеніи братецъ вашъ покойникъ, Сергѣй, стало-быть, Егорычъ, царство имъ небесное. Вспомнилось мнѣ, глупому, какъ я съ ними, съ покойничкомъ, на охоту хаживалъ. Я у ихняго высокоблагородія, дай имъ Богъ... въ наипервѣйшихъ охотникахъ состоялъ. Занимательно и трогательно имъ было, что я, косою на оба глаза, стрѣлять былъ артистъ! Хотѣли въ городъ везти докторамъ показывать мою способность при моемъ безобразіи-сь. Удивительно и чувствительно оно было, Петръ Егорычъ. Выйдемъ мы, бывалыча, чуть свѣтъ, кликнемъ собакъ Бару и Ледку, да...аахъ! Версть тридцать въ день проходимъ! Да что говорить! Петръ Егорычъ! Батюшка благородный! Истинно вамъ говорю, что окромѣ вашего брата во всемъ свѣтѣ нѣтъ и не

было человѣка настоящаго! Жестокій они были человѣкъ, грозный, строптивый, но никто супротивъ него по охотничьей части устоять не могъ! Его сѣятельство, графъ Тирборкъ, бился-бился со своей охотой, да такъ и померъ завидуючи. Куда ему! И красоты той не было, и ружья такого въ рукахъ держать не приходилось, какъ у вашего братца! Двустволка, извольте понимать, марсельская, фабрики Лепелье и компаніи. На двѣсти шаговъ-съ! Утку! Шутка сказать!

Хромой быстро вытираетъ губы и, мигая косыми глазами, продолжаетъ:

— Отъ нихъ я и тоску эту самую получилъ. Какъ нѣтъ стрѣльбы, такъ и бѣда — за сердце душить!

— Баловство!

— Никакъ нѣтъ, Петръ Егорычъ! Всю Святую недѣлю какъ шальной ходилъ, не пилъ, не ѣлъ. На Омниной почистилъ ружье, поисправилъ — отлегло малость. На Преполовенье опять затощило. Тянетъ да и тянетъ на охоту, хоть ты тресни тутъ. Водку ходилъ пить — не помогаетъ, еще того хуже. Не баловство-съ! Послѣ водосвятья напился... На-завтра тоска пуше прежняго... Ломить тебя да изъ избы гонить... Такъ и гонить, такъ и гонить! Сила! Взялъ я ружье, вышелъ съ нимъ на огородъ и давай галокъ стрѣлять! Набилъ ихъ штукъ съ десять, а самому не легче: въ лѣсъ тянетъ... къ болоту. Да и старуха срамить начала: «Галокъ нешто можно стрѣлять? Птица она неблагогородная, и передъ Богомъ грѣхъ: неурожай будетъ, ежели галку убьешь». Взялъ, Петръ Егорычъ, и разбилъ ружье... Шутъ съ нимъ! Отлегло...

— Баловство!

— Не баловство-съ! Истинно вамъ говорю, что не баловство, Петръ Егорычъ! Дозвольте ужъ вамъ объяснить... Просыпаюсь вчера ночью. Лежу и думаю... Баба моя спитъ, и не съ кѣмъ мнѣ слово вымолвить: «А можно ли мое ружье, таперича, починить, али нѣтъ?» — думаю. Всталъ, да и давай починять.

— Ну?

— Ну, и ничего... Починилъ, да выбѣжалъ съ нимъ, какъ оглашенный. Поймался вотъ... Туда мнѣ и дорога... Птицу эту саму взять да и по мордѣ, чтобы понималъ...

— Сейчасъ урядникъ придетъ... Ступай въ сѣни!

— Пойду-съ... И на духу каялся... Батюшка, отецъ

Пётра тоже сказываетъ, что баловство... А по моему глупому предположенію, какъ я это дѣло понимаю, это не баловство, а болѣсть... Все одно, какъ запой... Одинъ шутъ... Ты не хочешь, а тебя за душу тянетъ. Радъ бы не пить, передъ образомъ зарокъ даешь, а тебя подмываетъ: выпей! выпей! Пить, знаю...

Красный носъ Волчкова дѣлается багровымъ.

— Запой — другое дѣло, — говоритъ онъ

— Одинаково-съ! Разрази Богъ, одинаково-съ! Истинно вамъ говорю!

И молчаніе... Молчать минутъ пять и другъ на друга смотреть.

Багровый носъ Волчкова дѣлается темно-синимъ.

— Одно слово-съ — запой... Сами извольте понимать по человѣколюбію своему, какая это слабость есть.

Не по человѣколюбію понимаетъ подполковникъ, а по опыту.

— Ступай! — говоритъ онъ Хромому.

Хромой не понимаетъ.

— Ступай и больше не попадайся!

— Сапожки пожалуйте-съ! — говоритъ появившій и просіявшій мужичонокъ.

— А гдѣ они?

— Въ шкапѣ-съ...

Хромой получаетъ свою обувь, шалку и ружье. Съ легкой душою выходитъ онъ изъ конторы, косится вверхъ, а на небѣ ужъ черная, тяжелая туча. Вѣтеръ шалить по травѣ и деревьямъ. Первые брызги уже застучали по горячей кровлѣ. Въ душномъ воздухѣ дѣлается все легче и легче.

Волчковъ пихаетъ изнутри окно. Окно съ шумомъ отворяется, и Хромой видитъ улетающую осу.

Воздухъ, Хромой и оса празднуютъ свою свободу.

BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 70
Tel. 26-68-63

Оглавление

XVIII тома.

Повѣсти и рассказы.

	СТР.
Огни	5
Ярмарка	42
Два скандала	49
Нарвался	60
Баронъ	63
Месть	72
„Свиданіе хотя и состоялось, но...“ Изъ дачныхъ рассказовъ	78
Неудачный визитъ	83
Идиллія—увы и ахъ!	84
Добрый знакомый	87
Забывъ!!!	89
На волчьей садкѣ	93
Скверная исторія. Нѣчто романообразное	98
Исповѣдь, или Оля, Женя, Зоя	107
Пережитое. Психологическій этюдъ	114
Ряженые	116
Гадальщики и гадалщицы. Подновогоднія картинки	118
Мошенники поневолю. Новогодняя побрехушка	120
Двое въ одномъ	124
Исповѣдь	127
Единственное средство	131
Два романа.	
I. Романъ доктора	134
II. Романъ репортера	135
Темною ночью	136
Ушла	138
На гвоздѣ	140
Благодарный. Психологическій этюдъ	142
Совѣтъ	145
Баранъ и барышня. Эпизодикъ изъ жизни „милостивыхъ государей“	147
Размазня	149

	стр.
Въ нашъ практическій вѣкъ, когда и т. д.	151
Разсказъ, которому трудно подобрать название	153
Братецъ	155
Женщина безъ предразсудковъ. Романъ.	157
Ревнитель	161
На магнитическомъ сеансѣ	163
Патріотъ своего отечества	166
Хитрецъ	168
Благодѣтели	171
Рыцари безъ страха и упрена	174
Ядовитый случай	176
Верба	178
Воръ	182
Слова, слова и слова	186
Листъ. Кое-что пасхальное	189
Зануска. Пріятное воспоминаніе	191
Двадцать шесть. Выписки изъ дневника	194
Теща-адвокатъ	196
Дуракъ. Разсказъ холостяка	199
Филантропъ	203
Случай изъ судебной практики. Уголовный разсказъ	205
Коть	206
Бенефисъ соловья. Рецензія	211
Моя Нана	213
Депутатъ, или повѣсть о томъ, какъ у Деждемонова 25 рублей пропало	216
Герой-барыня	220
О томъ, какъ я въ законный бракъ вступилъ. Разсказецъ	224
Весъ въ дѣдушку	227
Въ гостиной	229
Сущая правда	231
Козель или негодяй	233
Добродѣтельный кабатчикъ. Плачь оскудѣвшаго	234
Протекція	236
Осенью	238
Дура, или Капитанъ въ отставкѣ	244
Въ ландо	247
Die russische Natur. Къ рисунку	249
Признавательный нѣмецъ	250
Разъ въ годъ	251
Дочь коммерціи совѣтника	255
Опекунъ	258
Знаменіе времени	261
Изъ дневника одной дѣвицы	262
Юристка	263
Начальникъ станціи	264
Въ Рождественскую ночь	268
Гордый человекъ	275
Изъ дневника человекъ, „подающаго надежды“	279
Отставной рабъ	282
Онъ понялъ!	285



F

24.113

18